

International Literary Magazine #

K R E S C H A T I K

#59

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#59

K R E S C H A T I K
International Literary Magazine

Вест-Консалтинг



Международный
литературно-
художественный
журнал





Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов (Москва)

Зав. отделом прозы
Елена Мордовина (Киев)
тел. (038) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва)
Борис Херсонский (Одесса),
Игорь Савкин (Санкт-Петербург),
Владимир Цивунин (Сыктывкар),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Владимир Алейников (Коктебель),
Игорь Лощилов (Новосибирск),
Вальдемар Вебер (Аугсбург)
Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник
Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания шестнадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
В. Markowskij, Tränke Str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2013 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2013 г.

Переводы

Генрих Ран / <i>Висбаден</i> / <i>Перевод с нем. Е. Гамма</i>	Креатура. Рассказы	295
Виктор Гейнц / <i>Гёттинген</i> / <i>Перевод с нем. Р. Вайнбергера</i>	Последняя буханка. Рассказ	299

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Сергей Миллер / <i>Зеззенхаузен</i> /	Что в имени тебе моем?..	304
Антонина Шнайдер-Стремякова / <i>Берлин</i> /	Размышляя над языком и содержанием повести А. Платонова «Котлован»	311



ОБЩНОСТЬ СУДЬБЫ

В этом номере журнал «Крещатик» публикует подборку прозы и поэзии немцев из России, живущих сегодня в Германии и пишущих по-русски¹.

С начала исхода российских немцев на историческую родину прошло все лишь немногим более двух десятилетий, однако уже сейчас в России и других странах СНГ редко кто вспоминает, что на их теперешних и бывших территориях в течение 200–250 лет проживало два миллиона этнических немцев. Вместе с ними в Германию переселились и сотни тысяч людей других национальностей, члены смешанных семей. Таким образом, около 4 миллионов жителей Германии мы можем сегодня называть потомками российских немцев.

В большинстве своем те, кто родился и вырос в России, русским языком владеют лучше, чем немецким. Естественно, что и литераторы из их среды, создающие стихи и прозу, пишут по-русски.

Но вначале немного истории.

Традиция распределять литературы одного языка по странам, где они создаются, возникла в XX веке в периоды образования новых государств в результате распада колониальных и многонациональных империй. В 70–80-е годы, в период интенсивной переводческой деятельности мне также пришлось отдать дань этой традиции, помещая немецкую поэзию и прозу в отдельные «лузы» — западногерманскую, восточногерманскую, австрийскую, швейцарскую, люксембургскую, существовала литература немецкой Румынии, даже отдельно — Западного Берлина. Где-то впереди маячило издание поэтов Лихтенштейна и немецкой Бельгии. Считалось, что привязанность к месту, к малой родине, проживание в рамках отдельного государства или на языковых островах внутри чужой культуры — неизбежно оказывают влияние на образование особой литературной общности.

Следуя данной традиции, выделялась и немецкоязычная литература российских, а позднее советских немцев, живших в компактных регионах в Поволжье, на Кавказе, на Украине, в Молдавии, в Крыму, в Сибири. Литература эта возникла уже в XVIII веке, но понастоящему расцвела в XX, особенно в начальный советский период. В советский же период она и завершилась. Вернее, была постепенно

¹ Редколлегия журнала выражает благодарность Е. Гамму, Н. Рунде, А. Шнайдер-Стремяковой и В. Эйсеру за неоценимую помощь в составлении этого номера.

уничтожена. Началось это уничтожение с тридцатых годов, с неожиданного запрета школ и других учебных заведений на немецком языке, ликвидации немецких национальных районов, немецких культурных заведений и периодических изданий по всей территории СССР (за исключением Немецкой Республики Поволжья) и продолжилась с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», а также последующих постановлений, повлекших за собой изгнание немцев из европейской части СССР. Геноцид в отношении советских граждан немецкого происхождения достиг в военные и послевоенные 40-е годы своего апогея: все взрослое население, исключая женщин с детьми до трехлетнего возраста, было загнано в трудовые лагеря ГУЛАГа, где должно было каторжным трудом «искупить свою вину», то есть, вину в том, что люди, составлявшие это население, — одной крови с ненавистным врагом. Переживших ГУЛАГ лишают элементарных гражданских прав, и, рассеяв по Сибири и Средней Азии, принуждают влачить рабское нищенское существование. В предвоенные и военные годы в тюрьмах и лагерях погибли более ста российско-немецких писателей.

В таких условиях писать на немецком, кажется, было невысказано. И все же с конца 50-х — начала 60-х гг., когда с позволения верхов появляются несколько газет на немецком языке с литературными страницами, начинается короткий период возрождения немецкой литературы на территории СССР. Выходят сборники поэзии и прозы. При Союзе писателей СССР создается секция литературы советских немцев. В конце 60-х и в 70-е гг. все активнее проявляет себя молодое поколение. Это в основном немногочисленные выпускники факультетов германистики, подкрепившие свои домашние диалектные знания углубленным изучением немецкого языка в педагогических институтах и компенсировавшие таким образом отсутствие его преподавания как родного в средних школах. Авторы эти вполне могли писать и по-русски, и перед ними открылись бы, вероятно, большие возможности, но они сознательно писали по-немецки. Создание советско-немецкой поэзии и прозы они считали единственным способом противостояния насильственной ассимиляции. Сам факт их творчества был отчаянной попыткой обратить внимание общественности страны на существование в многонациональном советском государстве национальной группы, численно превышавшей население некоторых союзных республик, но не имевшей ни своей автономии, ни учреждений культуры, и о которой подавляющему большинству жителей СССР почти ничего не было известно, так как в средствах массовой информации и академических энциклопедических справочниках на русском языке строго запрещалось упоминать о существовании немцев в СССР.

Однако процесс потери языка в условиях рассеяния зашел настолько далеко, что стал необратимым. В 1990–2000 гг. государственное финансирование изданий газет, журналов и книг на немецком языке практически прекращается. Немцы, сотрудники этих из-

даний, видя бесперспективность своей деятельности, покидают Россию и другие страны СНГ. Центр российской немецкой письменности перемещается в Германию.

Большинство российско-немецких авторов перебралось в Германию уже в 90-е годы. Многие из них уже ушли из жизни. Российско-немецкая литература к настоящему времени практически прекратила свое существование.

Поколение 80-х и 90-х, переехавшее в Германию, как мы уже говорили, пишет по-русски. Им уже не надо быть борцами за национальную идентичность, сражаться за автономию, быть рупором и эхом народа, властителями дум, нет у них и необходимости писать на не совсем натуральном для них немецком языке, ничто им не мешает теперь предпочесть ему более естественный для них русский.

Переехав в Германию, эти авторы, тем не менее, объединяются в различные литературные общества, издающие в Германии альма-нахи и книги. Многие не порывают с Россией, продолжают печататься в русских журналах и издательствах.

В этом номере «Крещатика» — произведения авторов, родившихся, выросших и живших в одной стране, в Советском Союзе. Многие из них уже там писали по-русски. Я не знаю, как авторы данного номера сегодня дефинируют самих себя. Не хочу навязывать им никаких определений.

Расскажу лишь один случай. По-моему, он мог бы стать предметом для размышлений на данную тему. Однажды на одном из поэтических вечеров в Берлине, на пике особенно интенсивного послевоенного внедрения в сознание читателей различия между немецкой и австрийской литературой (чего на протяжении многих веков не делалось), поэт Ханса Карла Артманна, писавшего на венском диалекте, спросили: «А вы поэт австрийский или немецкий?». «Конечно, немецкий, я же пишу по-немецки», — ответил Артманн, повергнув так называемых «австристов» в полный шок, так как более характерного австрийского автора представить себе невозможно.

Немцев России, писавших на русском, было великое множество. Не буду останавливаться на сотнях и сотнях немецких имен журналистов, публицистов, критиков, литературоведов, историков литературы, энциклопедистов, переводчиков, а также прозаиков и поэтов второго и третьего ряда русской литературы. Назову только самых известных поэтов и писателей, в жилах которых текла и немецкая кровь (называю хронологически): И. Хемницер, Д. Фонвизин, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, К. Рылеев, А. Герцен, Н. Греч, К. Павлова (Яниш), А. Фет, Л. Мей, А. Эртель, А. Блок, З. Гиппиус, М. Волошин, К. Р. (Константин Романов), И. Коневский (Ореус), В. Гофман, И. Одоевцева (Гейнеке), Е. Гуо (Нотенберг), А. Герцик, В. Зоргенфрей, Б. Пильняк (Boqay), К. Вагинов (Вагенгейм), Д. Хармс, Л. Рейснер, Н. Эрдман. Но всем этим литераторам и в голову не пришло бы объединяться в какую-то отдельную группу, они были частью русской литературы. Независимо от степени ощущения ими своей этнической принадлежности, ощущение это было их частным делом, но никак не могло стать основой литературного самосознания.

И все же, почему журнал посвящает данный номер исключительно русскоязычным немцам? Нет, он не ставит целью представить их как отдельную литературную группу. Существуют, однако, явления, требующие рассмотрения не с позиций абсолюта (в литературе не существует ни расы, ни национальности, ни возраста, ни пола — только качество текста), а под углом зрения изнутри конкретного времени, конкретного периода истории, и даже отрезка его.

Мы еще не в состоянии осознать всего, что произошло в последние десятилетия с Россией, Европой, миром. Дробные осколки рухнувших империй еще не обозначили своего лица. Вторая половина двадцатого века — это эпоха изгнаний и этнических чисток, совершенных по инициативе, с согласия и при попустительстве так называемых цивилизованных наций. Судьбы российских немцев на фоне глобальных мировых коллизий кажутся лишь частными случаями определенной эпохи. Но, узнавая о них все больше, открываешь, что в них сконцентрирована вся драма отношений Запада и Востока последних столетий. Фантастическая по своей пассионарности и трагедийности история российских немцев еще не нашла своего художественного осмысления. Поколение, ставшее жертвой и заложником века, все свои проблемы решавшего с позиции жестокой силы, практически не оставило художественных свидетельств этой трагедии. И вот, дети и внуки пытаются понять, что же произошло и в чем смысл и значение произошедшего. Этих авторов объединяет, прежде всего, общность их судьбы, и она находит выражение в содержании их поэзии, прозы и публицистики. Еще на протяжении многих лет специфическая тематика будет характерна для их произведений, переплетаясь с впечатлениями прошлой российской жизни, с впечатлениями сегодняшней германской действительности, в которую они вглядываются с помощью увеличительного стекла их российской души.

Печатающая русскоязычных немцев, как и вообще, русскоязычных литераторов, живущих в Германии, «Крещатик» выступает не только как эмигрантский журнал, но и как журнал интеграционный. Русский язык для многих в Германии еще долгие годы будет одним из средств интеграции в новое общество. Ведь совсем не случайно, что одна из главных тем в творчестве немцев из России — амбивалентное состояние их особого менталитета.

Вальдемар Вебер, Аугсбург — Москва



Владимир ЭЙСНЕР

/ Ветцлар /

Родился в 1947 году. Пишет на русском и немецком языках. В 1966 окончил немецкое отделение Исилькульского педучилища Омской области, 1976 году — испанский факультет Пятигорского пединститута. Работал учителем, грузчиком, монтажником, метеорологом на мысе Челюскина, охотником-промысловиком на о. Диксон, сопровождал иностранные экспедиции на Северный полюс. Печатался в журналах «Дальний Восток», «День и ночь», «Сибирские Огни», «Литературная учёба», «Дон», «Южная Звезда», «Крещатик», «Юность» и др. Является членом Литературного общества немцев из России. Лауреат премии им. Ю. Рытхэу и премии им. А. Чехова.

СЕНОКОС

*Cras amet, qui nunquam amavit,
quique amavit, cras amet*¹.

1. Сашка-пастух

Звонкое чистое утро. Солнышко. Тополь.

Под топодем сидит двенадцатилетний Виллем, качает большую ногу и плачет. Рядом мама.

Оба смотрят вдаль, за огороды. Там, по зеленому полю, скачет всадник в красной рубахе. Ног лошади не видно. Тёмная полоса от сбитой росы наискось легла на траву.

— Ma! Des is de Saschke!²

Конопатый мальчишка лет пятнадцати, рыжий, как клоун из цирка, въезжает во двор и ловко, фасонисто, лёгкими толчками босых ног разворачивает мокрую по брюхо лошадь, красуясь умением и посадкой.

¹ Завтра полюбит еще не любивший; уже отлюбивший — завтра полюбит (*лат.*).

² Ma! Это Сашка! — здесь и далее — диалект немцев Поволжья.

Это Сашка Клёнов, сирота, подпасок при общественном стаде и посыльный бригадира Ильи Тюленева. Для большего шику он без седла, но как влитой на широкой спине, повод небрежно брошен на гриву, за поясом кнут, рубаха узлом на груди. Оторви да брось!

— Скора? — тихо спрашивает мама.

Посыльный важно поджимает губы:

— Тюлень сказал: завтра.

— Как савтра? Как ше савтра? Сматри, што телает!

Пастушок внимательно смотрит на синюю ногу Виллема и шмыгает носом.

— Сказал: завтра. И то, если в дождь... Дак тебя еще в коммандатуру¹ завозить... Разрешение брать... Некому. Сенокос. Подорожник прикладывай!

— Та феть я што толко не телал! Мошет, ты пафесёшь, Сашок?

Подпасок, хмыкнув, разворачивает коня, мигает Виллему:

— Не болей, паря! — и ходкой рысью уходит за огороды. Яркие стеклышки сбитой росы разлетаются из-под копыт.

Такие же радужные искры у Виллема на ресницах. Болит нога, обидно, что друг Сашка не счел нужным спрыгнуть с коня, подойти, глянуть на «рану» и сказать что-нибудь шутовско-ободряющее. И жалко, так жалко самого себя... Эх, жизнь...

2. Мама и Виллем

Мама наклоняется над сыном и осторожно кладёт руку ему на колено.

— Net doch, Ma, es tut weh!²

— Aich weiß, mai Kinn... hier, trink e mool...³

Виллем делает пару глотков прохладной «сыворотки из-под простокваши». Жар, губы сохнут, в висках — молоточки, на ресницах — цветные капли. Три дня назад он спрыгнул с лестницы, загнал себе занозу под кожу на пятке, и вытащить эту колючку не удалось. Сегодня всю пятку правой ноги занимает тугой, желтый, как брюхо паука, нарыв, подошва стала черно-синей, ступня багровой, а мелкие красные пятна пошли выше...

Отец и старшие братья на сенокосе. Почти все трудоспособное население этого степного поселка на сенокосном участке в тайге, за двести километров. Сено потом привозят зимой на тракторах.

¹ До 1956 года ссыльные немцы Поволжья находились под наблюдением спецкомандатуры.

² Не надо, мама, больно!

³ Знаю, сынок... На, выпей.

Мама легонько притрагивается к ступне сына, откуда поднимается вверх, к колену, злая багровая опухоль.

Виллем приткнулся плечом к ее плечу, горячей щекой к прохладной маминой щеке и молоточки стучат в мамин висок: «помоги, помоги, помоги...»

Мама шепчет молитву.

Эту молитву Виллем знает. Мама научила. Каждый вечер он так же полушепчет ее перед сном.

— Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich kommt... Hilfe uns in der Not, lass uns nicht aus deiner Hand fallen... Mache meinen Sohn wieder gesund und munter... aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe...¹

Мама вытирает слёзы и отходит к летней печке. Она тут же, под тополем. Рядом с печкой — ворох соломы и сухие ветки. На длинном столе — чёрный противень, белая мука и тесто куполом. Сейчас мама вытопит печку, испечёт хлеба... Вкуснее свежей душистой корочки с молоком нет ничего на свете!

3. Незнакомка

По улице, вдоль забора, идет женщина с узлом на груди. Она останавливается у калитки и смотрит на Виллема.

Нет, сквозь Виллема!

Смотрит вдаль больным тяжёлым взглядом...

Необычная, странная, серая.

Вся серая.

Серый пыльный платок и серое платье.

Серое лицо, серые руки, серый узел на груди.

Детские ножки из узла.

Наконец, прохожая замечает Виллема и, будто сделав выбор, толкает калитку. Медленно подходит к столу, без приглашения садится на скамью и роняет руки на колени.

Мама смотрит.

Серая развязывает платок и тогда видно, что на спине у неё горб. Нет, ещё один узел. В противовес узлу-ребёнку. Посидев с минуту, серая тётя тяжело встает, вытаскивает из горба-узла одеялко, расстилает его под тополем, укладывает на эту постельку спящего ребёнка и, тонкая, стройная, с хрустом прогибается назад в спине.

— Хозяйка, дай хлеба, — говорит она просто.

— Клеп скоро пудет... Сичас малако...

¹ Отче наш, ты, который на небе. Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое... Призри на нас в горе нашем, не дай нам выпасть из Руки Твоей.. верни здоровье сыну моему... впрочем, не моя воля да исполнится, но Твоя...

Мама приносит из летней кухни кружку холодного молока. Серая тётя благодарит и отпивает глоток.

— Можно муки?

— Мошна.

Виллем смотрит, как женщина берет со стола ложку, набирает в нее муку из миски, сыплет ее в молоко, размешивает и пьёт. И мама наливает ей еще молока. Но когда женщина вновь берет ложку, мама говорит:

— Ни ната мука. Сичас клеп — липёшка пудет.

Из мелких сухих веточек мама устраивает на земле рядом с печью шалашик, подсовывает под него пук горячей соломы, подбрасывает в костер веток потолка и наливает в чёрную сковородку желтое масло. Ножом отсекает кусочек теста и раскатывает. Через минуту — сковородка на углях, тесто твердеет, пузырится, и вот уже ароматная горячая лепёшка прыгает на широкую тарелку.

— Кушай, кушай, мамачка, липёшка лучше, чем мука...

Серая женщина осторожно отрывает кусочек и ест. Поднимает с земли своего запищавшего младенца, расстёгивает серую кофту — Виллем видит мелькнувшую вишню — и дает ребёнку грудь.

— Что с твоим парнем? — спрашивает женщина маму.

— Пекает, пегает. Прыкает, прыкает. Криша тоше прыкает... нока укол. Сильна полит. Токтор ехать — ната сначала комментатур расришений получайт... муш — сенакос, тети — сенакос, все — сенакос, прамо пета...

Виллем видит улыбку в уголках губ женщины, когда она слушает маму. С ребёнком у груди, Серая подходит к Виллему.

— Не трогай, тётя, больно!

— Не трогаю, смотрю.

Она легонько нажимает пальцем на середину икры больной ноги. На опухоли остается ямка, которая медленно выравнивается.

Глаза у женщины вовсе не серые, а ярко-голубые, с темными точками грязи в уголках, косы под платком пшеничные, в тонких складках тонкой шеи тонкие ниточки пыли.

Женщина отходит к дальнему концу стола и там шепчется с мамой. И мама приносит из летней кухни оселок на длинной ручке. Этим красным камешком папа и старший брат точат ножи и косы.

Серая берет со стола нож и тоже — жик-вжик, жик-вжик — начинает его точить.

У самых ног Виллема она укладывает на траву полено и начинает ножом рубить на нем тонкие хворостинки.

— Видишь, как быстро, а ты, небось, и не знал, что и ножом можно дрова рубить. Так ведь, не знал?

Она бросает хворостинки в костер, мамин огонь вспыхивает с новой силой и Серая несколько раз проводит по пламени ножом, как бы приглаживая красноватые языки, как бы осекая их от углей.

Зачем она гладит огонь? Во все глаза смотрит Виллем на Серую и, не задумываясь, отвечает на вопросы: сколько ему лет, давно ли ходит в школу и в какой класс, как зовут брата и сестру и какие книжки любит читать.

— Ты хорошо говоришь по-русски, — хвалит Серая Виллема. — Так хорошо говоришь, и не скажешь, что немчик, в школе, небось, одни пятерки получаешь?

Виллем не отвечает. И голос, и движения женщины фальшивы и вся она стала другой. Совсем не такой она была, когда вошла в калитку, когда пила молоко, когда говорила с мамой. Уже не странная — страшная женщина! Зачем она все время сует нож в огонь и затем взмахивает им у больной ноги? Зачем села так близко? Зачем она положила руку ему колену? И где мама? Мама, где ты?

— А что там у тебя за спиной? — Серая делает большие глаза и смотрит за плечо Виллема. Но нет, не обманешь! В такую игру играют в школе старшеклассники с новичками из дальних деревень. Стоит только оглянуться, и тебе дадут кулаком в бок, ущипнут за ухо или так толкнут в спину, что упадешь...

И все же Виллем слегка поворачивает голову, и нож тут же ложится на вспухшую кожу. Из вспоротого брюха паука брызжет желтая дрянь. Виллем вскрикивает и хватает тетю за руку.

— *Ruhig, Jungche, ruhig, des schlimmste is vorbei*¹.

Мама рядом.

Она берет в свои руки горячую ступню сына и проводит рукой по подошве от пальчиков к пятке. Гной потоком стекает на солону, и Серая бросает ее в огонь. Мальчик плачет, но боль стихает и дышать становится легче. Женщины осторожно обмывают больную ногу, прикладывают к ранке подорожник и забинтовывают чистой тряпочкой.

Голова Виллема падает на грудь. Серая берет его, тяжело го, на руки и относит на кровать, в прохладу дома.

4. Второе утро

Виллем просыпается от знакомых звуков. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь — слышится из приоткрытого окна.

Мама доит корову. Тонкие белые струйки из упругого вымени ударяют в жестяной подойник, рождая утреннюю мелодию крестьянского двора.

¹ Спокойно, сын, спокойно, страшное позади.

Виллем садится на кровати и пробует, можно ли ступить на больную ногу. Можно. На пальчики.

Виллем — ковыль-ковыль — выходит в сарай, делает свое утреннее дело, возвращается на кухню, наскоро ополаскивает руки под рукомойником, хватая с полки большую «амелиневую» кружку и — ковыль-ковыль — во двор к маме.

Мама доит Малину, приткнувшись щекой к ее круглому мохнатуму боку. Перед коровой стоит широкая лохань с травой и картофельными очистками. Малина жует, шумно дышит и смотрит на Виллема влажным черным глазом.

Мама поднимает брови и улыбается сыну навстречу. Виллем прислоняется к ее плечу и подставляет кружку под белую струйку.

По утрам прохладно и росисто. Поэтому Виллем обычно выпивает своё парное молоко с горбушкой хлеба на летней кухне, смотрит, как встает солнце, слушает, как гомонят воробьи, да как с тончайшим нежным звуком лопаются в кружке пузырьки розовой пены.

Но сегодня кухня занята. Там Серая. На низкой скамейке она пеленает ребенка, играет с ним, целует его розовые пяточки и плачет.

«Настенька, дитяtko мое милое, кровинушка моя роденькая, зачем ты ушла, зачем спокинула меня-а-а, зачем одну оставила несчастну-у-горемычну-у-у. И как я теперь Сереже своему в глаза посморою-у, что скажу ему, что-о-о?»

Серая тетя стоит спиной к Виллему, но малыш лежит на пеленках лицом к нему. И хорошо видно, что это вовсе не «Настенька» — это «Иванушка»... Розовенький крепенький ребеночек с перетяжками на пухлых ручках-ножках. Но не девочка — мальчик...

Неслышно ступив назад, Виллем возвращается в дом. Кладет хлеб на стол. Там, где пальцы вжались в горбушку, мякиш стал липкой серой массой... Виллем откусывает с боку кусочек, делает глоток молока, смотрит в окно. Затем накрывает молоко и хлеб полотенцем, ложится в постель и долго лежит с открытыми глазами...

5. День

Солнце уже высоко в небе, когда Виллем просыпается во второй раз. Тихонько выходит на крыльцо.

Стол под тополем отодвинут в тень. Значит, все уже позавтракали. За огородами, у пруда, маячит белое платице восьмилетней сестренки Маргит. Она пасет гусей и «пасет» двухгодичного братишку Ваню. Румяный пузатенький Ваня — ужасный непоседа. За ним — глаз да глаз. Ножки нетвердые, а бегаёт

как заяц. Однажды наделал переполоху: был тут и пропал... Мама плакала... Нашёл его папа за километр от дома, спящим в высокой ржи... И никого не боится Ваня, только гусака!

На бельевой верёвке полощется платье. Серая тётя в маминой старой одежде сидит за столом и шьёт. Мама рядом перебирает фасоль. Вымытые волосы обеих женщин распущены по плечам. Мамины — каштановые с проседью, тётинины — цвета спелой пшеницы. Волнистые, густые, блестящие. Длинные — до пояса. И, — Виллем вздрагивает, — в эти волосы хочется зарыться, их хочется гладить, перебирать, смотреть сквозь них на солнце, вдохнуть их запах...

Виллем приковывается к маме и прижимается к ее плечу.

— Мр-р, мр-р, мр-р, — ласково мурлычет мама, обнимает Виллема свободной рукой и легонько щиплет его за ухо. Такая у них с детства «кошачья» игра. От нее у Виллема потом весь день хорошее настроение.

— Здравствуй, Вильгельм, здравствуй, болезный, — нарочито громко говорит Серая тётя, — завтракать будем, или сначала ножку посмотрим?

«Болезный» и «ножка» не нравятся Виллему. Что она с ним, как с маленьким...

Он молча отодвигается на край стола, шепчет про себя короткую молитву, как мама научила, и принимается за еду: остывшая картошка, молоко, хлеб, и — ура! немножко мёда в крутобоком бочоночке со смешным медвежоночком на липком боку.

Женщины, переглянувшись, продолжают прерванный разговор.

Мама вспоминает о том, что в начале марта со стены сам собой упал портрет Сталина, а потом сказали по радио: умер. И все плакали. И сейчас еще многие плачут. Как жить дальше, что делать без «вождя народов»?

Это неинтересно, эту историю Виллем слышал. Только неправда, что все плакали. Папа не плакал. Сказал:

— Fleicht lasse se uns jezz nouch Наам...¹

А Серая, мама называет её Даша, говорит, что у ней муж «сидел», а теперь его «отпустили», и он должен прибыть в Омск, и она идёт на станцию, чтобы на «ветке» или поездом, уж там как получится, доехать до города, и там они встретятся и вместе поедут домой и, может, еще зайдут потом, на обратном пути. Конечно, тяжело с грудничком в дороге, ну да ничего, своя ноша не тянет.

Тоже неправда. Сама говорит: «на станцию», а сама с той стороны пришла... Говорит: из Николай-Поля, а сама так устала малыша держать — сразу руки уронила... И ни хлеба с собой,

¹ Может, нас теперь домой отпустят...

ни воды... Виллем ездил с папой на станцию, и брали с собой хлеб и пить... Деревушку Николай-Поль с крыши видно, а эта Даша вся в пыли... И на ребёнка: «Настенька», а это — мальчик... Вот и пойми...

Сейчас Даша вымытая, отдохнувшая и молодая, но на самом деле уже немножко старенькая. Говорит, ей двадцать два. Значит, на четыре года старше учительницы Зинаиды Васильевны. Это много... Виллем на четыре года старше сестренки Маргит и прекрасно помнит, как возился с ней и таскал на закорках и караулил, как она теперь караулит Ваню. А сейчас Маргит выросла, стала вредная и только и ждет, когда у него заживет нога, чтобы самой быть дома с мамой, а Виллема чтобы отправили пасти гусей и смотреть за братом.

— О-ой, устала сидеть! — говорит вдруг тетя Даша, встает, скидывает руки вверх, к солнцу, и тонкая, стройная, прогибается назад, как вчера, только не устало, а сильно, ловко, упруго.

Виллем замирает... Ах, какая! Тонкая, стройная, ловкая, гибкая... — быстро перебирает он в уме слова. Не хватает еще одного слова. Обязательно нужно это главное слово, чтобы объединило бы, вобрало в себя все остальные. Чтобы — раз и в точку! На уроках русского языка Зинаида Васильевна часто задает игру в слова. Надо из одного главного слова составить как можно больше других слов. И Виллем всегда один из первых в этой игре. Просто поразительно, сколько иногда разных слов прячется в одном, главном. Виллем и тут напряженно ищет, как ответ на задачку, аж пот выступил на лбу, а рука сжала ложку, которой выскребал остатки мёда из бочоночка.

— Вильгельм! Ты куда улетел?

Тётя Даша стоит рядом и улыбается, в руке у нее ножницы и тонкая палочка с закругленным концом.

— Держи! — она дает Виллему палочку. — Сейчас займемся твоим ранением.

Вместе с мамой она осторожно разматывает повязку на ноге Виллема.

Опухли как не бывало!

Подошва ступни еще багровая и вяло-морщинистая, но на самой ступне никаких пятен и боли почти нет.

— Вычищай ранку. Сам. Осторожненько!

Мама опять разводит костерчик у летней печки, а Тётя Даша принимается ножницами срезать старую толстую кожу вокруг ранки на пятке. Виллем вычищает палочкой желтые, плохо пахнущие комочки и пластинки и стряхивает их на солому. В центре ранки — черная полусгнившая колючка. Тётя Даша осторожно вытягивает её тонкими пальцами и говорит:

— Хорошо, что кровь пошла, — ранку промоет.

Но крови немного. Ранка чистая и видно, что там выросла молодая кожа. Розовая, нежная как у младенца.

— Вишь, какая у тебя замечательная пятка, — смеётся тетя Даша, — ни у кого во всей деревне нет такой новенькой блестящей кожи, как у тебя!

Она сидит рядом с Виллемом, её густые волосы прикрывают его плечо, но мальчик перестал сердиться и не отодвигается.

Тетя Даша уже не чужая. Вчера она, сама полуживая от усталости, подняла его больного, засыпающего, на руки и отнесла на кровать, в прохладу дома. Память прикосновения осталась в душе... Не чужая эта тетя Даша. Она просто... просто странная... Она по-другому держит голову, по-другому ходит, по-другому шутит и смеется, чем те женщины, среди которых Виллем вырос. Рядом с ней спокойно и хорошо. Она... она... почти как мама...

А мама накладывает повязку на больное место и говорит:

— Siheste, Jungche, de Herr hot mai Bitt geheert, die Fraa geschickt. Sie hot e Mool als Krangeschwester gearweidet... Awwer du kannst doch schon e bisl rumlauwe? Aich brauch die Margitt hier...¹

Эх, везёт сестренке! Ну, да ладно. Мы тоже не лыком... Виллем проскальзывает в дом и сует в свою пастушескую сумку шахматы и «Приключения Робинзона Крузо». Собственно, из-за этой книжки потерялся тогда Ваня в высокой ржи... Потом, вечером, Виллем рассказал о своей оплошности маме и Господу. А папе не сказал... Зато теперь, читая книжку, Виллем «раздваивается». Одним глазом в книгу — другим за братом. А гуси — те сами пасутся.

Братишка Ваня гоняется за бабочками. Он без штанов. Его куцая рубашонка мелькает в высокой траве. Кузнечики да лягушки прыскают у него из-под ножек. Одуванчики он срывает, хватая их пухлыми лапками прямо за «солнышки», и приносит Виллему:

— Nimm!²

Если Виллем отказывается, Ваня сыплет цветы на книжку и бежит за следующей порцией. Глаза у Вани синие, кудри светлые, а щечки красные.

Мимо пруда идут на ферму доярки. Одна из них, ссыльная эстонка Сузаан, догоняет Ваню, подхватывает его на руки и целует в румяные щечки, да в искусанную комарами попку. Ваня сопротивляется, смеется и колотит тетю Сузаан кулачками. Та подбрасывает малыша в воздух, ловит, укладывает его у себя на руках, как грудничка, и кружится, кружится с ним по траве, как в вальсе.

¹ Видишь, сынок, Господь услышал мою молитву, прислал эту женщину. Она работала медсестрой... Ты теперь уже можешь немножко бегать? Маргит нужна мне здесь.

² Возьми!

Сузаан живет одна. Мужа у нее «забрали», а ребёнок умер. Наверное, скучно тете Сузаан одной в доме.

Наконец, Ваня, набегавшись, засыпает рядом с Виллемом в тени под березой. Виллем наклоняется к маленькому тельцу и слушает как тук-тук, тук-тук, бьется сердце. Такое чудо — сердце брата, такое диво. Затем старший брат укрывает младшего своей рубашкой и вновь открывает книгу.

К воде подъезжает Сашка-подпасок и, напоив коня, отпускает его пастись. Медленно, в вразвалочку, подходит к Виллему, закуривает «беломорину» и выпускает дым из носа и ушей. Дело это, очевидно, нелегкое: лицо и шея подростка становятся такими же красными как его уши. Виллем вынимает из сумки коробку с шахматами, но Сашка делает отстраняющий жест.

— Подорожником? — кивает он на забинтованную ногу Виллема.

— Ну.

— А я что сказа-а? Подорожник — перво дело. Еслив с чесноком на чердаке привязать — чертей прогонят. Сильна трава. Ты зачем разрешашь энтой бабе ребятёнка тискать?

— Это ж Сузаан, она хорошая.

— Вот глазят тебе братана, тогда будешь знать «хорошая!»

— Как это «глазят?»

— Эх ты, немчуря нерусская! И того не знашь!

Слова обидные, но в голосе нет издевки. Просто сказал, что думал. И Виллем отвечает таким же ровным тоном:

— А ты — олух Царя Небесного!

Сашка смеется:

— В книге вычитал?

— Ну.

— А я не люблю чита-а. Я люблю от так, в плероде жить! — Сашка широким жестом обводит пространство вокруг себя. — Что зимой, что летом — хорошо-о! А книжа что? Мечтание. Книжей сыт не бушь... Что у вас за тётка во дворе маячит?

— А пришла с улицы.

— Просто так и пришла?

— Просто так и пришла.

— И что?

— И кушать попросила...

Хмыкнув, Сашка сплёвывает и некоторое время молчит, держа папиросу на отлете.

— Щас всякие шалааются... Берия зеков выпустил, дак чё тока не делают! То барана со стада уведут, то козу, то телку! У кого погребок вычистят, хлеб там, мёд, сметану, масло, вареники-меники — подчисту-у! В Хорошоньках у однова хозяина ночью пороса увели. В валенки обули! И не хрюкнул — не-е! Умнеют, черти!

В Славянке, тридцать км отсюда, средь бела дни лошадь пропала. И дитё грудное с покоса. И баба молода... Хором искали. И милиционер Степанов с району, и палнамочный. Как коро-ва языком!

— Зачем же — детей? Они ж плачут, и молока...

Сашка изумленно смотрит на собеседника.

— Ты вчерась родился или пальцем деланный? Мамка, молоко-о! Да они их на шашлык, понял? На закуску под водочку, ясно? Зеки же, или не дошло-о? Незаконное попустительство и ротозейство на фоне сложной международной ситуации!

Освободившись от застрявшей в памяти радиофразы, подпасок так затягивается папиросой, что его скручивает сухой злой кашель. И когда он, наконец, способен продолжать разговор, в голосе его уже нет чувства превосходства.

— А энта ваша... ну, гостья чё ли, она с дитем?

— Ну.

— Малой или девка?

— Мальчик, — смутно предчувствуя недоброе, отвечает Виллем, и неожиданно сообщает подпаску то, что не сказал даже маме:

— Мальчик у нее, а она его: «Настенька!» И плачет... А чего плакать? Здоровенький, не крикливый... Головку не держит, так мал. Подрстет...

Подпасок отшвыривает папиросу и внимательно смотрит на Виллема рыжими в крапинках глазами. Видно, что какая-то новость трепыхается у него в горле и просится наружу, но слотнув ком, Сашка говорит совсем другое:

— Дак бабы они чё? Их рази поймешь? Вона я вчерась у Тоньки Малявиной харчевалси. В дом пригласила. Чисто у ей. Рушник на столе, шти с каймаком (*сметана*), сало. И мне: «Соточку примешь?»

Ну-к что ж, принял... А она то так зайдет, то эдак, то руку на плечо, то грудью... И жарко от ей — горяча-а! А потом... — Сашка примолк, но плотину уже прорвало и выплеснулось:

— А потом — руку мне под рубаху — и там пощекотала!

Тут Виллем понял, что пора поощрить рассказчика, выпучил глаза и сказал:

— О-о-о!

— Дак ты знашь ли, скока ей?

— Не-а.

— Тридцать четыре! Почти на двадцать лет! Старуха!

— М-да-а... — совсем по-взрослому говорит Виллем и осуждающе качает головой. Интуиция подсказывает, что если он сейчас спросит, где именно находится это «там», то потеряет Сашкино уважение навсегда.

— Тока молчок, понял? Она вдова, и к ей, гуторят, сам Тюлень захаживат, а мне оно надо? Эх-х, бабы-и... Ну, побежал я, коровы разбрелись...

— Погоди! — Виллем достает из сумки огурец, хлеб и молоко. — Возьми, мамка много дала, мне все равно скоро домой.

— А братану оставил?

— На, смотри!

Сашка деловито заглядывает в сумку. Там действительно еще один ломоть хлеба, еще один огурец и, рядом с шахматами, маленькая бутылка с молоком для Вани.

— Годится! Спасибо... Шахматишки потом. Седни сам вишь какой день, суета!

Сашка часто пропускает занятия и учится плохо, но он — лучший шахматист школы и «тренер» Виллема. Зимой Виллем часто прибегает к нему на колхозную конюшню, где у Сашки свой закуток: печурка, кастрюля и чайник. У Сашки редко бывает хлеб, все щи да каша. Папа разрешает Виллему брать хлеб для шахматного врага, а мама намазывает этот хлеб свиным смальцем или вообще чего-нибудь вкусенького сунет. Мамочка родненькая...

6. Вечер

Ваня спит, Виллем читает. У комаров, похоже, Mittagspause¹.

Но вот над головой заворчал и грохнуло, зашлепали по листьям мокрые ладошки, и кузнечик прыгнул на раскрытую книгу.

Ух ты-и! Виллем подхватывает полусонного «братана» на закорки и бежит домой.

И вовремя. Только укрылись под навесом крыльца, как поило по-настоящему.

Мама подхватывает Ваню и сажает к себе на плечо. Тётя Даша с малышом на руках, Маргит и Виллем — все вместе — смотрят с крыльца, как идет дождь, как вонзаются в землю белые прутья, как стекают по тополю светлые нити и в кустах сирени прячутся куры.

С углов крыши в переполненные бочки течет вода и, не успев дождь закончиться, как уже засновали по лужам желто-зелёные утята, процеживая воду черными клювиками.

По улице вдоль забора на мокром коне, в облипochку рубашка, едет Сашка Клёнов.

— Сашко! — кричит ему Виллем и машет рукой, но подпасок не оглядывается.

¹ Перерыв на обед.

И тут во двор въезжает телега. Спереди сидит бригадир Тюленев. Он разворачивает лошадей и натягивает вожжи, останавливая телегу в воротах:

— Тпру-у-у!

С широких досок, укрытых мокрым сеном, соскакивает грузный мужчина и откидывает капюшон черного плаща.

Это Михаил Шукин, «палнамочный» по делам ссыльных. В народе поменяли первую букву его фамилии на другую, и фамилия эта сразу приобрела звучание соответствующее собачьей должности ее носителя.

— Воровка! — кричит он тете Даше. — Думала, не найдут тебя, ну?

Тётя Даша с криком срывается с крыльца и, поскользнувшись в грязи, падает на одно колено.

— Не спеши, красавица! — Тюленев хватает ее под локоть, но она впивается зубами ему в руку.

— Ах ты!.. — ругнувшись, бригадир отскакивает, но Шукин хватается тетю Дашу за волосы и дергает с такой силой, что она, откинувшись назад, падает теперь уже на оба колена, и сверток с ребенком скатывается на мокрую траву.

Жалобное «у-а-а! у-а-а!» заполняет прохладу вечернего двора.

— Ви што телайт, нинармальный! — мама подхватывает младенца и укачивает его у своей груди. Шукин борется с тетей Дашей, старается закрутить ей руки за спину, а она отбивается, плачет и кричит на всю улицу. Бригадир Тюленев стоит у телеги и заматывает платком прокушенную руку. И делает это нарочито медленно, без конца поправляя и затягивая узелок зубами.

Люди собираются во дворе. В основном, это жены ссыльных, тех, кто сейчас за двести километров от села на сенокосе. Здесь крымская татарка Закинэ, эстонка Сузаан, карачаевка Айшат, чеченка Малика, латышка Майя, калмычка Мелтэ и две соседки Виллема: Мария и Хильдегард. Женщины знают: кто бросится на помощь, того запомнят, с тем «потом разберутся», и они смотрят и молчат.

Наконец, тете Даше удается вырваться. Ворота заперты телегой, но она подныривает под лошадей и оказывается на улице.

— От дитя не убежишь! — Шукин боком подскакивает к маме и хватается у нее из рук младенца. Новое жалобное «у-а-а», ребенок сучит ножками и выгибается в больших грубых руках.

Тётя Даша тем же путём возвращается во двор и набрасывается на «палнамочного». Отброшенная сильным толчком в грудь, она ударяется о крыльцо и сползает на траву.

Красный туман наполняет Виллему глаза. Стиснув зубы, он бросается с крыльца и начинает изо всех сил колотить «палнামочного» по толстому брюху.

— Отстань, щенок! — удар ноги отшвыривает мальчика в лужу, но Виллем тут же вскакивает и бросает в злое лицо застрывший между пальцев кусок грязи.

— Jungche, was machste!¹ — мама крепко обхватывает сына сзади руками, прижимает к себе и отгаскивает в сторону.

Тётя Даша медленно встает и прислоняется спиной к стене дома, ее покрытое мокрыми пятнами платье местами прилипло к телу, верхний угол заплатки на подоле оторвался, обнажая белую кожу, и видно как нанизанные на царапину, набухают красные ягоды.

7. Никогда не вернётся

Между лошадиных голов выныривает рыжая Сашкина голова. Лица у него нет. Глаза да веснушки.

Но Виллем смотрит на тётю Дашу. А тётя Даша, как вчера утром, смотрит сквозь него. Смотрит вдаль больным тяжёлым взглядом. По щекам у нее текут блестящие дорожки, все новые капли скатываются из-под ресниц, грудь тяжело поднимается, руки теребят кончик тонкого пояска.

И вовсе она не старенькая. Она молоденькая! Она лишь чуть старше сестренки Маргит. Тонкая, стройная... Опять не хватает главного слова... Во все глаза смотрит Виллем на Дашу. Даже сейчас, сквозь горе, видно какая она другая, чем женщины, среди которых он вырос... И это светлое платье с пояском... На наших все балахонистое, темное, безрадостно-серое, как злая неволя ссылки.

Во двор входит Пелагея Кулагина, высокая костлявая старуха с пронзительными черными глазами.

Ребенок, чуть прикрытый скользким плащом, извивается и плачет на руках Щукина.

— Дак ты чо, Миша, с бабой воюешь? Чо тут раскомаши-ваешься? Верни молодке дитя!

Щукин долго в упор глядит на старуху и, нехотя, цедит сквозь зубы:

— Не её малой. Украла!

— Отдай, отдай, — будто не расслышав, отвечает Пелагея, — твое ли дело — воры? Али с ссыльными мало забот?

— А все — наше дело! Поняла? Всюду контроль, ясно? — совершенно Сашкиным голосом отвечает Щукин.

— Дак ты хошь, чтоб ей молоко в голову бросилось? И так не в себе молодуха, дак ты хошь, чтоб спомерла? Убить?

¹ Сыночек, что ты делаешь!

Верхняя губа Шукина подпрыгивает, обнажая крупные зубы:

— Это она — убийца! Свою заспала, мертвого в постеле бросила, чужого с покосу схватила и — деру! Тридцать вёрст по жаре! В другой район! Тока от нас не уйдешь, у нас везде глаза-уши!

Женщины перестают перешёптываться, все смотрят на Дашу, а Шукин, торжествуя, бросает на весы еще одну гирию:

— Ще мало. Свекор у ей больной — паралик. Без обиходу бросила. Может помирает щас. А ты...

— Аха-а, так вы все на первородку свалили! На ей корова, огород, порося. На ей больной, да грудной. На ей вся хозяйства, а вы единственну спомощь, мужа, — на сенокос! Дак тут не то — заснешь, умрешь, не встанешь!

— Ты спи, да ухо имей. Дитя задавила!

— Чо мелешь, чо мелешь — язык без костей! Ты видал? В окно подглядал? Дак чо несешь тогды? Иного дитя Бог во сне приборет... Вона — все бабы, спроси! А ты, коль за правду, — косу в зубы, да вместо ейного мужа — комарей кормить! Там-от пузо растрясешь, да может, человеком станешь, гля.

Лицо Шукина медленно наливается помидорным цветом, но с Кулагиной не поспоришь. Она не ссыльная. Она из тех первых, «стольпинских» переселенцев, кто тяжким трудом поднимали здесь целину, копали колодцы и строили заимки. Её муж, герой Гражданской войны, погиб в Отечественную. На мужа она получает «пензию», а сын, шкаф-детина по кличке «Лёня маленький», мать в обиду не даст.

А голос Пелагеи все лезет вверх, как змей на ветру:

— То в «черном вороне» ездил, а щас друго время приспело, дак на телегу пересел? Спомяни мое слово — недолго вам осталось! Дитю титьку надо, али свою сунешь?

Шукин вздрагивает. Нелепость происходящего, похоже, только дошла до него. Преступница на свободе, а он с плачущим ребенком на руках в кругу «врагов народа».

Резко отвернувшись, не удостоив Кулагину ответа, он кладет, почти бросает малыша на мокрое сено телеги. Молодая мать вмиг оказывается рядом и подхватывает ребенка на руки.

— Отвернись, бесстыжий! — верхние пуговицы платья у тётки Даши оторваны, она отходит в круг женщин и дает ребенку грудь. Жалобный плач сразу стихает.

Уполномоченный Шукин столбом стоит у телеги, бригадир Тюленев все возится с повязкой на руке, закатное солнце зажигает тополь, рисует красные клеточки в окнах и кладет тени на лица.

И опять шлепают по мокрой траве лошадиные копыта. Уютная пролетка на красиво выгнутых рессорах останавливаются у забора. Высокий седой мужчина протискивается мимо лошадей в воротах и проходит вперед.

Это «дядька милиционер» Степанов. Его уважают, потому что он «за правду».

Детей у Степановых нет, и они взяли на воспитание двоих сирот. Жену Степанова, молчаливую тетю Лену, говорят, видели на Пасху в городской церкви.

Ни взглядом, ни словом не удостоив «черного ворона», Степанов негромко, твердо говорит:

— Гражданка, пройдёте со мной. А вас, граждане, прощу разойтись!

Он помогает тёте Даше подняться в пролетку и накидывает ей на колени одеяло.

— Н-но-о!

Лошади медленно разворачиваются в длинных медных лучах.

Неужели не оглянется, неужели не вспомнит, неужели...

Медленно поворачивает Даша голову.

— Спасибо, люди добрые, спасибо за хлеб-соль, за приют, за уют, за все, за все... дай вам Бог... дай вам Бог...

В поднявшемся шуме и плаче Виллем не слышит последних слов.

Ну, взгляни же, взгляни!

И она нашаа его взглядом, легонько кивнула, улыбнулась уголками губ и наклонилась к ребенку.

Степанов тронул лошадей шагом, затем пустил их рысью. Виллем следил за пролеткой, пока она не растворилась в сумерках, пока не зарыбило в глазах.

Первое осознанное сердца замирание перед тайной красоты, первый звонок из взрослой жизни, первое ранение...

Виллем приходит в себя, оттого что мама тормошит его за плечо:

— Des Entche dort weint aach, helf ihm doch!¹

У самого входа в сарай застрял утенок в коровьей лепёшке. Он отчаянно пищит и машет кудыми крылышками, но перепончатые лапки прочно засели в липкой зеленой жиже. Рядом стоит мама-утка и хрипло тревожно крикает.

Виллем накрывает ладонью пушистое невесомое тельце, осторожно вытаскивает утенка из плена, обмывает в луже его испачканное желтое пузечко, споласкивает малыша в чистой дождевой воде из бочки и опускает на землю рядом с мамой-уткой.

— Jezz awwer schnell schlouwe gehe! — Sis schon dungel!²

Пока возился с утенком, слезы высохли.

¹ Там утёнок тоже плачет, помоги ему!

² А теперь быстро — спать, уже темно.

8. Кто плохой, кто хороший?

Этой ночью Виллем прибежал к маме и ткнулся ей в плечо:
 — Ma, hot se werkllich des Kinn gestoole?¹
 — Aich denk jo, sie hot es², — вздыхает мама.
 — Awwer du host doch gesaagt: Herr Gott hot se geschickt...
 Stehle — is Sinde. Ne Sinderin geschickt?
 — Aan jeder hot sei Sinde in diesem Leewe, mai Kinn...
 — Unn die anre Motr, die richtige, die hot geweint?
 — Aich denk, ie hot sehr geweint...
 — Unn der schlechte Mann, der «palnamotschni», der wollt
 des Kinn der richtiger Motr zurickgewwe?
 — Jo, der wollt.
 — Unn Stepanoff aach?
 — Stepanoff aach...
 — Unn Stepanoff macht es aach?
 — Er macht es aach...
 — Alsoo — dann sinn die Männer net schlecht, awwer die
 Tande Dascha, die is schlecht! Meinste, Ma, sie hot werkllich ihr
 Kinn dootgedrickt?
 — Aich denk, es Kinn is doot, awwer ob sie daran schuld is,
 des kamma net wisse...
 — Awwer, Ma, des muss ma doch wisse... wer gut unn wer
 schlecht is!
 — Du host doch gesehe, Kinn, Dascha is kaa schlechte Fraa.
 Bloß so jung, bloß so e grooses Leid, deshalb...
 — Wos, «deshalw», Ma, was? Deshalb hot se des Kinn
 gestoole? Unn Herr Gott hot es zugelasse?³

¹ Ма, она правда, украла ребенка?

² Я думаю, да...

³ — Но ты же сказала: «Господь ее прислал...» Воровать — грех. Грешницу прислал?

— У каждого свой грех в этой жизни, сын...

— А другая мама, настоящая, она плакала?

— Я думаю, она сильно плакала...

— А плохой дядя «полномочный», он хотел отдать ребенка правильной маме?

— Да, он хотел.

— И Степанов тоже?

— И Степанов тоже...

— И Степанов отдаст?

— Да, он отдаст.

— Но тогда дяди — не плохие, это тетя Даша плохая... Ты думаешь, ма, она вправду задавила своего ребенка?

— Я думаю, ребёнок умер, но виновата ли она — это неизвестно...

— Ma! Но ведь это надо знать, кто плохой, а кто хороший!

— Ты же видел — она хорошая... Просто — очень молоденькая и такое большое горе... Поэтому...

— Что «поэтому», ма, что? Поэтому она украла ребенка? И Господь допустил?

Мама долго молчит, ее мягкая рука тихонько гладит затылок сына. С грустью шепчет она в ночную тьму:

— Du werrst es schwer hawwe in deinem Lewe Willi... Geh mool schlowe, geh mol schloowe, mai Kinn, der Morchent wernt schon alles annerst unn leichter mache...¹

И с такой же горечью Виллем:

— Никогда, никогда я её больше не увижу.

Виллем никогда больше не видел тётю Дашу...

9. Вечная ссылка

Через некоторое время всем припомнились слова Пелагеи Кулагиной. Власти отменили комендантский режим, куда-то подевались, как сквозь землю провалившись, все «палнамочные», а ссыльным семьям из прибалтийских республик и ссыльным народам России разрешено вернуться в родные места.

Лишь татарам Крыма да немцам Поволжья — вечная ссылка...

10. Годы как воды

Прошло пятьдесят лет.

Пушистые слочки на могилке родителей стали стройными елями.

Сестренка Маргит стала матерью десятерых детей, молодой бабушкой шустрых внуков и вместе с русской родней уехала в Германию.

Давно не бьется сердце братишки Вани. Братишка Ваня, колхозный механизатор и отец пятерых детей, умер в сорок лет в жаркий «давай-давай, быстрее-быстрее» день на сенокосе...

Сашка Кленов стал отцом многочисленного потомства и фермером. Его буйная шевелюра поредела.

«Тихо льётся с кленов листьев медь...»

Еще много было «звонков», подобных первому, теперь все чаще звонят «оттуда», а главного слова все не находилось. И вот, однажды, глядя на собственную двадцатидвухлетнюю дочь, как она, привстав на цыпочки, срывает яблоко, Виллем нашел это слово: *юная*.

Да, оно.

Юная, юность, юн.

Голова стала белая.

¹ Тяжело тебе будет в жизни, Вилли... Иди-ка спать, пора спать, сыночек, утром все будет по-другому, все будет не так...

Память не выбросишь.
 ...Злой, грубый мужчина рвет ребенка из рук молодой матери.

Ссылные смотрят и молчат...
 Горит, горит тополь, облитый вечерним золотом.
 Болит сердце, болит.

2004 г.

КАЛИГУЛА И КРАСНАЯ ПЕТЛЯ

Землю для своего «огорода» я по горсточке собирал в тундре и носил рюкзаком. Каждую весну на небольшой площадке под окном я сею укроп и редиску, сажаю лук и чеснок. Вдоль забора растут у меня зеленые листовнички и кустики красной смородины, а багульник, ива и ромашки прижились как-то сами собой.

Конон Евдокимович, старый рыбак по прозвищу «Калигула», стоит в метре от меня за сеткой забора, молча пыхтит трубкой и смотрит, как я делаю грядки. Я вижу его трясущиеся руки и знаю, чего ему от меня надо, но тоже помакиваю.

— Однако, копаешь? — доносится наконец.

Чтобы скрыть смех, я наклоняюсь к самой земле.

— Те немцы тоже так делали. Ты раз собираешь, те, однако, три раз собирали. Шибко земля понимали. Картошка тоже сажали, репка, капуста...

Я уже знаю, что «те немцы» — это ссылные немцы Поволжья, выехавшие отсюда «домой» больше четверти века назад, вскоре после указа о реабилитации от 1964 года. Этот поселок, Жданиха, основан ими в 1943 году. Уже потом, когда здесь появились дизельная и школа, стали съезжаться сюда окрестные кочевники-долганы. Сейчас это долганский поселок.

Ссылные здесь, на 72-й параллели, выращивали картофель и другие овощи, а редиска давала у них три урожая в сезон. Картошку я давно перестал сажать — все равно детишки из любопытства повьдергают, а редиска вырастает и у меня хорошая, крупная, но только один раз.

Заканчиваю грядку и приглашаю старика в дом:

— Заходите, Конон Евдокимович!

Дед Конон получил свое прозвище от кого-то из ссылных «умников» за малый размер обуви. На этом его сходство с Калигулой и кончается.

Ему 63 года. По здешним понятиям, «однако, шибко старый!»

В долганских поселках полно вдов и пожилых женщин, но пожилых мужчин можно по пальцам пересчитать. Каждый год

гибнут молодые сильные мужики в тундре и на воде, гибнут, в основном, по пьяному делу, и множится число вдов, и дети растут без отцов...

— Вот. Сандер делал, — Сапोजок ставит на стол объемистый чайник из толстой жести с бронзовым свистком на носике. После рюмочки дед оживает и начинает, к моему удивлению, называть по-немецки предметы на столе и в комнате: — «Бехер», «глас», «флинт», «байль», «ур», «брот», «вассер» дер рукольник! (Кружка, стакан, ружье, топор, часы, хлеб, вода.)

Беру в руки чайник. Красивая, старая, прочная вещь. Верхняя часть приклепана к доньшку множеством мелких заклепок и пропаяна. Ручка — из оленьего рога. Свисток приделан к носику массивной медной цепочкой, ни разу не порвавшейся за многие годы. Чайник наискось пробит пулей, но равное выходное отверстие тщательно обработано и обе дырки заткнуты деревянными пробками. Чайник «годный, однако!»

— Зачем же было стрелять? — с сожалением говорю.

— А брат пьяный. Дай, — говорит, — свистит-то!

— Не дам! — говорю.

— Дай! — говорит.

— Не дам! — говорю.

— Тогда — никому! И — карабин... Дурной был, как выпьет! Утром, однако, шибко жалковал, однако, плакал. Ну, что делать...

Понятно... Кто не «жалковал» утром о том, что натворил вечером?

В поселке не работает пекарня, поэтому у меня наготове тесто. Становлюсь к печи и скоро выкладываю деду на тарелку стопку свежих оладий, наливаю кружку крепкого чаю. Я всегда рад этому хрупкому, спокойному, маленькому, как подросток, старику. Однажды он обругал меня за неправильно поставленные сети, заявив при этом: «Риба — тоже человек!», чем сразу привлек мое внимание. Он научил меня чистить ружье кипятком, а карабин веревочкой. От него научился я узнавать погоду на день вперед, вязать простые и ловкие рыбацкие узлы, делать самодельную дробь, и в плохой год, когда из-за обилия мышей в тундре песец не берет приваду, ловить этих игривых белых лисичек просто на клочок оленьей шерсти.

Я слушаю деда, а с него уже и пот в три ручья.

Многие знают, что поволжские немцы были в 41-м году выслены в Сибирь и Казахстан и распылены по градам и весям так, чтобы они нигде не составили большинства населения. Известно также, что и вниз по Енисею, чуть не до самого Диксона, развезли ссыльнопоселенцев.

Но, оказывается, и сюда, в невообразимую даль, на восточный берег Таймыра, завезли ссыльных немцев Поволжья, а затем и калмыков. В начале сентября 1943 года ледоколы про-

толкнули через забитый льдом пролив Вилькицкого несколько барж с зеками. Первая партия попала на Хатангский рыбозавод, там были хоть какие-то бараки для жилья. Остальных расселяли по охотничьим станкам, рыбацким точкам или просто на голый берег.

— Бабы были да малые. Только мало-мало мужики — топор держать... Нора копали, как волки, а земля мерзлый. Тает, тает, мокро, склизко, совсем, однако, плохо...

Не знавшие свойств мерзлоты, люди ошиблись, пытаются укрыться в земле от мороза. На второй год выжившие стали строить «дома» из местного леса, из лиственниц лесотундры, максимальная толщина таких бревен 15–17 сантиметров.

Стол и стулья из кругляка, печка из железной бочки, да лавки по стенам, — вот и все убранство такой избы. И давали план по рыбе и пушнине, и давали план по куропатке и, как могли, растили и учили добру детей.

— Возле каждый лунка энкеведе стоял, риба считал, книжка писал. Нам, однако, давал! Немножко — два, три, бери, семья корми. Немец — нельзя! Калмук — нельзя! Пусть — как хочет! Мы, однако, немножко прятали! Немец давали, калмук давали. Тогда — живой! Тогда дикий олень Авам ходил, тута нету. Мясо, однако, мало. Тогда курупатка ловили, петля женский волоса делали. Старая Мария-Лиза не кушала. Говорит, Бог не велит удавленный мясo кушать... Две ее дети кушали, жили. Она весна умирала...

Пять тысяч человек — численность долганского народа. Живет он в девяти поселках, и почти в каждом были ссыльные немцы, и всем помогли кочевники выжить, и везде сохранили тундровые кочевники уважительное отношение к трудолюбию моих земляков, к их душевному богатству, верности слову, всегдашней готовности прийти на помощь.

Ныне опустели заброшенные станки ссыльных под Волочанкой, в Хете, Крестах и Казачке, на Ново-Летовье, Таба-Арыта, на Старорыбной, Малой Балахне и Сындасско.

Уцелел и остался людям поселок Жданиха. Он удобно расположен в устье одноименной речки, от жестокого хиуса, норд-оста, защищен горой, а зюйд-вест все-таки помягче... Кроме могил, остался здесь «немецкий» склад да несколько «немецких» домов. Небольшие эти дома, на две-четыре семьи, срублены из местного леса, обложены высокими завалинками, отлично держат тепло, ни один из них еще не осел в мерзлоту, все исправно служат людям.

— Конон Евдокимович, — сказал я деду, — оставьте у меня чайник. Я вырежу заплатки, запаяю — будет, как новенький!

Сапожок радостно кивает, и нельзя не улыбнуться его счастливому лицу: и похмелился, и чайник наладил!

— Конон Евдокимович, а разве не было ниток крепких, что петли на куропаток делали женщины из собственных волос?

— И петля, — вновь оживляется дед, — и сети, однако, тоже волоса делали! Только мало волоса! Тогда шелковый платок есть? Давай! Шелковый юбка, рубашка есть — давай. Шарфик давай, все давай! Нитка таскали, сети делали. Такой сети тонкий, крепкий, рыба не видит, совсем не боится, однако. Тогда много попадает!

Я знаю, сколько труда стоит сплести вручную сеть даже из тонкой, гладкой, прочной лески и на минуту задумываюсь. Сапожок пододвигает ко мне пустую кружку, тихо звякает ложкой. Его узкие глаза опять темны от воспоминаний.

— Красный флаг, однако, тоже потихонько нитка дергали... Его много склад лежал. Тогда начальник говорит: «Однако, мышь! Однако, кота надо!» Волоса снова растет, красный флаг как растет?

Довольный дед тихо смеется. Я наливаю ему еще и сажусь рядом на стул. Нет нынче красного флага, как и не бывало, народ нашел прочному шелку лучшее применение. Только тень красного прошлого по-прежнему лежит на стране. По-прежнему будоражит умы красная идея, по-прежнему в отношениях между нами преобладают оттенки красного, по-прежнему найдутся многие, готовые, подобно тем куропаткам, сунуть голову в красивую красную петлю...

#



Генрих КИРШБАУМ

#Берлин 2

Родился в 1974 г., филолог, поэт, переводчик. Профессор института славистики Гумбольдтского университета (Берлин). Автор многочисленных поэтических и литературоведческих публикаций в российских и зарубежных литературных и филологических журналах и антологиях («Крестьянин», «НЛО», «Textonly» и др.). Член немецкого ПЕН-Клуба. Автор книги «Валгаллы белое вино». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама», М., НЛО, 2010. Лауреат конкурса переводов Чеслава Милоша (Польский Институт Книги, 2011).

ОСЕННИЕ ФРЕСКИ

ПАРША

Яблоня в саду у реки
болеет уже третий год.
На коре завелись грибки,
шершавятся лист и плод.

Ясным осенним днем
я подожду листву —
в ней зимует парша.

Медленно сизый дым,
как из тлена душа,
потянется в синеву.

#

РАВНОДЕНСТВИЕ

День приурочен, приравнен к ночи.
Рано смеркается. В щелях света,
медленно тлея, хранятся мощи
ушедшего восвоеси лета.

Время, свое всему,
будучи тоже смертным,
двигается несметным
силуэтом во тьму.

Стынет, свертываясь, земля.
На убранные поля
пустыми глазами холода
смотрит осенний лес.

Скоро листва станет на вес
золота.

ТЕРНОВЫЕ СУМЕРКИ

Тихо темнели
голые шеи деревьев,
стыли отсветы сини,
густые щели.

Между камнями,
под кочками пней,
в кислой земле белели
капилляры корней.

Сквозь марлю мглы
пахло грибной трухой,
орехами, затхлым мхом.
Мокрым кашлем трещал
под ногами хворост.

Я люблю ветхое молоко осени,
когда дует унылый дым,
и горя дорогим огнем,
горько и глубоко,
в каждой элегии тлеет гимн.

ЗАТОН

Светает. В воздухе только
сырость сини.
У стойкой стены затона
замирает звонкая гонка протока.
В тумане тонко
теснятся осины.

Комья сплавины,
накипь тины,
ворохи хвороста, мха, коры
склеены грязью глины.

Вынырнув из норы, бобры
подлаживают плотины.

ВЫПОЛЗОК

Сквозь сизую вязь ветвей
первые посвисты совки.
По голени сопки,
в покатую темь
петляет ловкий ручей.

В распадке трещат
щитки каскада.
Разводами марганцовки
багровеет закат.

В траве у ручья
черствеет змеиная чешуя.

СТАРОРЕЧЬЕ

Кольцами цепких высоких трав
зарастает слепой рукав.
Сквозь ряску свисают космы осоки,
ползет пырей.

Здесь зазимует,
отстав от стаи,
семья серых гусей.

ОСЕННИЕ ФРЕСКИ

Редуют резкие краски.
Осенние фрески
кусками рушатся ниц.

В стылой слякоти,
в талой трухе снежниц
затвердевает лед.

Вывихи вихря себе под дых —
лебединым крылом бьет
копоть первой пурги.

Под глазами святых —
чернеющие круги.

ЗАЛЕДЬ

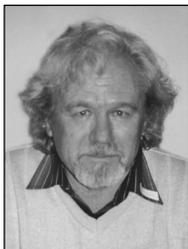
Прорезáli вдребезги
заледь у переката,
стыли кривыми выями тростники.

Под выкрики выпи
заиндеVELO выли,
скрипели колки реки.
Звенело зимнее пиццикато.

#

1 (59) '2013

#



Курт ГЕЙН

#

#Баг Вюнненберг 2

Родился в 1935 году в селе Ягодное Автономной республики немцев Поволжья. Работал учителем рисования и черчения. В 1971 году окончил художественно-графический факультет Омского пединститута и до переезда в Германию, в 1992 году, преподавал в художественной школе села Подсосново на Алтае. В 2005 году издал первую книгу рассказов. Печатается в русскоязычной периодике Германии и России, в альманахах литературного объединения немцев из России.

НЕСПЕШНЫЙ РАССКАЗ О ЛЕТЕ

Суббота. Конец смены. Ссыпал стружки в ящик и протёр станок ветошью. Середина лета. Уже шестой час, а жара не унимается. Окна открыты, и пахнувший зноем сквознячок колышет куст аспарагуса на подоконнике. Всё, сейчас домой и под душ, переодеться, перекусить по-быстрому — и в центр: в субботу у клуба большая игра.

Этой весной председатель профкома, чтобы «вовлечь молодежь в культурно-массовые мероприятия», привёз два кирзовых мяча и сетку. Вкопали два столба и разметили площадку, выдолбив по периметру канавки. Школьный физрук объяснил правила, и началась волейбольная эпидемия — каждый вечер дотемна пасовали, блоки ставили и «резали». Играли «на вылет» — проигравшая команда уступала место следующей. В сумерки жёны уводили своих мужей по домам, а парни разбирали девушек-болельщиц и шли «дружить» в берёзовую рощу за околицей.

Пошёл к умывальнику отмыть каустиком въевшуюся в руки жирную грязь. «Подожди-ка, поговорить надо, — остановил меня пожилой токарь дядя Юлиус. — Меня в Устьянку на наш покос посылают: балаган перекрыть, печь сложить, ну и всё другое приготовить для бригады — в ту пятницу косить начнут. Велели

#ПРОЗА

двух помощников себе подобрать. Иван поедет и просил тебя взять (Иван его сын и мой дружок). Поедешь?» — «Когда? Я это... дела у меня... с ходу как-то...», — залопотал я, лихорадочно сообщая, как бы половчее отказаться. Старый понял мои терзания и, морща уголки светлых глаз, пошёл с козырей: «Уток постреляем, сеть на ночь ставить будем, бредень потаскаем, накупаемся, а в субботу уже дома будем». — «Еду!». В волейбол сегодня наиграюсь, любимую провою и выдержу до следующей субботы.

Мать на рассвете подняла меня. Выпил кружку парного молока и, взяв сумку с едой и мешок с постелью, пошёл проулкум к дому Фоотов.

Волеы уже в ярме. Передок арбы набит сеном, на котором сидит мать Ивана в низко повязанном белом платке и Фридка — его сестрёнка. В задок нагружены доски, кирпичи, узлы с постелью и прочие нужные материалы и инструменты. «Засоня, — растянул друг толстую губу, — п-помоги-ка». Я помог ему подать на воз тяжёлый ящик с гвоздями. «Т-табачку-то взял?» — спросил он тревожным шёпотом. Я чиркнул пальцем по горлу. «Усаживайтесь, ехать пора», — поторопил нас Юлиус Давыдович.

Тронулись. Когда выехали за село, взошло солнце, сразу белое и колючее. Мы с Иваном надвинули кепки на лица и уснули.

К обеду так жарить стало, что не до сна. Вода в лагунке набултыхалась и жажду не утоляет. «Сверни, отец, в околок. Отдохнём в тени, поедим», — попросила тётя Фрида мужа. «Часика полтора-два можно отдохнуть», — обрадовал нас хозяин и свернул к близкому леску.

Какая роскошь эти рощи в степи! На опушке трав и цветов всяких — по колено! Выпаренные из них зноем волшебные запахи проникают в каждую клеточку и кружат раскалённую голову. Бабочки разноцветной метелицей порхают над благоухающей поляной. Шмели басят, вторя неумолчному дрожащему стрёкоту кузнечиков. Только птицам не до песен — выводок на крыло ставить надо. На рассвете пощечечут, посвищут коротко, отведут душу — и за работу. Весь день, дотемна, суют в страшные нена сытные глотки ненаглядных деток жучков-червячков.

Распряженные волеы вошли по пузо в бочажку с родничком и жадно пьют большими глотками, раздувая бока, дую ноздрями на мух. Мы сбросили раскалённую пыльную одежду за ракитовым кустом и плюхнулись в воду, распугав водомерок. Ах, благодать! Ах, красота! С любимой бы здесь в шалашике лето прожить! Плескаться в прохладной родниковой воде и лежать рядышком в сладком дурмящем сумраке шалаша на пушистом сене. Во рту шершаво стало от этого видения, а в животе — как льдинку проглотил. Еле отогнал эту сладкую мороку...

Тётя Фрида с дочкой, не сняв рубашек, тоже у берега поплескались и поприседали. Долго барахтались, аж пупырышки по телу пошли. Бодрыми к возу вернулись, поели домашнего. Завтра

печь соорудим, и наши стряпухи кашеварить будут. Крупу, картошку, муку и комбизжир нам на неделю в МТС выдали. Мясо мы сами добудем, а уж рыбы не только на уху и жарёху наловим, но и впрок засолим, засушим и навялим.

Отдохнув, соорудили на арбе из четырёх жердочек с рогульками тент из байкового одеяла и отправились дальше. Дрожащий воздух приподнимает над горизонтом полоски степи и далёкие рожицы и колышет их миражами на фоне белёсого марева. На покачивающейся арбе опять врываемся в душное полузабытое дремоты.

Когда жара спала, мы ожили и убрали с колышков одеяло. Унялась дрожь атмосферы, и приутих звон кузнечиков. Воздух прозрачен, и до самого края земли всё теперь видно чётко и ясно.

Незадолго до заката свернули к длинному лесу. От него идёт длинный пологий спуск в широкую, до далеко отодвинувшегося горизонта, долину, которую за многие тысячелетия вымыла и разровняла могучая доисторическая река, пробивая себе дорогу к Ледовитому океану. Мы стояли над такой же плоской и бескрайней степью, как и наша Кулунда, но зовут её Бараба. Необычен и таинственен этот плоский необозримый каньон, лежащий под нами: закатное солнце зажгло поверхность множества болот, озерков, проток и стариц, и польхали они золотой иллюминацией, подсвечивая в розовое полоски тумана, стелящиеся над посиневшей степью. Из этой сине-розовой дымки светлой змейкой вьётся тихая речка и втекает в польхающее озеро. Но потух последний лучик, и каньон мгновенно укрылся тёмным покровом, по которому, то появляясь, то пропадая, тусклыми приведениями забродили клочья тумана. Загадочна, прекрасна и незабываема эта картина!

Переспали на возу и, позавтракав на скорую руку, принялись за работу. Пока мы с Иваном выбрали и срубили с десятка молодых берёзок и ворох лозняка, подтащили всё это к просевшему балагану, родители Ивана подправили навес, залатав его молодым камышом, отремтировали и помазали стоящими под ним печь. Из высокой трубы, которую завершало ведро с выдавленным дном, струился серый дымок, а маленькая Фридка шустро чистила картошку.

Сорвали со стропил и утащили в осинник старое трухлявое покрытие балагана, чтобы солнце выжарило и испарило тухлую сырость, накопившуюся за зиму под этим толстым слоем веток и сгнившего сена. Пока поспевал обед, успели ещё и небольшой загон для наших волов загородить, привязав к деревьям жерди мятой лозой. «А то уйдут вниз, ищи их потом по болотам. Тут на опушке литовкой за пять минут им на два дня сена накопить можно. Пусть на глазах будут, спокойнее», — объяснил Юлиус Давыдович.

Стан для бригады ставят здесь наверху потому, что внизу, у реки, где покос, сыро, и туман долго стоит. Косить по росе, конечно, легче, но спать холодно и сыро и, главное, комаров там — тучи! Днём на солнце они не очень надоедают, а ночью от них спасу нет. Не отдых, а мучение. А здесь наверху благодать: светлая берёзовая роща, чистое озерцо, наполненное мягкой, сладкой, родниковой водой. Поплещешься в ней перед сном — и спишь, как младенец, которому бабка нашептала, а чай и уха из этой воды особенно вкусны и душисты.

«Папа, а когда сеть п-поставим и уток п-постреляем? — спросил Иван за обедом. — Зачем нам еду на п-прогорклом комбжире жевать, когда свежина т-тучами внизу летает?» «А сегодня и начнём. Часиков до семи поработаем и спустимся к озеру. Там место хорошее, камыш кругом, дно твёрдое и чистое — невод хорошо тянуть, сети ставить. Селезень только через недельку-другую в крепь линять уйдёт, а пока на чистое садится, вот мы этих холостяков и постреляем. Они в эту пору на чучела и манок дуром прут, ведь утки с выводками от этих женихов по болотам попрятались, и мы их не потревожим».

Чтобы унять дрожь ожидания предстоящей охоты, мы с Иваном рьяно принялись за работу. Так увлеклись, что не сразу услышали, как Фридка нас на ужин аукает. Быстро искупались — и к стану!

На опушке разостланы сеть и небольшой невод. Снасть до-революционная, добротная, из конопляной нити. Поплавки из рулончиков бересты, а шары грузил из обожжённой глины. На столе раскрыт окрашенный зелёным суриком и выставленный распоротыми руками старой фуфайки фанерный пенал. В нём лежит «чудо чудное» — старинное, шомпольное ружьё, которое за мешок овса уступил деду Ивана бийский кержак. Запасливый сибиряк хранил его только потому, что «можка кады и согдится». Вишь, и согдилось — коню аж цельный мешок овсеца за ржавую железяку у дурного немца урвал.

Но потомок прусских мастеровых, сам мастер на все руки, сразу угадал, что это шедевр тульских оружейников и, конечно, отдал бы за него и три мешка овса. Он отмочил в керосине ржавчину с восьмигранного ствола 10-го калибра; отполировал его до блеска снаружи и внутри смесью машинного масла и в пыль растёртой пемзы; перебрал, почистил и смазал замок; заменил полусгнивший, треснувший приклад, выстрогав из свиловатого комля кулундинской берёзы изящное ложе, продержав его сутки в кипящем растворе растительного масла и воска, и служит это ружьё верой и правдой вот уже третьему поколению семьи сибирских менонитов.

Дядя Юлиус развернул длинный брезентовый свёрток и, тайно улыбаясь, вытащил из рулона старую обшарпанную берданку. «Это я для вас на проходной взял. Правда, патронов

только семь штук». Хитрый старикан, чтобы мы у него не канючили из «Паркизона» (так он свой самопал называл) пострелять, он это ружьё у вахтёра выпросил. Да нам теперь его мортира и задаром не нужна! Свою засидку устроим и покажем старому, как стрелять нужно. Влёт! Это тебе не с сошки-подпорки, сидя на мешке с сеном, палить по куче селезней, подсевших по дурусти к размалёванному под невест чучелам. Тут, брат, искусство!

Наскоро поужинали и, разобрав груз, спустились к озеру. «Идите к концу протоки у болота и там сеть поставьте — к утру в неё ведра два карасей набьётся. Оттуда невод назад к этому месту потянете — щурят, окуней и чебаков добудете. А я пойду на своё прошлогоднее место — там холостые крякаши на чистое ночевать пролетают и к чучелам, и на манок обязательно свалят», — сказал нам дядя Юлиус и, накинув на плечо ремень своего пенала, подхватил мешок и ушёл вдоль кромки камыша.

Не мешкая, спрятали одежду и берданку в камышах (только кепку свою Иван до ушей натянул — там у него под подкладкой курево спрятано) подхватили сеть с бреднем и, вспугивая куликов, напрямик поспешили к болоту. Поставили поперёк устья протоки сеть и, бесшумно раздвигая воду, потянули бредень назад к спрятанному ружью и одежде.

Я тянул у берега, а «продолговатый» Ванька, выпучив светлые глаза и набычив лобастую голову, буксиром прёт «по глыби». Губищу нижнюю выпятил и бормочет что-то себе под нос — рыбу заговаривает, ведьмачит.

Порозовевшая от низкого солнца вода лениво колыбалась за нами. Временами во все стороны прыскали от нас серебряные стручки мальков. Иван пощёлкал оскаленными зубами и провёл ладонью по кадьку. «Шук тут навалом», — расшифровал я. Прошли ещё шагов двадцать, и он указал подбородком на небольшую прогалину в камышах и, обгоняя меня, начал заводить невод к берегу. В этот момент возле него так невод рвануло, что палку из рук вырвало, и только верёвка, перекинутая через плечо, удержала невод на месте.

«Своди!» — заорал он и изо всех сил налёг плечом на бечеву. Я распластался над водой, чтобы достичь берега вместе с ним. Тяжесть такая, будто двухпудовая гирия в невод угодила, но внезапно напор ослаб, и я от неожиданности плюхнулся лицом в воду. Невод провис, как нижняя губа обескураженного Ивана, которая шипела что-то малость нецензурное. Не успел он закончить свою реплику «в сторону», в мотню так садануло — чуть нас не опрокинуло. Мы так заорали и так к берегу припустили — от мотни бурун, как от моторной лодки пошёл! Угомонившиеся, было, чайки от нашего шума опять всполошились и заголосили мартовскими кошками.

Оттащили невод подальше от воды и без сил рухнули на холодную колючую траву. В мотне, гулко шлёпая хвостом, билась

большущая рыбина, увалив большую поляну в молодом камыше. Наконец рыба приутихла, и мы, отдышавшись, подошли к зверю, которого поймали. Среди десятка трепыхающихся мелких рыбёшек чурбаком лежала громадная щука.

«Ёшкин свет!» — сделал большие глаза Ванька и, присев на корточки, ткнул в неё сучком и тут же отпрянул, опрокинувшись на спину и задрав большие, косолапые, сморщенные от воды, белые ступни. Щука от его тычка, оттолкнувшись хвостом, встала на голову и, перекувыркнувшись, истерично забилась, брызгая тиной и грязью. Наконец затихла и только изредка вздрагивала и хлопала жабрами.

Почёсывая поцарапанный колючей травой зад, он снова присел и осторожно убрал с добычи налипшую траву и ряску, поманил меня к себе и показал пальцем. Так вот почему эта торпеда застряла в нашей ветхой снасти! Её морда до глаз торчала в петле из трёхмиллиметровой медной проволоки, на которую наизана гроздь глиняных шаров-грузил. Если бы эта «ихтиология» долбанула рядом с этой петлёй, то мы с другом Ваней мучились бы всю жизнь, гадая: не водяной ли, часом, ушёл от нас, оставив в наших руках только колья, поводки да лоскуты от дореволюционной снасти.

Высвободили морду щуки из петли и с трудом вытряхнули её на ещё не затоптанную траву. Я смерил её камышиной, поставил мерку между ступнями и прижал к животу. Мерка чуть выше пупа — почти мерг! «Всё равно пацаны не поверят. Опять подхренивать будут». — «Я голову еёную высушу — п-поверят», — успокоил меня друг.

Вдруг далеко слева гулко бабахнуло, и гром выстрела посккал по блестящей, как ртуть, воде и, ударившись о противоположный берег, чуть ослабев, вернулся назад: «Бу-у-у-у-у...». Пока мы возились со своей добычей, начался лёг, и дед открыл пальбу из своей фузеи. Мы торопливо кинули в камыши свёрнутый невод — завтра дальше потянем. Сунули щуку в рогожный мешок и бегом поволокли по траве к схоронке с ружьём и одеждой.

Пока добежали, раздался ещё один залп самопала. От гула выстрела суматошно, во все стороны, со свистом понеслись несчётные стаи уток. Мы с другом, ошалев от этой круговерти, хватались то за штаны, которые не лезли на мокрые ноги, то бросались потрошить свёрток брезента, который тоже не хотел разворачиваться и отдать ружьё. Наконец Иван всё же выдернул его из рудона, рассыпав патроны в густой траве. Нашарив несколько патронов и выдернув ногу из так и не налезшей штанины, громадными скачками понёсся к берегу, сверкая белым задом.

«Штаны-то надень, балда! Комары сожрут!» — крикнул я ему вдогонку. Куда там! Ему сейчас и рой шершней нипочём! Ещё не добжевав до камышей, промазал по внезапно возникшей над го-

ловой утке и запрыгал дальше. Я быстро оделся, отыскал в траве патроны и побежал за ним, чтобы отдать ему портки и самому пострелять, пока не стемнело.

Иван, пригнувшись, стоял по колени в воде и, замерев, смотрел сквозь камыш на тучи уток, носившихся над озером. Как пойнтер стойку держит! Вдруг начал медленно приседать и, окунув в воду свой грязный зад, опять начал тихо приподниматься. Это что ещё за физзарядка? Нашёл время свои запачканные телеса полоскать, чистоту наводить. Но светлое пятно отмытого тела, забелевшее, было, сквозь болотные заросли, опять начало гаснуть и через минуту совсем потухло. Ах ты, мать честная! Это же он не грязь со своего зада смывает, а вцепившихся в неё комаров топит!

Вдруг он выпалил неведомо во что. Я увидел, как прямо над ним столбом прынула вверх станичка уток, а один крякаш вынырнул из облака дыма и, теряя перья, пронёсся надо мной и упал метров за сорок на луг. Стрелок выбежал из укрытия и сунул мне ружьё. Подхватив штаны, побежал подобрать сбитую птицу.

Совсем стемнело. Только на светлой полосе западной стороны неба ещё можно ясно видеть приподздившихся водоплавающих. Комары окончательно озверели, даже едкий дым бийской махорки не может отбить яростные атаки этих кровопийц. Пока сворачивал очередную козью ногу, прозевал прямо на меня низко летящих уток, а потом, в почти полной темноте, пальнул на шум крыльев и услышал, как невдалеке на воду шлёпнулась утка, но ничего разглядеть не смог и вышел к мешку со щуккой. Там, накрывшись брезентом, сидел Ванька и, как индеец, глубокомысленно дымил махоркой. Перед ним, белея брюшком, лежал кряквый селезень.

Послышался хруст травы и шорох камыша. Ванька поспешно загасил свой «бычок». К нам, тяжело дыша, подошёл Юлиус Давыдович, снял с плеч полный, мягко просевший мешок и внимательно осмотрелся. «И это всё?» — спросил он насмешливо, тронув сапогом селезня перед сыном. Я с трудом вывернул из мешка щуку. «Ёшкин свет! — воскликнул он. — Тот орали как сумасшедшие, аж чайки с гнёзд винтом взвились. Вот это рыба так рыба! Я такую в жизни не видал. Как она вас не утопила и снасть не порвала?» Мы ему рассказали, как она попалась. «Ну, прячьте ружьё, подниматься будем, а то мать уже давно фонарём сигналил...».

Разбудила меня какая-то букашка, стремившаяся во что бы то ни стало залезть мне в нос. Я, не открывая глаз, смахивал её с лица, но настырное насекомое снова и снова пыталось устроиться в приглянувшейся норке. Ну, сейчас я тебя... А-а-а, вот оно что... — это Фридка, еле сдерживая хихиканье, рядышком сопит... Ну, держись, вредная «засекомая»! Выждал и... прихлопнул

шершавую ладошку. «Попалась, которая кусалась!» Отобрал у неё травинку и начал щекотать. Она брыкалась и тоненько визжала, просовывая острый язычок сквозь розовые дёсны, в которых не доставало двух верхних зубов.

Иван, завернув голову в одеяло, долго терпел нашу возню, но, когда сестрёнка угодила ему крепенькой пяткой по искусанному комарами заду, он, глухо зарычав, сдёрнул с головы одеяло и начал валять и мять нас, как хотел. Еле вырвались из его широченных лап.

Нам крикнули, чтобы перестали «хулиганничать» и шли к столу, а то ничего не достанется. Прихватив вырывающуюся малышку, побежали к озерцу. Брат погрузил её по горло в прохладную воду и, не обращая внимания на визг, сунул под мышку и протёр, как статуэтку, отжатой тряпкой. Даже вниз головой подержал для удобства процедуры. Насухо вытер маминым фартуком и, шлёпнув по попе, отправил к родителям. Понеслась через поляну, забавно откидывая далеко в стороны белые пятки.

Не хотелось покидать прохладную целебную водичку, которая уняла надоевшее жжение от комариных укусов. Так увлеклись водной процедурой, что даже затеяли, было, в догоняшки нырять, но строгий зов потребовал немедленно идти завтракать.

С каждым шагом тугой плотный дух жареной дичи отодвигал всё дальше вглубь леса струящиеся запахи трав и цветов, а на опушке он, этот дух, стоял, казалось, до небес и кружил голову сильнее, чем разные там гортензии и настурции. «Пожрё-ём! — втянул в себя мой кореш целый кубометр этой «амбры» и, с сожалением расставаясь с проглоченным ароматом, выдохнул: Ёш-шкин свет!».

До сих пор помню все подробности этого очень позднего завтрака в тени навеса из молодого камыша на пёстрой опушке пронизанной солнцем рощи. В середине сколоченной из сосновых плах столешницы стоял казан, накрытый сковородой. Рядом — эмалированный китайский таз с целиком зажаренными криквами. Фрида Абрамовна из подола своего фартука раздавала нам по горячей румяной лепёшке, спеченной в золе по-казахски. Сняла с котла сковороду и наполнила наши миски горячим, с пылу с жару, бульоном. «Братцы вы мои! Люди добрые! Вы такого бульона, забожусь, сроду не едали», — как утверждал рыжий песечник из-под Диканьки.

Позже, когда пришла относительно благополучная жизнь, я стал заядлым охотником. Иногда удачливым. Из добытой дичи сам пытался повторить запах и вкус того незабываемого пиршества на покосе. Получалось очень вкусно и иногда пахло чуть похоже, но так, как тогда — никогда. Голодное детство и скудный недостаток хлеба насущного в юности, где яичница с салом и сладкий суп из сухофруктов с хворостом были редкой праздничной едой, запечатали в памяти бульон тёти Фриды как вершину ку-

динарного искусства, взобраться на которую ни мне, ни даже хитрому гурману Биолеку не суждено, хотя специй у него со всего экватора не счесть. Но где, *bitte schön*, он в тесной цивилизации, в нескольких шагах от плиты пучок чабреца, жменьку золотых кнопочек пижмы, веточку чёрной смородины и листик душистой мяты, дикого чеснока и зверобоя добудет? А Фридка, покрутившись по поляне, через несколько минут выложила всё это из своего передничка маме на стол. И луковица в хозяйстве тоже нашлась, да в придачу три листика лавровых с моря Чёрного, Понта Эвксинского! Слабо, Herr Biolek, с вашими засушенными размолотыми порошками из Индии, с Целебеса или Маврикия такого, ни с чем не сравнимого, аромата достигть!

Выхлебали это степное благоухание, у которого вкус дичины был так силен и плотен ещё и потому, что наша искусница добавила в это сказочное варево мелко нарубленные и поджаренные с луком потроха. С добавкой бы тоже справились, но для каждого, даже для Фридки-егозы, ещё и кряковый селезень зажарен! Но та зевать начала, пучить слипающиеся глаза и, наконец, уронила голову на кулачок с зажатой недотереблённой утиной ножкой. Мать унесла её на ворох пушистого сена под арбой и накрыла платком.

Мы с Иваном прибрали по увесистому селезню, прихватив и фридкиного одноногого, приберегая лакомые кусочки напоследок. Сначала схрумкали крылышки, потом гузку с боками, и уж затем ножки и по три ломтика тёмной душистой грудинки с хрустящей жирной кожицей. «Житуха! — погладил живот осоловевший Ваня, воспитанно рыгнул, прикрыв губу жирными пальцами, и добавил: «Ёшкин свет». Я, чтобы не сплутнуть нирвану, отправился в тень молча.

Часа полтора поспали в тени и принялись за работу. Договорились, что охотиться будем по очереди — один вечером, другой утром, чтобы не мешать друг другу. Вечером кинули пятак — выпало Ивану. Спустились к протоке. Выпугали из сетипятёрстки десятка два толстых золотых карасей и с трепетом потащили невод, но ничего неожиданного не произошло. В три захода всё же выловили с ведро окуней, чебаков и щурят.

Иван ушёл с ружьём к засидке, а я, завязав мешок, потащил его за верёвку по скользкой траве к стану. Дядя Юлиус, увидев меня, спустился и помог дотащить рыбу.

Весело принялись потрошить добычу и, присыпая солью, укладывать в большой ушат. Живучие караси внезапно начинали биться и громко шлёпать хвостами по плахам стола. Маленькая пугалась, ойкала и ругалась: «Ёшкин свет!»

Внизу три раза рядом бухнули выстрелы — это Иван душу отводит, тешится. Зажгли фонарь над столом, вокруг которого начали роиться ночные серые бабочки и, опалив крылышки, трепыхались на столе. Я прибрал стол и унёс рыбы потроха по-

дальше от стана. Прикрыли рыбу рогозом и придавили гнётом. Попили чаю, и родители с дочкой ушли спать. Я потушил фонарь, разложил у спуска костерок и стал поджидать дружка. Возшедшая луна включила серебристые огоньки, многократно отразившись в ериках, озерах и бочагах каньона. Как в бочку бухала выпь, а в степи за лесом перепёлка без устали звала ко сну. Ну, куда это корефан запропастился? Последний седьмой выстрел прогремел около часа тому назад — я считал. Наконец послышались шаги по высокой траве и шумное дыхание идущего в гору человека.

Проснувшись чуть свет, я рассовал по карманам патроны, которые ночью зарядил Иван, отослав меня поспать хоть малость перед первой моей утренней засидкой. Тёмная линия моих следов разорвала матовую фольгу росной травы до самого озера. Хорошо — догадался пиджак надеть — сырой ветерок плотно жмёт и взбивает небольшими, но быстрыми волнами серую пену у кромки камышей.

Раскутал ружьё и встал в затишек за стену густого высокого камыша. Ещё тёмные низкие тучки быстро летят на запад, освобождая небо встающему солнцу. Серый восток всё сильнее и сильнее набухает ярко-розовым. Стайки уток носятся над озером. Из наставлений дяди Юлиуса знаю, что на рассвете утки высоко и как попаало летают, а после восхода перестают мотаться и, покормившись на полях, спешат отдохнуть (особенно в ветреную погоду) на тихой воде под защитой камышей.

Солнце приплюснутым красным ломтём оторвалось от горизонта и, округляясь, медленно поплыло вверх. Вода заискрилась, мир стал ярче, подвижнее, звонче.

Вот они! От кромки противоположного берега отделилась колеблющаяся строчка летящих прямо на меня птиц. Непривычно тёмные, они летят как-то необычно — шеренгой, и «походка» у них какая-то не очень утиная. Пульс газует вовсю! Разбираться некогда — крайняя слева идёт прямо на меня метрах в трёх над водой. Взял на мушку и спустил курок и в тот же миг углядел над куриным клювом птицы белую бляху. Лысуха! Ванька ржать будет — на вонючую утку-рыбалку заряд утробил! Всё, беру себя в руки. И вот уже другая стайка, клубясь, несётся ко мне. Ясно вижу трех крякашей, вокруг которых вьётся пара чирков. Только бы не свернули! Со психу пальнул в кучу, нарушив правило: целить в птицу, а не палить в стаю. Но один чирок, как на стену наткнулся — на миг замер на месте и камушком упал передо мной. Кряковый попытался дотянуть до камышей, но крылья внезапно подломились, и он упал на воду. Я, не спуская с него глаз, перезарядил и переждал пару минут. А то — учили меня — выпустишь его из виду, а он очухается от шока и поминай как звали! Нет, вроде крепко улёгся.

Солнце, растратив розовую краску на улетевшие к западу облака, стало белым и горячим. Упругий ветерок унялся, перестал

трепать камыши и рябить воду. Поспешным выстрелом выбил из станицы ещё одну утку, но упала далеко и начала уходить в заводь за камышами. Бросился в воду и сгоряча, без толку истратил ещё два заряда по слишком далеко плывущей птице. Ушла. Пока гонялся за подранком, лёт заметно пошёл на убыль. Багда заполошная! Только время и патроны зря потерял. Молю, не зная кого, чтобы хоть разок ещё налетели в меру. Умолил — летят! Прямо на меня! Нет, сворачивают!? Высунулся из-за камыша, а он — вот он! Увидел меня и турманом вверх! Выстрелил навскидку и снял-таки красавца! Упал за мной на луг. Я, заряжая на ходу последний патрон, выбрался из камышей. Лежит на бугорке большой красавец-селезень. Ни единое пёрышко не помято и ни капли крови на роскошном оперении птицы. Под багряной грудью перламутровый узор хлупи светится, зелёный бархат головы заткан золотыми и лиловыми блёстками, галстук и манжеты первого снега белее. На хвосте лихо две косицы чёрного пера закручены. Силён!

Наша жизнь на стане вошла в колею и шла своим чередом. Поднявшись чуть свет, работали, рыбачили и охотились. Когда нас звали обедать, мы, быстро вскупнувшись у родника, объедались вкуснейшими борщами с утятинной или ухой и жареной рыбой и, малость подремав в тенёчке, снова за работу до позднего вечера.

Балаган, вместо плохо держащегося на жердях и быстро преющего сена, ровно покрыли снопами непромокаемого долговечного камыша. Фронтоны лозой заплели и глиной помазали. В один застеклённую раму вмazали, а на низкий проём другого дверь из плах навесили. Картинка! Печь поставить — и зимовать можно.

В четверг вечером трехтонка из МТС приехала. Косилку и грабли конные сгрузили, точило, бочку с солидолом, вилы и литовки, пару фляг, котёл, сундук с посудой и прочие необходимости.

После ужина мы с Иваном спустились к протоке. Вынули карасей из сети и невод до засидки протащили. Сегодня Ванькина очередь вечернюю зарю стоять, и я, перекинув верёвку через плечо, потащил мешок с рыбой вверх. Юлиус Давидович с шофёром спустились мне навстречу и понесли рыбу под навес. Перебрали улов и отсыпали шофёру ведро крупных карасей, две большие щуки и с полведра мелочи на уху. Молчаливый водитель, радуясь щедрому дару, поговорил с нами о погоде, о видах на урожай и, покулив на посошок, уехал домой.

Только солнце зашло, как появился Иван и с показной небрежностью кинул на стол связку уток. «П-пять из семи! Бабах — и п-привет, ёшкин свет!» Фрида Абрамовна поставила нам миску жареных карасей и принялась щипать трофеи сына. Дядя Юлиус вынёс к свету связку двухметровых, тонких, прямых берёзок: «Ошкуро, чтобы черенки на вилы и косовица в запасе были».

И, помолчав, добавил: «Завтра после обеда конюх лошадей пригонит и повариху с продуктами привезёт. Успеем кое-какие мелочи доделать, всё к стану снести и прибрать, а вечером по холодку тронемся и завтра к обеду дома будем». Мы горячо начали его уговаривать ещё и завтра вечером поохотиться и невод вдоль всей протоки протянуть. Старый, прикидывая, прищурился поверх наших голов... Неожиданно нас поддержала Фрида Абрамовна: «Ты, отец, и сам-то спустишься с ребятами, постреляй напоследок. А они ещё рыбы натаскают. Соседке пару уток и рыбы сколь-то дать надо — за домом смотрит да корову доит. В осоке свежими довезём». — «И то, мать, к коровам поспеем и ладно. Я, пожалуй, и утром с ними спущусь, постреляю. А то всего две зори и отсидел только». Тётушка хитро улыбнулась крупными влажными губами и тайно нам подмигнула. Ванька очень похоже улыбнулся матери в ответ и поднял большой палец: «На ять!» Дядя Юлиус сделал вид, что не заметил наше торжество, и строго сказал: «Киньте быкам сена и спать!». Сгрёб и сложил у печки стружки и задул фонарь.

Нас разбудил дождь (старик и малышка спали в шалаше), и мы, сграбастав постель, укрылись под навесом. Дождь нас только чуточку задел, а над долиной творилось что-то космическое, жутко-прекрасное, как на картинке «Sündflut» в бабушкиной библии. Пятна лунного света, прорываясь через просветы мчащихся туч, стремительно скользили по склону и озеру. Непроглядная темнота, накрывшая беспредельную степь до самого края, при беспрепятственных всполохах зарниц превращалась в клубящуюся круговерть высоченных багровых туч, под которыми косо висели громадные полотнища проливного ливня. Вспышки молний в полнеба дробились и дрожали в многочисленных водоёмах каньона. Всё хлопотало, сверкало и несло, казалось, во все стороны сразу. С другого конца земли, неведомо из какой дали и тьмы крошечной, из хаоса вселенского накатывались волны непрерывного, утробного гула: «Гу-у-у-у, гу-у-у-у, гугу-у-у!»

Помалу буйство природы начало затихать, отодвигаясь всё дальше за горизонт. Луна ушла за лес, уступив место близкому уже солнцу. Заухала ночная птица, внизу хором заурчали лягушки.

Уснули мы под навесом на столе. На восходе завозилась у печки тётя Фрида, и Иван больно толкнул меня в бок: «П-проспали, ёшкин свет!». Вскочили и, схватив ружьё, понеслись к протоке. Стрелять Ванькина очередь, а мне рыбу из сети вынимать.

Ни ветерка. От высоких, неподвижных кучевых облаков струится на землю хрусткий, как первая пороша, прохладный запах. Зеркальное озеро всё в себя вниз головой перекувырнуло. Скинул одежду и вошёл в воду. Ух! Кишочки кверху в грудь погнулись. Набрал побольше воздуха и разом присел. Душа возли-

ковала, а тело с испугу воздух выдохнуло: «Вуф!». Повесил лямку мешка на шею и подошёл к сети. На берестяном поплавке, стывшая ещё, стрекоза сидит. Взял за крылышки и полюбовался громадными радужными глазами, янтарными переливами члеников и золотыми блёстками в слюде крылышек. Поднёс к торчащей из воды былинке. Репьём вцепилась — не согрелась ещё, лететь не может.

Намучившись, выпутал из ячей бьющихся карасей. Парочку упустил-таки! Одеваться не буду — у Ивана только один патрон остался, успеем ещё раза два невод затянуть. Поднялись к стану с богатой добычей: четыре утки, ведра полтора карасей, пара шук и частичка разного с ведро.

Начали собираться домой. До половины загрузили арбу тонкими, ошкурёнными ивовыми и берёзовыми жердочками и снопами молодых побегов лозы. Черенками для лопат, мётлами и корзинами на целый год МТС обеспечили. В передок подводы щедро душистого сена настелили, а сзади свежескошенного рогоза и молодого камыша набросали — в этом ворохе и рыбу, и добытых уток свежими домой довезём. Ушат с мочёными карасями надёжно укрепили и укрыли. Мешки с сушёной и вяленой рыбой тоже надёжно пристроили.

У начала спуска штабелем уложили волокуши из молодых берёзок и прижали их бастрыками из очищенных от коры осин. Наколотые дрова вдоль стенки навеса сложили, собрали и утащили прочь от жилья накопившийся мусор. Унесли за кусты и поставили над ямкой с перекладиной сплетённый из лозы гальян. Кажись, всё. Сейчас как следует искупаемся, пополдничаем и в последний раз спустимся к озеру и протоке.

За подником услышали стук колёс, фырканье лошадей, и из-за леса выехала запряженная парой телега с пристяжными по бокам. За телегой на поводу ещё три лошади идут и два жеребёнка устало плетутся. Помогли распрячь и напоить коней, спутили и отпустили пастись. Жеребята, насосавшись материнского молока, развалились в тени. Повариха и конюх умылись у бочажка, сели к щедрому столу хозяйки.

Юлиус Давыдович, глянув на солнце, сказал: «Пора!». До начала большого перелёта уток он потаскал с нами невод. Выбирая из мотни улов, ласково «ёшкинсветил» краснопёрых, полосатых, колючих окуней. Сняли сеть и, вынув карасей, разостлали рядом с неводом. Оделись, передохнули маель. Я остался с берданкой у протоки, а Иван с отцом, прихватив скатки высохших снастей, рыбу и ящик с мушкетом, подались на другой конец озера.

До заката ещё часа два. Тихо. Комары зудят и норовят сесть прямо на зрачок. А вон и утки с поля возвращаются. Сердце начало набирать обороты. Грохот пищали прокатился над озером. Ага, там уже сезон начался. Сча-ас!

Утка пошла так дружно, что через полчаса сунул в карман последнюю гильзу и, взяв добычу, пошёл туда, где к небу время от времени поднимался клуб дыма и бухал выстрел.

Засидку свою старик обустроил основательно: на четыре воткнутые в землю рогульки уложил палки и застелил их мешком с сеном — сиди себе, уток поджидаячи. Ружьё, готовое к выстрелу, удобно на сошки уложено. В пенале желобок отгорожен, в котором аккуратным рядком стоят газетные кулёчки с отмеренными зарядами пороха и дробин. На плёсе, метрах в тридцати от засидки, покачиваются штук пять чучел, искусно вырезанных и раскрашенных под серых уток, к которым уже три жениха подсели, безуспешно пытаясь потоптать прекрасные, но неприступные манекены. Иван, стоя коленями на пучке камыша, вытянув шею, неотрывно смотрел на плёс, поминутно облизывая губы. Старик заметил приближающихся уток и закричал манком. Как по команде четыре селезня спланировали и шлёпнулись вблизи чучел. Три жениха-остолопа с шумом кинулись отгонять соперников. Отец быстро уступил место сыну, шепнув: «Сойдутся — бей!». Ванька выждал и выстрелил. Я ослеп и оглох от неожиданности. Когда дым рассеялся, Иван рассекал воду уже на полпути к бющимся на плёсе селезням. Даже штаны не снял, увалень. Вернувшись с четырьмя красавцами, гордо их потряс перед нами и уложил в мешок, где лежало уже шесть уток.

Юлиус Давыдович кивнул на сидение и, подав мне ружьё, сказал: «Садись, заряжай». Под его присмотром я, слегка волнуясь, зарядил эту архаику: отщипнул кончик кулёчка и впустил в зевастый ствол струйку пороха, которую запыжевал тем же кульком. Таким же манером отправил в ствол увесистую порцию дроби, крепко прижав шомполом пыж из лоскута газеты, в которой она была отмерена. Затем осторожно надел на пистон капсулю и уложил бомбарду на сошки. «Не торопись, пусть сойдутся поближе», — сказал мой наставник и ушёл за камыш. С понятием дед — не стоит над душой, не мешает.

Ванька — не помеха, пусть сопит за спиной, но как только завидел уток, начал дуть в манок так рьяно, что утки в сторону свернули. «Заглохни, заполошный! Чего ты на всё болото полундру развёл? Утки со страху летать перестали». Он виновато протянул мне свистульку.

Вдоль камышей низко над водой несётся стайка уток. По стремительному полёту и силному побрякиванию узнал красногловых связей. Я вежливо поскрипел манком в ответ. Заметив чучела, заложили вираж и, сделав большую дугу, шумно сели у входа в заводь. Далековато. Тихонечко ещё поманил и затаился. Чучела-то под криковых разрисованы, вот они и хладнокровничают. Но, щелоча по пути ряску и теребя пёрышки под крыльями, начали медленно приближаться. Горячий выдох-стон обдал мне ухо: «Давай!». Да, пожалуй, в самый раз! Прижал приклад к

плечу и выстрелил в табунок. Когда дым рассеялся, увидел дымящиеся клочья пыжей, разлетевшиеся по всей заводи, и Ивана, бродящего по пояс в воде и подбирающего подбитых уток.

Ну, всё, трогаем! Завтра к вечеру будем дома. Колёса смазаны, всё уложено и укрыто. Голова громадной щуки, которую Иван засушил, расшиперив ей крокодиалью пасть берёзовым колышком, лежит в коробе с посудой. Вещдок что надо! А то, как ни божись, всё равно лыбиться будут, тая в глазах ехидство: мол, знаем мы эти ваши рыбацкие байки. А это что? То-то.

Когда вывернули из-за леса на дорогу, поздние сумерки совсем потушили светлую полоску неба на западе, но луна раздвинула мглу над степью, и мы уснули под её серебристо-голубым мерцанием.

На рассвете я проснулся. Прохладно и тихо. Вдоль лесопосадки, по прямым пыльным колеям узкой полевой дороги, воз идёт без толчков и стука. Только иногда скрипнет ярмо или вздохнёт бык. Справа до горизонта поля пшеницы с плоскими силуэтами берёзовых лесков и длинными просевшими скирдами прошлогодней соломы. Пахнет росой, пылью и мокрыми акациями. Далеко в полях перепёлка позвала невпопад: «Спать пора», но сконфузилась и умолкла до вечера. Свистя крыльями, к дальнему болоту пронеслась стайка чирков. Все спят, только фигура дяди Юлиуса бдит в вертикальном положении.

В посадке свистнула птаха. В ответ ни гу-гу. Свистнула погромче раза три подряд. Помогло — отозвались ближайшие соседи и, вдруг, как невидимый дирижёр палочкой взмахнул, разом со всех сторон грянули щебет, чирикание, трели всех пернатых обитателей степи, и поплыла в небо торжественная увертюра нарождающегося дня! Мажара задела низкую ветку, и на нас сыпанули холодные капли росы. Большая птица с треском сорвалась с дерева и, оглушительно стрекоча, унеслась вдоль посадки. Все завозились и сели, потягиваясь и протирая глаза. Солнце оторвалось от горизонта, и всё стало объёмным, цветным и радостным.

Полуденную жару переждали в знакомой роще, освежившись в родниковом озерке, и поехали напрямик через целинную степь по еле различимой заброшенной дороге. От возни непогоды Фридки избавились, усадив её впереди и сунув ей в руки прут: «Погоняй!». Отвязалась. Теперь без помех можно смотреть на степь, молчать и думать. Волы с дороги не свернут — возница начеку. Проплешины солончаков, дымчато-зелёные полосы пырея и польны разнообразят монотонное волнение белесой ковыльной степи. На частых сурчинах торчат столбики сусликов. Косматый степной орёл тербит добычу, усевшись на межевой столбик. Далеко, в зелёной низине, на берегу заросшего камышом озера, бугрятся плоские мазанки казахов и пасётся скот.

Вскоре степь начала становиться цветней, набухая зелено-голубой краской. Это началась другая степь — вспаханная, за-

сеянная, с лесополосами, рощами и сёлами. Небо всё больше насыщалось вечерней синевой. Знакомые места пошли, столбы телеграфные рядом с наезженной дорогой потянулись. Скоро дома будем.

Когда мы въехали в село, навстречу нам с другого конца широкой прямой улицы втекало оранжевое от закатного солнца облако пыли. Безногие силуэты коров плыли по золотым клубам, на которых трепетали причудливые фиолетово-рогатые тени. У своего двора бурёнки выныривали из клубящейся пыли и, тяжело вздохнув, заносили набухшее вымя в родные калитки.

Пыль от коров давно осела, и наступили долгие летние сумерки. Я тщательно умылся в кабинке самодельного душа, оделся в чистое и пошёл к саманному домику на другом конце улицы, где на завалинке любимая заждалась...

В летней кухне, тренькая звонком, жужжит сепаратор под неумолчную грустную и уютную песенку сверчка. Когда люди, проснувшись на восходе, вновь примутся за свою шумную суетоку, прервёт он свою томную песенку и будет дремать, шевеля усиками, в своей уютной щелке за плинтусом до тех пор, пока они снова не угомонятся.

#

МОЙ ТЁЗКА КУРТ РЯЗАНЦЕВ

Спрыгнув с попутки на колдобистый просёлок, я пошагал по выгоревшей степи к жиденькой рощице, за которой виднелись неподвижная стрела крана и леса вокруг недостроенных объектов будущего танкодрома. Кругом ни души: тишина и покой. В лужице, у ёмкости с водой, плещутся две трясогузки. Бригада военных строителей валяется в тенёчке за бытовкой, дожидаясь панелевозов с перекрытиями. Дремали на мягкой травке, курили. Веди тихие, вялые разговоры. Я тоже примостился в холодке, привалившись спиной к прохладной стенке вагончика.

Оставив на солнцепёке сапоги и портянки, рядом со мной уселся голый по пояс белообрый крепыш, с наслаждением уткнув распаренные ступни в прохладной траве. Спровоцировал цигарку, задымил. Это Саня-крановщик: «Чо к нам?» — «Да вот, лозунг надо повесить», — кивнул я на рулон кумача. «Перекур кончится — хлопцы растянут, а пока покурим в холодке. Панели только через час-полтора подбросят — звонили с бетонного».

Жара сморила всех в дремотное полузабытьё. Моя голова тоже стала пустеть, и веки начали слипаться. Совсем отключиться помешала Сашкина возня — новую самокрутку сворачивал. «Чего это ты шабишь без перекура? — спросил я. — Подремай, работа-то опять допоздна затянется». «Я от дневного сна, как чумовой потом хожу. Котелок не варит, и работа из рук валится. Перебьюсь. Да и поговорить с тобой мне уже дав-

но охота». — «Ну, давай поговорим». — «Это... как его... в общем, у меня братишка... с сорок второго». «У меня тоже, только с сорок первого». — «Ну, что ты, ей— богу, сказать не даёшь! — с досадой глянул он на меня. — Его Курт зовут, как тебя».

Интересное начало! Даже среди своих соплеменников я до сих пор не встречал, и даже слышать не приходилось, чтобы где-то в окрестной Сибири и Казахстане мой тёзка обитал. А тут вдруг русского, да ещё в 42-м году, назвали этим именем. Мне моё имя нравится — короткое, строгое, не расхожее. Но очень рано заметил, что, услышав моё имя, у многих вздрагивали брови, и в глазах мелькала некая догадка. Когда я стал взрослым, то научился ответным взглядом подтверждать: «Вы не ошиблись — я немец», — предостерегал я своего визави от возможных пошлых вопросов. А с именем моим дело было так.

Немецкие колонисты привезли с собой из Германии обычай называть своих детей исконными германскими и почтенными христианскими именами дедушек-бабушек, отцов-матерей и, по всему виду, менять ничего не собирались. Но времена-то изменились! Кругом «Юнг штурм», «Рот фронт!», полюс, стратостаты, батискафы, перелёты! Мировая революция не сегодня-завтра грянет! Разве могли юная комсомолка-активистка, учительница Лидия Михель и недавний brave командир орудия Август Гейн, напичканный лихим «Даёшь!» пламенных армейских комиссаров, назвать своего сына Гансом, Фридрихом, Готлибом или там Ульрихом? Никогда! А как?

Выручила популярная книжка о юном гамбургском революционере, который был связным у подпольщиков, распространял листовки, ловко дурил сыщиков и полицейских и вместе с Тельманом сражался на баррикадах. Конечно же, он геройски погиб, но не выдал явку гестаповцам. Звали этого бесстрашного подростка Курт. И вот сослуживец хочет рассказать мне нечто о моём реально существующем русском тёзке! Поговорим...

Речушка Борянка, подбирая по пути струйки родничков, течёт то по чистому песчаному руслу, то разливаясь по обширным топям и, выпугавшись из болот в подходящем месте, петляет дальше и через сорок вёрст впадает в приток большой реки, текущей на юг. На лодке до этого притока добраться и думать нечего — русло Борянки часто теряется в непролазных плавнях, из которых даже бывалому лесовику мудрено выбраться. Только с вьючными лошадьми в обход топям или зимой на лыжах отваживались таёжники на долгую и трудную дорогу. В среднем её течении широкий взлобок отодвинул лес от берега, дав место пяти дворам с огородами, поскотине и двум чёрным банькам у сруба с родником. За банями вышка из серых лесин и водяное колесо у запруженного родника. Это кордон лесников Борки.

Середина лета. Горячий, напитанный густым сосновым духом воздух недвижим. Солнце в зените и всё живое затаилось в тени. Только куры стонут, навевая сонную одурь, да время от времени над прибрежным кустом мелькает белое удилище. Вдруг светлоголовый рыбачок поднялся и, вытянув шею, стал смотреть на едва заметную дорогу, выходящую с той стороны из леса к хилому мостику. «Та сторона» — это начинающийся сразу за речушкой тёмный вековой урман. Дремучий, непроходимый, с редкими глухими деревушками и кордонами лесников, он простирался на сотни вёрст, раскинувшись между Брянском и Смоленском до Белорусского полевья. Впрочем, и на «этой стороне» такая же глухомань, но не столь протяжённая.

Послышался натужный вой мотора и грохот разболтанного кузова. Рыбачок побегал к мостику. Из-под лесного свода выползла полуторка с выгоревшей добела брезентовой кабиной и уткнулась мятым капотом в мосток. Дремавшие под ним утки с шлепунцами шумно прыснули во все стороны. Из кабины вылез военный в синих галифе, обхлопал себя фуражкой, разгладил сбившуюся под ремнём с портупей гимнастёрку, поправил кобуру, полевую сумку и ступил на ветхие мостки. Шофёр, молодой, под ноль стриженный, красноармеец проворно сдёрнул с себя гимнастёрку вместе с нательной рубахой и яростно начал бросать себе в лицо и на спину пригоршни воды. Освежившись, быстро оделся и встал позади командира, закинув на плечо ремень трёхлинейки.

Стайка разномастных собак и ребятня понеслись к мостику. Встревоженные шумом люди вышли из дворов, глядели на военных, тая тревогу. «Рябой, назад!» — громко крикнул бородатый, кражистый мужик. Чёрно-пегий выжлец круто свернул вправо и остановился. Остальные собаки мгновенно повторили маневр вожака и, высунув языки, повалились на траву. «Не бойсь, эти не с НКВД, — тихо сказал бородатый окружавшим его людям. — Лейтенант пехотный, младший. Уже в годах, а на петлицах один кубарь всего. Должно учения у запасных и опять заблудились, как в запрошлом году». Военные в окружении детей пошли к домам. Их усадили в тени на завалинку, а сами расположились, где кому впору пришлось. Мужики задымили самокрутками, пережидая пока приезжие попьют молока, которое им вынесла старушка. С расспросами не совались — нужно будет, служивые сами скажут, какая нужда их в эти дебри занесла. А ещё лучше было бы, чтобы попили они молока и тронулись восвоеси.

Измождённый лейтенант, медленно выцедив ковшик, передал его солдату и сказал: «Спасибо, мать. Давно такого густого да душистого молока не пил, а холодное, аж зубы ломит». «Да уж известно, что за молоко в городе — после него и посуду полоскать не надо, — откликнулся бородатый с ухмылкой. — В прошлое лето побывал я в городе. Сваты грозились без меня

внука окрестить, ежели к Троице не приеду. Делать нечего, навьючил Гнедка, свистнул Рябого и на пятый день до Сплавнухи добрался. Коня с собакой у тамошнего лесничего пристроил и с плотогонами в аккурат к Троице припожаловал и внука окрестили за милую душу». И красочно стал описывать, каких городских странностей и несуряниц насмотрелся за те два дня, пока парохода на Сплавнуху дожидался. Слушатели, имитируя интерес к неоднократно слышанной бивальщине, хмыкали: «Ну, народ... Это ж надо...» — пытаясь этой наивной уловкой отсрочить (чуяли, что недобрую) весть, которую таят военные.

Лейтенант это понимал и никак не мог набраться духу, чтобы сообщить им страшную весть и порушить мирную, незатейливую жизнь этих людей, но: «Лешаки дремучие! Война шестой день бушует, а они в тенёчке прохлаждаются, рыбку ловят, молочко с погребушки пьют, байки травят!» — распаял себя командир, уже четвёртый день собирающий по захоластьям призывников и свозя их на ближайший сборный пункт. Посмотрев на солнце, глянул на часы, уложил на колени сумку, достал бумаги. Старуха углядела беспокойство и душевную маяту военного: «Ты, чо это, Терентий, ровно всамделешный косач на току — окромя себя никого не слышишь. Дай людям слово сказать. Не в гости же они до нас пожаловали, а дело, видать, неотложное приспичило». — «Так слушают же. Я только про городское молоко сказать хотел, — начал оправдываться Терентий, но увидев вставшего с бумагами лейтенанта виновато сказал: — Прощения просим». От начальника, да ещё с бумагами, хорошего ждать не приходится. «Пронеси, Господи! Спаси и помилуй, Царица небесная!» — закрестилась старуха мелкими стежками.

Запоздала с молитвой старая Шевчиха — беспощадная война уже шла и требовала её сына, лесника Терентия Шевчука, старшего внука Павла и ещё троих военнообязанных по списку, быть не позже пяти часов завтрашнего утра на сборном пункте в лесхозе «Угол». А это значит, что на сборы осталось от силы два часа.

Ровно через два часа пятеро мобилизованных, закинув вещмешки с наскоро испечёнными пресными коржами, брусками сала, сменой белья и нарубленного впрок табака, вспрыгнули на кузов тронувшейся полуторки и, держась друг за друга, махали стоящим у мостков родным, пока машина не нырнула под покров леса. Оставшиеся тихо разошлись, и бесцельно бродили по дворам пытаясь постичь меру происшедшего.

Командир заверил женщин, что солдатские письма они будут получать обязательно: «Полевая почта — подразделение строгое и техника у них серьёзная. Доставят по назначению. Ждите». Люди ждали, ждали покорно, изводясь мучительным неведением. На исходе второй недели стало ночами погромы-

хивать. И не так людей этот гул испугал, как-то, что он с востока шёл! Война-то на западе должна идти! Дня через три с востока, дрожа воздухом, опять пополз по земле тревожный гул. Над чёрной стеной леса багровело в той стороне ночное небо. Женщины вслушивались, вздыхали, утирали глаза, гася кровавые отблески в набегавших слезах.

«Всё! Боле ждать немоготу! Завтра в лесхоз пойду, а то до смерти изведусь. Собак и ружьё с собой возьму. Не пропаду», — сказала бездетная Анюта, жена объездчика Кощева Ивана, молодуха бедовая, исходившая с мужем окрестные леса на сто вёрст вокруг. «Иди. Кроме тебя некому. У Веры грудничок на руках, а у нас и хворости, и по лавкам мал-мала. За хозяйством приглядим». На рассвете провели бабы Анну за Борянку и стали ждать, гоня тревогу и тая надежду.

А вокруг Борков, как и многие годы до этого, всё шло своим чередом. Днём от жары бор истекал смолой, а ночами тихо блаженствовал, стоя по пояс в прохладном тумане. Часто раскалённый небосвод, грозно рокоча, остужал себя быстрым шумным ливнем из низкой, тёмной тучи. И снова парило, и снова стонали куры во дворах, плескались утки в речушке и паслись телята на поскотине. И люди, как и прежде, день-дневской в нескончаемой работе, но без прежнего гомона и весёлой сутолоки.

Осунулись и почернели от горьких неотвязных дум. А Анна как в воду канула. И когда на рассвете вышедшая с подоином Шевчиха наткнулась на истощённого Рябого, который, тихо скуля, зализывал рану на репице, созвала жителей кордона и сказала: «Сегодня третья неделя пошла, как Анна в лесхоз ушла. Жива ли — Бог весть. Одно знаю — будь с ней всё ладно — давно бы дома была, потому как знает, какая тут у нас маята крошечная. Будем за неё Бога молить, а нам, как ни крути, надо к людям выйти и узнать, что в миру делается. Скажи ты, Силантий, что мы с тобой надумали».

Сухощавый старик, сидевший на колоде, выставив деревянную ногу, легко поднялся и одёрнул складки рубахи под широким ремнём. Новая пограничная фуражка с прямым козырьком молодила его бритое, ясноглазое лицо с аккуратными усами. «Конечно, жить в незнанке нам дальше не можно. Чтобы лихо нас враслох не накрыло, надо знать, какое оно из себя, чтобы нам либо препной заслониться, либо стороной его обойти. А беда, по всему видать, большая вокруг нас кружит. Ходок я, конечно, почти никакой, но лес на триста вёрст во все стороны мне знакомый, потому, как почитаю по двадцать с лишком годов и царю и советской власти лесничим в этих краях отслужил. Да и попучик надёжный со мной идёт — Иннокентий. С ним да с Гнедком мы сквозь любой бурелом и топь к

нужному месту доберёмся. Идти, конечно, сторожко надо будет и теми тропами, кои токо нам ведомы. По чёрнотропу успеть надо, чтобы по снегу не следить».

Да, только эти двое справятся с таким, непосильным для остальных, делом. Без спешки основательно снарядились, и на второй день ранним утром Кеша Мазур повёл Гнедка с Силантием Крыжовым и выюком на спине к мостку. Рябой, задрав голову, не моргая, смотрел им вслед. Когда по мосту гулко зацокали копыта, он нетерпеливо переступил лапами, дёрнул брылами, резво взял с места и исчез под сводами леса, где минуто назад скрылись разведчики.

В школу Кеша Мазур ходил всего три месяца. Когда его мать, уже полубезумная от разлуки с сыном, по первопутку наконец-то смогла добраться до лесхоза, то вместо бойкого, ясноглазого крепыща в неё намертво вцепился зашедшийся в судорожных рыданиях заморыш. Мать поняла: ещё одной разлуки они оба не переживут, и увезла сына из угарной и шумной бестолочи интерната в просевшем бараке. И зажили они ладно в суровой, но прекрасной и щедрой пуще!

Рос без сверстников-мальчишек у мужиков на подхвате и посылаках. Мужская работа и жизнь в таёжном лесу — дело строгое, и потому премудрости этой жизни усваивал сразу и накрепко. Его усердие ценили и не обижали снисходительными усмешками, если у него промашки случались, и рос он надёжным, основательным человеком. С десяти лет даже в зимнем лесу уже сутками пропадал, а в прошедшую — рысь добыл. Сейчас это рослый, крепкий парнишка с серьёзным лицом и длинными, до плеч, русыми волосами. (Чтобы уши и загривок от комаров укрыть.)

Его мать, Эрна Флуг, родилась в семье волинских немцев, вымершей от тифа в двадцать первом году. Её тощее, кряхтящее тельце мужики из похоронной команды вышелушили из кокона вшивого тряпья и передали в санитарный обоз. Выжила. Окончила в детдоме школу и получила специальность. Со своим будущим мужем наладчица Эрна познакомилась на работе. Она была единственной женщиной в бригаде наладчиков инженера Иннокентия Мазура. Рослый, немногословный мастер с виду был строг, но синие глаза под суровыми, сросшимися бровями были добры, а редкие улыбки — по-детски, во весь рот. Второй год вдовствовал. Пробовал создать новую семью, но как-то не сладилось.

Когда через два месяца мастер, робея, сделал Эрне предложение, она сказала: «Думала, не дождусь и придётся самой сказать, что ты мне по сердцу». Поженились. Счастливо прожили почти год, и Иннокентий, оберегая отяжелевшую жену от давки и толчков, отвёз на трамвае в роддом. Ночью родила сына, а когда её незадолго до обеда разбудили к обходу, услыша-

ла, что на заводе произошла авария и раскрыта банда вредителей. Вот наказание-то с этими вредителями! Когда уж их искоренят, буржуев недобитых? Мужа теперь не жди — без его бригады в этой беде заводу не обойтись. Не судьба ему сыночком полюбоваться в эти дни. Ничего, мы терпеливые — дождёмся. Да, сынок?

На вторую ночь пожилая няня, подкладывая мамашам в притемнённой палате сосунков, прошептала Эрне: «Под одеялом... Боже упаси... никому! Прочитай и уничтожь». Обмерла от страшного предчувствия. Когда сын, ни разу не передохнув, быстро насытился и, сверкнув из-под припухших век глазками, уснул, Эрна нащупала на нём пакетик и спрятала у себя на груди. Когда няня забирала грудничка, Эрна придержала её за полу хаата, но та сделала строгие глаза и прижала палец к губам. Под утро, запершись в туалете, Эрна развернула пакетик. Там лежало несколько сложенных червонцев и записка на бланке наряда. Быстрые строчки требовали: «В дом не возвращайся. У Ежковых дождись парохода на Сплавнуху. Оттуда доберись до лесхоза к Агате. Прощайте, мои любимые. Я счастливый — у меня сын!»

Неделю спустя старики Ежковы ранним, пасмурным утром втащили на корму старого буксира «Сом», который шёл с баржой вверх к Сплавнухе, чемодан и два узла с пожитками. Устроили багаж и Эрну с сыном в затишке под брезентом, укравшим штабель больших ящиков. Дородная старуха Ежкова поставила в закуток кошёлку со снедью и перекрестила мать с ребёнком: «Храни вас Матьер Божья!» Вислоусый дед Ежков погладил Эрну по плечу, тронул головку ребёнка чёрной, заскорузлой ручищей и отошёл, занавесив затуманившиеся глаза кустистыми, седыми бровями. Из люка высунулся чумазый человек: «Батя, время! Чал не забудь закинуть», — и пропал.

На пятые сутки беглянка высадилась в Сплавнухе, а через три дня с оказией добралась до лесхоза «Угол». Но оказалось, что золовка с мужем уже с осени на таёжном кордоне живут. Их бывшие соседи приютили её с сыном и не приставали с расспросами. До Борянки она добралась на газогенераторной полуторке, развозившей по зимью на дальние точки нужный людям на всю долгую, непролазную зиму припас: муку, керосин, охотничье снаряжение, соль, спички, сахар.

Своjak Петро Горелик и золовка Агата устроили её в давно уже нежилой, но ещё ладной избушке. Всем кордоном два дня подправляли, драили и чинили её снаружи и внутри. Расставили оставшуюся от прежних жильцов немудрящую мебель и посуду, самотканых половичков настелили, горшок с геранями на подоконник поставили. У запечка на жердочку кем-то принесённую зыбку подвесили и весёлым ситцем занавесили.

К обеду пошабалили. Выставили на стол ёмкую посудину с самогоном, по туеску усалившихся груздей и огурцов, крупно

нарезали тёмного, пахучего хлеба и прошлогоднего сала, луку накрошили. Первой, перекрестившись, подняла стопку мать старшего лесника Алевтина Шевчук: «Охрани, угодник Никола, человек и кров их от горя-злосчастия!» Побрызгала щепотью из стакана в сторону печи и строго велела домовому: «И ты, соседко, не строжись, дитя безвинное жалеючи».

Женщины, выпив по стаканчику, сгрудились в закутке вокруг зыбки и канули в бабы свои нескончаемые разговоры. Четверо мужиков, гудя про своё, не торопясь, опорожняли посудину. Под вечер засобирались домой со скотом на ночь управляться. На ларе оставили штуку рядна, кое-что из зимней одежды и две подушки.

«Ну, ещё раз с новосельем, хозяйка, — сказал задержавшийся у дверей старший лесничий сын Шевчихи чернобородый Терентий. — С нами не пропадёшь. Корову и мелкую живность на обзаведение дадим. С миром помалу приплодом разотчётся. Деляну под огород раскорчует. Грибов и ягод всяких разных — пропасть! И живую денежку на сборе живицы заработаешь. Трудов, ясное дело, не меряно, но и жизнь наша, не в пример городской, куда сытее! А воля наша всякого богатства дороже — ни тебе налогов, ни ГеПеУ. А дух сосновый любых капель и порошков целительнее. Бабы наши травами да корешками себя и детей лучше докторов лечат, а мужики первачом на берёзовой почке любой пострел после баньки под корень уничтожают. Не бойсь, живи, работай, сына расти. Хорошему человеку жизнь прямее дорогу торит. Может, и хозяина дождёшься. Говорят, случается».

Огонь в свежо побелённой печи набрал полную силу, и дымик, блестя мытым окошком, весело дымил заново сложенной трубой. Пахло мытым полом и берестой. Эрна устало присела у завозившегося в колыбели ребёнка, но тот покряхтел-покряхтел и вновь притих...

Очнулась от возни в сенях. Было уже темно. Сполохи догорающих дров пытали стену. Низко пригнувшись в дверях, вошёл Петро и поставил на пол тяжёлый мешок: «Картошку в подпол надо, в сенях помёрзнет. Сало и лагушок капусты я в кладовку поставил». Вошла Агата: «На, лампу зажги». Пётр потарахтел спичками, зажёт лампу, вдавил в коронку стекло, добавил фитиля и повесил на крюк над столом.

От света и суеты сходу и всерьёз заукал из своего ситцевого шалашика Кеша. Эрна перепеленала ребёнка и подседа к столу. Петро, подперев скулу кулаком, задумчиво тукал спичечным коробком по столу, пережидая, пока Эрна пристроит сына к груди. Агата умиленно глядела повлажневшими глазами на жадно теребящего сосок грудничка. Сладко томилось сердце — по всем приметам дошли до Бога и её молитвы, и родит она, наконец, своё долгожданное дитя.

Далеко за полночь проводила Эрна родню. Заглянула в колыбель, прикрутила лампу и присела на постель. Избавление от чего-то надоевшего почувствовала, вроде отпало от кожи что-то липучее и свербящее. Поверила, что среди этих людей в суровом, но щедром лесу, ей достанет сил пережить своё горе и вырастить сына...

В Борках — страх и неведение. Анна и Силантия с Кешей, как ушли, так с концами. А уж другая неделя на исходе. Тут и самого терпеливого чёрные мысли до костей усушат. Оставшиеся, так и эдак прикидывали, но выхода из этого своего положения не находили. Значит, надо дальше терпеть, пока чего не надумают или пока само собой дело прояснится.

А в природе всё, как спокон века: солнышко, дожди, звёздные ночи, росные зори, таинственный шум леса. Порядок и гармония. Вот только люди... Неймётся им и никакой закон природы им не резон. Временами гробят дотла всё, что сами же веками создавали. Но должно же их однажды вразумить, что, если не жить в ладу со здоровым смыслом, то — канты. Но ждать этого, должно, ещё ох, как долго...

Санька, семилетний беловолосый крепыш, таскал пескарей у запруды водяной мельницы. Желоб сдвинут, и вода с плеском падает мимо колеса в Борянку. В тени замшелого сруба, на умятой траве, растянулся здоровенный, одноухий котяра. Иногда его ухо начинает нервно дергаться, а из пушистых лап медленно-медленно выдвигались кривые когти и молниеносно сжимались в хищном хвате. Тихо, безлюдно. Высокое солнце припекает, но небо уже напитано осенней, прохладной синевой, а у леса начал иссыхать изумрудный сок и летний, смолистый дух. Лиственные заросли вдоль Борянки уже сплошь тронуты золотом и багрянцем.

Санькина мама, Ульяна Рязанцева, вместе с другими женщинами и детьми на дальней деляне, последнюю в этом году, живицу-самотёку собирают, а его, как самого старшего мужика, для пригляда за дворами и живностью на кордоне оставили, да ещё бабушка Шевчиха на своём дворе с правнуком-грудничком и двулетними близняшками Гореликами возится.

Пристроив удилице на рогульку, взобрался на сруб и оглядел оставленное под его надзор владение. Та-ак, телята и коровы на выгоне лежат, жвачку жуют; утки вдоль протоки ряску щелочат; гуси с выводками на лужайке сидят, пёрышки перебирают... Подожди, а где лошади с жеребёнком и овцы? А, вон они у вышки под деревьями табунятся. А собак не видать — за сборщиками живицы увязались.

Спрыгнул на землю и сел в холодок у сруба. Клёв кончился — рыба в прохладу под ракиты ушла. К застывшему поплаву

ку стрекоза чалится. Кот, сверкнув прищуренным глазом, зевнул во всю розовую пасть и вновь запрядал ухом и заиграл когтями. «И во сне мышкует. Два пескаря стрескал и всё ему, обжоре, мало», — укорил Саня своего любимца.

Да, совсем безлюдно и скучно стало на кордоне. Мужики на войне, тётя Аня Кощеева пропала, дед Силантий и Кеша Мазур тоже никак не вернуться. За Кешу ему особенно тревожно, как за брата. Оба без отцов растут (Рязанцева-старшего забрали в тридцать восьмом). Сверстников-мальчишек на кордоне нет, вот и прибились друг к другу, хотя разница в годах ровно наполовину. Не с девчонками же водиться! Нет, они ничего, девочки-то кордонские, бедовые и с понятием, но больше по своим женским делам. А им с Кешей своё мужское дело постигать надо. На пару оно и веселее и сподручнее, потому как не всякое дело с руки в одиночку.

Играючи перенимал Санька у друга всё, чему того мужики и мудрая природа обучили. Почти во всём друзья были уже на равных, но, ясное дело, силёнка и рост у Саньки ещё не те, но это дело наживное. И ружья у него пока нету. А Кеше дед Силантий три года назад двустволку свою тульскую подарил. Эрна этим очень обеспокоилась, но старик её успокоил: «Не бойсь, парень он гожий и беды не допустит. А без оружия ему в лесу ни толку, ни радости. Не с бабами же на кордоне парню сидеть, киснуть. Ему в полную силу жить надо, чтобы крепким и надёжным мужиком стать. Будь в надежде, моя порука верная».

...В бок что-то больно давит, голову невыносимо печёт, а шевельнуться, сил нет. И будто сверху непонятное месиво шумов: фырканье, стукотня, хлопки, гул, гогот. Напрягся, страхнул морок и очнулся. Тень уползла за сруб, и он лежал на припёке, навалившись боком на колоду. Шум не пропадал. Поднялся, потёр ноющий бок, огляделся. Кот на мельничном колесе, выгнув спину, таращился вдоль Борянки туда, откуда доносились загадочные, прерывистые звуки. Мимоходом выдернул из воды удочку со сналой рыбкой на крючке и шагнул за сруб...

На «той стороне», вдоль берега, треща, теснились мотоциклы и «Schwimmwagen», а из леса, натужно воя и нещадно дымя выхлопами, торкались два крытых полугусеничных тягача с прицепами. Гуси, заполошно гогоча, с подлётом неслись по выгону за избы, коровы и телята скачками неслись под покров леса у вышки, где, задрав головы и насторожив уши, жались лошади и овцы. Шевчиха заталкивала в сени упирающихся братьев Гореликов.

Вокруг техники суетились весёлые парни в пилотках и серых куртках с погонами. Некоторые, дурачась, уже плескались в Борянке, раскидав одежду по берегу. На мостках стоял офицер в высокой фуражке. Рядом с ним человек в пиджаке с белой повязкой на рукаве и плоской кепкой на длинношеей голове.

Офицер, держа у глаза монокль, внимательно следил за пальцем штатского, которым тот неуверенно водил по развёрнутой карте. Вдруг офицер резко отстранился от него, обернулся и что-то прокричал в сторону леса.

С кузова застывшего у леса тягача соскочила женщина в низко повязанном светлом платке. Пока шла, уложила платок на плечи и пригладила гребнем волосы, отряхнула и поправила одежду. Офицер подал ей карту и потряс над ней раскрытой ладонью — дескать: «Ну, где тут это место на самом деле?» Женщина уверенно показала.

С правнуком на руках Шевчиха не смогла запихнуть юрких братцев Гореликов в сени и вместе с ними смотрела на шумное, пугающее многолюдье. Пацанята, раскрыв рты, глазели на детское баловство голых дядечек. А бабка, разглядев кресты на машинах и мужчин в серо-стальной форме, остолбенела: «Батюшки-светы, немцы!» (Ей приходилось их видеть в восемнадцатом году.) А разглядев подошедшую к мосту женщину, старуха невольно вскрикнула — это была Анна Кошечева!

В сопровождении солдата с винтовкой офицер направился ко двору Шевчуков. За ними Анна и штатский. Остановившись перед хозяйкой, офицер снял фуражку и утёр платком потное лицо и шею. Это был блёклый человек неопределённого возраста с неулыбчивыми, умными, светлыми глазами. Солдат — рукастый, широкой кости мужик, лет около сорока с широким добродушным лицом — умильно шурился на белобрыхых близнецов. Анна обняла Шевчиху, что-то ей коротко сказала и, взяв у неё плачущего ребёнка, отошла к крыльцу. Офицер кивнул тигу в пиджаке и строго уставился на хозяйку. Переводчик стал её расспрашивать и переводить немцу: «Да, мужчин всех призвали, кроме одного старика Силантия Крыжова, но он и парнишка Кеша Мазур в лесхоз ушли, узнать, что на свете творится. Нет, у них конь. Кто ж его знает, когда они вернуться? Женщины и дети — на живице и вот-вот должны вернуться. Как же в лесу без ружья? В каждом доме есть. Две казённые централки рекруты с собой забрали. Нет, никаких чужих людей здесь не было. Я сроду не вру».

Из-за избы вышла Анна и сказала переводчику: «За поскоотиной бабы и ребята из леса выйти бояться». Тот повёл немцев за избу. Увидев сгрудившихся на опушке женщин и детей, с жавшимися у их ног перепуганными собаками, остановились. «Las sie her kommen», — приказал офицер. (Пусть подойдут.) Анна, передав Шевчихе внука, быстро пошла к лесу, уже издали, махая толпе платком. Но те робко тронулись к избам только после того, как Анна, подхватив на руки кого-то из детей, потащила за собой сноху Шевчихи Серафиму.

Офицер строго спросил, все ли пришли из леса? Анна подтвердила, что все налицо. Переводчик перевёл короткую речь

немецкого командира: «Запрещается без разрешения фрау Кошечев покидать кордон; через фрау Кошечев можно передавать для солдат излишки молока, яйца и овощи, за которые раз в месяц будет производиться расчёт мануфактурой, обувью и прочими необходимыми промтоварами; сейчас же сдать все ружья, патроны и порох; недобросовестные будут строго наказаны; оружие примет фельдфебель Курт Квинт», — ткнул офицер в сторону улыбчивого солдата и устало пошёл через мосток на ту сторону.

Фельдфебель уселся на бревно, близ которого жались пришедшие из леса дети. Пошарил-похлопал по карманам и, показывая, что там ничего нет, обескураженно развёл руками, удивлённо пуча глаза. Теснящаяся у плетня детвора прыснула и робко посунулась поближе. Бедовая восьмилетняя Уляша протянула ему берестяной кулёк с ягодами. Тот горкой натряс ёмкую горсть и, запрокинув голову, высыпал себе в рот. Зажмурившись, потискал-помял ягоду языком и с видимым блаженством проглотил. Похлопал себя по животу и поднял большой палец — «на ять!» Вернул кулёк Уляше, сказал: «Большой спасибо», — и поманил к себе остальных.

Особо поинтересовался удочкой и уловом Сани Рязанцева. (Это он своих с деяны привёл.) Одобрительно покивал: «О, карашо! Гут, гут!» Потрепал Санькины вихры и опять показал большой палец. Санька начал было жаловаться на Ваську, который две самые большие рыбины (показал руками) сожрал. Немец понял выразительную мимику, жестикуляцию и урчание Сани, качая головой, осуждающе цокал языком и строго, изпод руки, высматривал разбойника, но подошли женщины с ружьями и сундучками с охотничьими припасами и турнули детей по дворам.

Фельдфебель Курт Квинт прокричал что-то через Борянку. Через мосток прибежали два солдата и унесли оружие и припасы. Подозвал к себе переводчика и сказал женщинам: «Солдатам без разрешения входить в ваши дома запрещено. Собак пока привяжите или держите взаперти. Уходить из поселения можно только по разрешению Анны и только до захода солнца. О чужих немедленно сообщайте. Всё сказанное должны соблюдать и дети. Добросовестно исполняя эти несложные требования, вы избежите конфликтов с новой властью, которая будет строго карать нарушения порядка. Я верю, что вы будете благоразумны».

За несколько дней немцы раскинули под соснами несколько больших палаток и установили на колодки два камуфлированных автофургона с антеннами. Из землянки в два наката глухо тукал движок. Ночью только этот невнятный звук и несколько низких синих огоньков выдавали располо-

жение лагеря. Крытые грузовики в сопровождении конвоя мотоциклистов регулярно прибывали к посту. Немцы быстро перетаскивали в палатки ящики и бочки. После короткой передышки машины уходили вниз вдоль Борянки. В середине октября транспорты перестали приходить, и суета на той стороне улеглась. Под соснами остались только четыре мотоцикла, «Schwimmwagen» и трехосный тягач. А чего там разгружали и штабелировали солдаты, и сколько их на той стороне осталось, никто не знал.

Да и некогда было женщинам на немецкую суету ротозейничать — своих дел и забот хоть спать не ложись: дрова и сено ко дворам не подвезены, картошка не копана, ячмень и гречу сжать надо и от осеннего ненастья в овине укрыть, дети, скотина. Работа эта нескончаемая им во спасение потому, что не оставляла времени и сил на маяту душевную о судьбе мужей, о войне, о будущем своём и детей. Анна Кошечева на расспросы о том, что с ней было во время её долгого отсутствия, и скоро ли немцев назад погонят, отмахивалась: «Не время».

Снег лёг аккурат в ночь на седьмое ноября. Люди рады концу промозглой слякоти и тому, что с работой, за малым, упрямились. Оставшиеся на вырубках дрова и сено даже легче по первопутку ко дворам вывозить. Дети высыпали на сверкающий под утренним солнцем взгорок за левадой и затеяли своё извечно: снежки, санки, снеговики и прочее неопишемое барахтанье, в которое на равных ввязались и освобождённые на радостях жалобно скулившие собаки. Внучки-погодки Силантия собрались было праздничный красный флаг над воротами приладить, уже и лестницу подтащили. Хорошо мать заметила возню и отобрала у них выцветшее полотнище на захватанном древке и сунула за ларь в кладовой. Пятнадцатилетняя Мариша ещё и шлепка схлопотала от перепуганной матери: «Забыва, кто на той стороне квартирует?»

Потекли тихие, ничем не примечательные дни. Помалу нарастающий покров снега совсем заглушил стук движка, и присутствие людей на той стороне выдавали лишь снопы света, временами на мгновение вырывавшиеся из распахнутых дверей автофургонов. А днём и вовсе ничего не углядишь — немцы свой лагерь снежным валом обнесли. Но запахи удержать стена эта не могла, и тропический, тревожно-бодрящий аромат кофе расплывался далеко окрест. По приливам этих душистых волн боряньские женщины свои ходики подводили. Чика в чика! Словом — немцы.

Но гнетущее неведение, тоска и тревога постепенно начали овладевать бабами, и неведомо к чему толкнуло бы их иссякшее терпение и отчаяние, если бы на рассвете пятнадцатого ноября гул моторов, лязг гусениц, скрежет снега и громкие, бодрые голоса не всполошили застывший под снегом кордон. Одеваясь

на ходу, и стар и млад высыпали на дворы. Цыкнули на зашедшихся в лае собак и молча следили за суетой на той стороне. Через мост к борковчанам шла группа людей.

Группа направилась к стоящей у ворот Анне Кошечевой. Это были старые знакомые. Впереди вышагивал высокий Hauptmann с круглыми, чёрными наушниками во всю щёку, в длинной шинели с меховым воротником и в крестьянских овчинных рукавицах. За ним уверенно ступал широкий, рукастый фельдфебель Курт Квинт. Тонкая шинель поверх толстого свитера под кителем стянута ремнём с кобурой на животе, околыши суконной пилотки на уши опущены. За ним солдат с автоматом на груди и глубокой каской поверх толстого подшлемника. Чуть в стороне от офицера держался переводчик с белой повязкой на руке полушубка, в ушанке и валенках. По его зову все потянулись ко двору Анны.

«Wer ist Frau Erna Masur?» — оглядел офицер жмущихся в сторонке женщин. «Das bin ich», — прижала Эрна руку к груди. Отвечая на вопросы гауптмана, она за пять минут рассказала всё про свою небогатую событиями жизнь. Одобрительно покивав, он сказал, что её биография ему известна, а расспросы — это проверка её искренности и степени владения немецким языком. С этим всё в порядке, и оккупационная власть в его лице назначает её осуществлять административное управление в пункте «Борки».

«Чтобы вы не тяготились сотрудничеством с нами, я могу представить вам, фрау Мазур, неопровержимые доказательства того, что диверсию, за которую большевики расстреляли вашего мужа и ещё семь безвинных людей, инспирировали органы НКВД. К счастью, друзья вашего мужа оказались мужественными, достойными людьми и, спрятав вас с сыном в этой глуши, помогли избежать уготованной вам плачевной участи «жены врага народа» и немки к тому же. И ещё: всех советских немцев из европейской части СССР в сентябре-октябре депортировали. Загнали, как скот, в товарняки, вывели за Урал и высадили в гольх степях Сибири и Казахстана без средств к существованию и крова над головой. Нам известно об адских муках этих безвинных людей. От страшных холодов и голода они гибнут сотнями. Особенно дети и старики». Утерев концом полушалка выступившие слёзы, Эрна сказала, что согласна исполнять распоряжения новой власти.

«Кстати, фрау Мазур, всем полицейским постам и военной жандармерии дан приказ сообщить лично мне, если будет задержан безногий старик Крыжов и подросток Инноценц Мазур. Быть может, вам известно, где они находятся? А может, кто-нибудь из вас знает? — строго обвёл он взглядом внимательно слушавших переводчика женщин. — Жаль. Дело в том, что подходы к нашим постам защищены минными заграждениями, и

они могут на них подорваться. Напоминаю, что с сегодняшнего дня по всем вопросам обращайтесь к фрау Мазур. Только ей и фрау Коцеев разрешается переходить через мост, предварительно окликнув часового. Строго предупредите об этом детей», — добавил он и повернулся к мосту.

Шевчиха, протянув руки, посеменила за ним, но автоматчик перегоридил ей дорогу, и старуха громко и жалобно закричала: «Эй, ты... благородие! Про войну-то скажи! Нам же неведомо, как там и что? Ни писем, ни газетов же нету. Мужики же наши тама! На нет извелися от страху да тоски!» Офицер, выслушав перевод, сказал: «Скорей всего, они в плену. Могу вас всех порадовать — война закончится не позднее лета будущего года. Ленинград полностью окружён и через пару недель вынужден будет сдаться. Без боеприпасов и продовольствия он обречён. Москва вот-вот падёт, разорванная нашими танковыми клиньями. Так что уже скоро дождётесь своих, если они живы, конечно,» — и пошёл к мосту, прикрыв нос воротом.

И опять всё утихло на кордоне. Даже сполохи света пропали на той стороне. Но когда Саня Рязанцев решил проверить, есть ли вообще немцы на той стороне, то не успел высунуться из камышей возле моста, как раздался гулкий, строгий оклик: «Хальт! Насат!» Эх, и рванул Санька! Только у леса вышмыгнул из тальника и на снег повалился, отдышаться. Немец-то сверху, будто с неба, страща! (громкоговоритель на дереве) ей-богу! И никому не расскажешь — засмеют и брехуном задразнят, а мамка за ослушку трёпку задаст — три дня чесаться будет. Лежит, прикидывает, кумекает. Вдруг прямо из-под снега на него кто-то как прыгнет! Немец! Визжит тоненько и лижет шершавым, горячим языком зажмурившуюся Санькину лупетку! Фу, псиной воняет!

Так это ж Рябой! Значит, Кеша вернулся! Саня в клубах пара ворвался с собакой в избушку Мазуров. Эрна вскочила со скамьи: «Кеша! Сынок! Где он?» — «Я думал, он дома...» Эрна вдруг схватила беснующегося пса за ошейник, выдернула из-за пряжки берестяную скрутку и прочла у окошка выдавленное на ней слово: «б а л а г а н». Ноги отнялись, присела. «Сбегай, позови бабу Шевчиху, тётю Анну и маму. Не шуми только. Пусть задами идут». Подождав, пока Рябой вылакает миску тюри, Эрна приладила на нём холщовую торбу с туеском мёда и парой коржей. Пёс, встав на дыбы, ударил лапой по дверной клямке и пропал в облаке пара.

«Кончай ночевать, панели на подходе!» — высунувшись из будки, проорал прораб сирым со сна голосом. Служивые зашевелились. Неспешно переобувались, закуривали, а шустрики уже гомонили и плескались у чана с водой. Сашка обулся, раскурил самокрутку, длинно выдохнул глубокую затяжку и корот-

ко досказал историю появления в таёжном Полесье экзотического Курта Рязанцева, снисходительно отреагировав на мою умоляющую физиономию.

Уведомив немцев, женщины привезли с вырубки истощённого и обмороженного Иннокентия. Вдобавок к туземным снабдбьям, фельдшер Иоанн давал ему таблетки, мазал мазями, растирал, мял и выстукивал. В полторы недели свежая розовая кожа ссунула бурые стружья с его примороженных ног, а сытость укрыла выпиравшие косточки. И уже вскоре здоровый, румяный Кеша с неразлучным Сашкой ставили в урёмном чернолесье петли на зайцев и силки на куропаatok.

Силантий умер ещё до снега, и Кеша засыпал его землёй под вывороченной сосной. Гнедко от бескормицы обессилел и однажды утром не встал. Завёрнутую в брезент кладь: котелок, чайник, доху Силантия, лосиную шкуру — на пару с Рябым тащили на волокуше. Огниво, патроны, топор и ружьё Иннокентий держал при себе. Кормились охотой, мёрзлой ягодой, откапывали из-под снега желуди и орехи. Да, без пса Кеша бы навряд до дома добрался...

На немецкое Рождество внезапно нагрянули солдаты, шумные и развесёлые. Притащили с собой ёлочку, патефон и ёмкие коробки. Собрали всех в большой горнице Анны Кошечевой, зажгли на ёлочке разноцветные, пахучие свечи, расставили на подоконнике в кружок нарядных куколок, игрушечных коронок, овечек, ослика. В серёдку усадили нарядную куклу с Христосиком на коленях.

Верховодил фельдфебель Курт Квинт с ватной бородой и в красном колпаке. Щедро сыпал в фартуки и ковшики детских ладошек сладости. Женщины расставили на столе обильные закуски и баклагу с медовухой. Детям дали послушать пластинки с задушевно-печальными немецкими рождественскими песнями, напоили чаем со сладостями и отправили по домам.

Вскоре стало шумно. Поврозь пели свои песни, а сводным хором ладно одолели «Катюшу» и «Вечерний звон». Пытались танцевать под патефон, но кроме Эрны «городские» фокстроты да танго никто из женщин танцевать не умел, да и стеснялись «стыдных» движений. Зато «Полянку» с весёлыми частушками и лихими взвизгами сплясали так, что свечи все до единой потухли. Дали жару! За стол сели уже вперемешку.

С тех пор солдаты стали часто бывать на кордоне. Не охальничали. Баловали детей угощениями. Всякую мужскую работу умело и сноровисто справляли. За труды хозяйки щедро угощали их домашней стряпнёй и медовухой. Стали понимать друг друга. Постепенно пропала настороженность, и женщины прониклись доверием к этим серьёзным, трезвого ума, работающим людям.

Но вдруг женщины почему-то посуровели и стали их сторониться. А произошло вот что: как-то на рассвете увидела

Шевчиха, как со двора Анны «на ту сторону» поспешал солдат Петер. «Грех это, Аня, — укоряла её старуха. — Как мужу в глаза смотреть будешь? Он же ни на шаг от тебя не отходил. Любил». — «Нет у меня мужа, мать. А у тебя ни сына, ни внука. Восьмой месяц уже, как наши мужики погибли. Все разом. Бомба точно в середину баржи угодила, в которой рекрутов к Сплавнухе тянули. Смолчать хотела, не лишать баб надежды, да твои попрёки понудили. Не обессудь. А немцы, должно, в самом деле, насовсем пришли. По радио ихнему передают, что Сталин аж за Уралом сховался, а в Кремле похожий на него человек сидит. Грех, мать, не на мне, а на войне, которая наших мужиков поубивала. А жить, как ни то, дальше надо — не старуха ещё. Может, и дитё сподобит Господь родить. Немцы — тоже люди».

Тяжело переживали страшную весть. Но набиравшая силу весна выдавила людей из печальных, серых изб на яркое солнце, где ждала их неотложная череда насущных забот, отгеснивших горе в дальние закоулки души. Иногда только, глухой ночью, искушает и вымочит слезами вдова подушку, а с утра снова с головой в нескончаемую работу и хлопоты.

Что на свете творится, не знали — ни радио, ни газет. Тревожило, конечно, что война никак не кончается, но немцы были спокойны и всё свободное время проводили на кордоне. Построили красивый прочный мост через Борянку, обновили мельничные постава, две ветхие кровли перекрыли, фасонисто палисадники огородили и невиданными в этих местах цветами засадили.

Фельдшер Иоанн хозяйничал на дворе Эрны Мазур, и у Кеши появился братик.

Анна родила девочку. Петер таскал дочку по домам и умильно хвастался её красотой и статью.

Фельдфебель Курт Квинт прижился у Ульяны Рязанцевой. С её сыном Саней они давние приятели и заядлые рыбаки. Вместе ладили снасть, плели корзины и вентера, вязали берёзовые веники, которыми отчаянно хвастались в банные дни. Починили надворные постройки и снесли просевшее, трухлявое крыльцо со щелястой, скобоченной дверью и подслеповатым оконцем. Новое крыльечко из строганных досок веселило двор голубым окрасом и фасонистым, белым переплётом большого окна.

В трёхгодовалой дочке Ульяны улыбочивый немец вообще души не чаял: косички ей заплетал и в куклы, как маленький, игрался. Поздней осенью сорок второго большой Курт подвесил к матице зыбку, в которой издавал разные звуки и пускал пузыри Курт маленький, синеглазый прожора и весельчак.

В конце лета сорок четвёртого на «той стороне» внезапно началась возня, и целую неделю немцы на кордоне не появлялись. Через неделю суета за речкой так же внезапно стихла, и на кордон пришли фельдшер Иоанн, Петер, Курт и серьёзный

молчун Густав, от которого ждала ребёнка сноха Силантия. Уселись с женщинами на скамейки, вокруг клумбы с поздними астрами.

«Временные неудачи на фронте вынуждают нас отступить за Большую реку, — сказал, опустив глаза, фельдфебель Курт Квинт. — Фрау Эрне Мазур, как фольксдойче, разрешено вступить в брак с Иоанном Герлахом и вместе с детьми уехать в Германию. Остальные должны остаться. Но мы скоро вернёмся и вновь будем вместе». То, что они услышали, не было, казалось, для них неожиданным. Они давно уже поняли, что всё рано или поздно именно так и закончится, и были готовы к этому. Молча повели «своих» немцев на свои дворы. Рано утром немцы ушли и больше не вернулись.

На этом я закончу свой рассказ о юноше с «фашистским» именем. Знаю, что читатели возмутятся: «И без тебя знаем, что «больше не вернулись», а с пацаном-то что дальше было?»

Простите великодушно — я не знаю. Роту Сани Рязанцева передислоцировали в Васюганскую лесотундру, и мы больше не виделись. Мне и самому, ой как хочется знать, как Ульяна Рязанцева отстояла в те времена абсолютно невозможное у русских имя сына! Такое, разве что, только где-то в Прибалтике могло пройти.

Мои попытки сочинить окончание не получились. Сюжетные линии заводили в такие дебри, из которых мудрено было выбраться, а страдания и мытарства людей в то страшное время уже давно многократно и подробно описаны очевидцами.

А Курт Рязанцев — лицо реальное. Ведь Санька, его брат, сказал: «Его Курт з о в у т, как тебя». В 1957-м году сказал!

Александр ШМИДТ

/ Берлин /



Родился в 1949 году в селе Новопокровка Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный университет. В 1989 году — Высшие литературные курсы. С 2001 года живёт в Германии, с 2005-го — в Берлине. Печатался в журналах «Простор», «Юность», «Крещатик» и др. Автор книг стихов, в т.ч. «Земная ось», «Родство», «Преломление света», «Зёрна дней», «Здесь и там».

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОКА

Ну и времена нынче...
Враны небо орут,
Что твой чернозем.
А ты, «оратай жизненного поля»?
Запахиваешь обе полы времени,
Зябнешь под кислотным дождем
И орешь.

УСТАЛОСТЬ

Стих мой стих —
Устал.
Устает, остыв,
И металл.

Устают уста
Лгать.
Промолчал —
Исполать.

Устает пытаться
Палач.
Ведь хребет ломать —
Не калач.

А толпа орет
 Все лютей.
 Устаешь любить
 Людей.

Устаешь нести
 Свой крест.
 Дым отечества
 Очи ест.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Перекасти-поле —
 Ведьмин клубок.
 Пойди туда, не знаю куда,
 Принеси то, не знаю что...
 Пошел за ним.
 Катится — не разматывается,
 Куда ведет —
 Не рассказывает.
 Шел день,
 Шел два,
 Шел жизнь.
 Устал.

Стал думу думать,
 Вспоминать:
 Зачем шел?
 Что искал?
 Так и не вспомнил.
 Совсем себя забыл,
 Высох,
 Съежился,
 Колюч стал.
 Дунул ветер — покатился.
 Голь перекатная.
 Перекасти-поле.

* * *

Одевал
 В неволю сбруи
 Дед коней,
 В хомут,
 Словно в деревянный нимб,
 Входила голова коня.

А я
Глядел на небо:
Синева такой синее нет,
Синева такой синее нет,
Синева такой синее нет,
Нет
Таких планет,
Где синева синее.

ФОНАРЬ ДИОГЕНА

Весь день бродил
В надежде
Встретить человеческий взгляд.
Тщетно —
Днем с огнем не сыщешь его
В этом городе.
В пункте проката что ли
Спросить
Фонарь Диогена?

ДЕРЖАВА ДЕТСТВА

О, всех царей
Я был славнее,
Когда держал я
Стебель мака,
Увенчанный коробочкой с коронкой,
Как скипетр,
И слушал
Тишайший шум семян,
Пересыпающихся сонно.
Тогда
Я временем моим
Владел самодержавно,
Его границ не ведал.

ВРЕМЯ МГНОВЕННОГО СЧАСТЬЯ

Вот он уже на краю
Снежной горки.
Подвигается толчками,
Раскачивает санки.

И
 Мгновенье спустя
 Тени деревьев
 Фиолетово скачут
 В солнечной снежной пыли.
 Останавливаются санки,
 Останавливается солнце...
 И
 Повторяется снова
 Время мгновенного счастья.

ПОЛЕ

Поле потрескивало,
 Наэлектризованное кузнечиками.
 Силовые линии ковыля
 Развернули мое сердце,
 И оно
 Странно задрожало,
 Травинку зажал губами —
 Обрыв связи.

В СТЕПИ

Я сейчас один на белом свете,
 Рядом бродят только сны и ветер,
 Да зернится вечная полынь.

Ворон Калки, перепутав даты, —
 Вечные мои координаты, —
 Голосом пророчит вечно злым.

И полынь горчит, и вечный ветер
 Бродит рядом, а моё тысячелетье
 Прутиком транзисторным дрожит.

ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР

На границе
 Этого и того света
 Вероятно
 Тоже существует таможня
 Ты проходишь ворота
 Что-то звенит
 И ангелы

Невидимыми лучами
Обшаривают тебя
Чтобы ты
Не пронес
Свои самые дорогие воспоминания

* * *

Е. Курдакову

Это не палая листва
Это псы Актеона
Тебя догоняли

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Со скрипом, но все же
Открывают небо
Стрижи на рассвете.

* * *

1

И я, мой друг, почти что ветеран
Какой-нибудь Пунической войны,
Скрыплю пером-протезом по утрам
И страшные записываю сны.

2

Радиоактивный пепел на висках.
Что нам осталось молвить на пороге?
Что нас еще трясет на облаках,
Как на проселочной дороге.

3

Отшумела весенняя мутная речка,
А ведь страстно как русло вычерчивала.
Вот и руки обсыпала старости гречка —
Будто я эту воду вычерпывал.

СЛОВО

Бесценно слово
Поэтому
За него ничего не дают
Иногда
Убивают

ИГРА В КОСТИ

Кости
Наших дедов и отцов
Мы бросаем
Снова и снова
А в результате —
Сатанинская усмешка
И предложение —
Еще раз
Бросить
Кости

ПЛАЧУЩИЙ

Хорошо дождю
Идет
И не боится
Что кто-то
Заметит его слезы

* * *

Какой легкой казалась мне жизнь
Когда я взвешивал на ладони
Нашего новорожденного ребенка

Какой тяжелой она оказалась —
В легкой горсти земли
Которую я бросил на твой гроб

ЗЕМЛЯ

Я забыл совсем
Когда в последний раз
Трогал землю
Не ту
Что мертвеет под асфальтом
А прежнюю
С детства знакомую
Живую
Родную
Забытую

Здесь
На кладбище

У свежего холмика
 С испугом сердечным
 Прикоснулся к ней
 И чудо нежданное —
 Живая
 Горячая —
 Твоя ответная ласка

ЗОНА ДОСЯГАНЬЯ

Услышал слабое теньканье
 Машинально полез в карман за мобильником —
 Молчит

Поднял голову —
 Пичуга какая-то

Я еще
 В зоне
 Ее досяганья

* * *

Утром
 Тень моя
 Суха и благородна,
 Как рыцарь из Ламанчи.
 К полудню
 Толста и добродушна,
 Как его вечный спутник.
 А вечером —
 Нелепо мельтешит,
 Словно ветряная мельница.

ИКОНА

Ожидал встречи
 С Богом
 А ткнулся лбом
 В холодное стекло

Когда-то давно
 В рассветные годы жизни
 вернулся домой
 Из дальних краев
 Торопя радость встречи

Прижал лицо к окну
 Вглядывался в застекленный сумрак
 Еще не пробудившегося дома
 И вдруг
 За стеклом
 Увидел
 Отца

СТАРИК

Отправляясь на вечернюю прогулку
 По обыкновению забывает выключить свет в доме
 Чтобы не было
 Так страшно возвращаться

ОТСТУПНИК

И готика чертополоха,
 И вязь арабская травы
 Прочтению давались плохо,
 Как грамота чужой страны.

И кроткий травяной народец
 Меня своим не признавал.
 Я был — отступник и уродец
 И каждым шагом их пугал.

Я нёс им истину, как будто
 В гордыне знания слепой,
 Но капля росная, как Будда,
 Была полна сама собой.

Огонь первопричины вечной
 Жил в каждом из лесных детей,
 А я был тёмн и увечен —
 Изобретатель ДДТ.

* * *

В грудь мою ударит тупо
 Жесткий красный лист,
 Каркнет ворон в черный рупор —
 Он теперь солист.

Бабочек кардиограммы
 Ветер потушил,
 Доставай вторые рамы:
 Хватит, потужил.

Пластилиновой колбаской
 Щели накорми —
 Нашего тепла запасы
 Все-таки скромны.

Меж оконниц вложишь ваты,
 Вот и все дела...
 На зиму, глядишь, и хватит
 Бедного тепла.

Над трубой дымок завьется,
 В гости позовет.
 — Жив курилка, — усмехнется
 Житель дальних звезд.

* * *

Божья коровка —
 Алая капелька —
 Ударила в грудь.
 Остановился,
 Простреленный
 Нежностью
 К миру.

БАБЬЕ ЛЕТО

Пусть осень старушечьи шаркает —
 Душа юнее невесты,
 По-прежнему не решается
 Задача с тремя неизвестными

И я не в своей тарелке
 Меня она тоже касается
 Мой нос как магнитная стрелка
 Следит за каждой красавицей

Они глядят победительно
 Их туфли гремят соловьями
 И, что еще удивительно,
 Снисходят к общению с нами.

ВЗГЛЯД

В тот миг,
 Когда бездна в упор поглядела,
 И я оказался
 Один
 У Предела,
 И свет зашатался над краем со мной,
 Когда показалось,
 Что в целой вселенной —
 Безмолвной,
 Безмерной,
 И немилосердной —
 Надежды соломинки
 Нет ни одной,
 Когда неминуемым стало паденье,
 В мгновенье последнее
 Мне во спасенье
 Меня удержал
 Взгляд родной.

ИЗ СТАРОГО ЗАПАСА

Проснешься — небо голубей
 Чем - все сравнения избиты
 И правит стаей голубей
 Крылатый бог совсем забытый

Он в колеснице золотой
 Как описал его Овидий
 Тугой играет тетивой
 И норовит меня обидеть

И прежде чем сообразишь
 Что он по-прежнему опасен
 Он сердце бедное пронзит
 Стрелой из старого запаса

* * *

У-у, как я буду по тебе тосковать,
 Твой звериный запах из снов доставать,
 Как безумный слепой ощупывать его ноздрями,
 Материться, молиться тебе — обожаемой дряни.

Проклинаю тенета твоих подмышек,
 Желчь грудей, лона нежную рану,
 Но скажи, кто еще мне такое надышит,
 Что душа отзовется мелодией странной.

ВЕСНА ИЗ СТАБИИ

Ах как идет ей
 узел тяжелых волос
 и легкая поступь
 так идет
 что шелк щебечет у щиколоток

сколько столетий смотрят ей вслед
 а она
 не оглянется даже

так и пройдет нас пленяя
 роскошным
 равнодушьем
 спины и бедер

только сердце
 ветерком обдаст

ДОМ

Там плач, там тихий вой,
 А там — глумливый смех —
 И этот дом горящий твой —
 Один на всех

И это не грачи летят —
 В гортани гарь горчит
 И совести безумен взгляд
 И Бог молчит

РЕАЛЬНОСТЬ

Живем
 На бойне
 Лужи крови
 Не успевают подсохнуть
 Старательно обходим их
 В слабой надежде
 Не поскользнуться



Сергей GERMAN

/ Бонн /

Родился в Новосибирске. Окончил училище МВД, жил и воевал на Северном Кавказе. Публиковался в журналах «Дальний Восток», «День и ночь» и др. Автор трёх книг. В начале 2000-х переселился в Германию.

СОЛДАТСКАЯ МАТЬ

Посвящается матерям, чьи сыновья никогда не вернутся домой.

Над селом медленно вставало солнце. Хмурый рассвет осторожно выползал из-за линии горизонта, озаряя серые дома пугливым, зыбким светом. В сараях завозились петухи, пробуя кукарекать неуверенным фальцетом. Антонина Петровна Горшкова всегда просыпалась в одно и то же время. С детства привыкшая вставать с петухами, она и сейчас открыла глаза, как только услышала петушиную возню. В доме с утра было прохладно, Антонина Петровна затопила печь, подоила корову и отправила её в стадо. Приближались холода. Скотину пасли последние деньки. Выгоняя Зорьку со двора, Антонина Петровна дала ей посыпанную крупной солью горбушку. Довольная корова, не торопясь, двинулась к стаду, смешавшись с тремя десятками таких же пятнистых буренок.

Антонина Петровна жила одна, муж несколько лет назад разбился на мотоцикле, сын Валера второй год служил в армии. За домашней работой и хлопотами пролетело утро. В десять утра почтальонша разнесила почту. По устоявшейся привычке Антонина Петровна вышла за калитку, чтобы самой встретить почтальонку. От сына давно не было писем, и Антонина Петровна волновалась: не случилось бы чего... Соседка Валя на все её страхи отмахивалась: «Брось, Тоня, мой тоже писал каждую неделю, пока не отслужил год. А как только оперился, так сразу писать забросил, за последний год только три письма и прислал». Анто-

нина Петровна ей верила и не верила. Её Валера был не такой, как шепутной и непугёвый Толик. Он и после армии побыл дома месяц, покуролесил и укатил на север. Матери присылаал открытки только к Новому году и 8 марта.

Вместо письма почтальон отдала ей жёлтый прямоугольник. Антонина Петровна повертела его в руках, не понимая:

— Галя, что это за письмо такое? Никак не разберу без очков.

Почтальонка охотно пояснила:

— Повестка это, в военкомат. Не иначе с Валеркой что случилось, раз вызывают.

У Антонины Петровны захолонуло сердце. Занимаясь домашними делами, поминутно поглядывала на часы, чтобы не опоздать на автобус. Не в силах больше ждать, закрыла дом и побежала на остановку. Дребезжащий деревенский автобус подошел без опоздания. Антонина Петровна всю дорогу просидела молча, не обращая ни на кого внимания.

Дежурный прапорщик с красной повязкой на рукаве повертел в руках повестку, потом позвонил куда-то по телефону. Почти тотчас по лестнице спустился пожилой военный с большими залысинами, провел её в кабинет на втором этаже. Он долго перебирал на столе какие-то бумаги, не глядя ей в глаза. Антонина Петровна молчала.

— Антонина Петровна, приношу вам извинения, что вызвали вас сюда. Молодая сотрудница выписала вам повестку по ошибке.

У Антонины Петровны в груди шевельнулась надежда, офицер продолжал:

— Надо было, конечно, мне приехать самому, но вечная нехватка времени. Я вполне разделяю ваши чувства — сам отец, у меня два сына.

Сыновья майора Полипова учились в Москве: один в театральном училище, другой в Институте международных отношений. Служить в армии они не собирались, но говорить об этом майор не стал.

— В общем, так, подразделение, в котором служил ваш сын, попало в засаду и почти полностью погибло. Вашего сына нет ни среди убитых, ни среди раненых, — майор вытер пот со лба, зачем-то добавил, — вот такая катавасия.

Женщина смотрела непонимающе:

— Но если Валеры нет среди убитых — значит, он жив.

Полипов встал, подошёл к окну.

— Да, такая вероятность существует. Может быть, он успел добраться до какого-нибудь села, а, может быть, попал в плен. Во всяком случае, мы не исключаем такой возможности. Если он жив, постараемся его найти и освободить. Поверьте, мы сделаем всё возможное...

Полипов ещё что-то говорил, но Антонина Петровна слышала его, как сквозь туман. Майор капал в стакан какие-то капли, потом поил её водой, неловко проливая капли на пол. Очнувшись Антонина Петровна уже у двери. Полипов провожал её, слегка придерживая под локоть. Она не слышала его голоса, не видела, куда идёт, в ушах стояло одно: «Валера! Сыночек!»

Не помня себя, на ватных ногах Антонина Петровна добралась до автовокзала. Долго сидела на остановке, дожидаясь автобуса. Рядом сидели односельчане, говорили о погоде, о растущих ценах, о каком-то Ваньке, утащившем из дома телевизор и пропившем его. Раз или два её о чём-то спросили, но она или не слышала, или делала вид, что не слышит, — боялась, что закричит в голос, забьётся в истерику.

Проводив Антонину Петровну, Полипов почувствовал себя неважно. Проклятая работа, надо идти на пенсию. Военком назначил его ответственным за такие мероприятия, сегодня ещё надо было организовать похороны старшего лейтенанта Миляева, опять будут слёзы, плач, истерика. Из пузырька, стоявшего на столе, майор накапал себе корвалол. Морщась, выпил. Подумал, что на пенсию уходить ещё рановато: дети учатся, дом не достроен. Мысли его переключились на другое, на стройку нужно было завезти цемент, и через 10–15 минут он уже сидел на телефоне, яростно выбивая в ПАТП грузовую машину.

Добравшись домой, Антонина Петровна прилегла. Болело сердце. Потом с трудом встала, загнала в сарай мыгчащую корову. Шумно и жарко дыша, Зорька ткнулась лбом ей в живот, будто сочувствуя.

Прошёл месяц. Антонина Петровна написала несколько писем в часть, где служил сын. Ответа не дождалась. И она решила ехать в Чечню, найти место, где пропал её сын. Может быть, удастся найти людей, которые видели Валеру.

Вечером пришёл школьный учитель Николай Андреевич с женой. В селе уже знали, что Валерка Горшков пропал без вести. Покашливая, Николай Андреевич передал её триста рублей.

— Слышали, Антонина Петровна, что собираетесь искать сына. Вот, возьмите от нас с Валентиной Ивановной на дорожку и не вздумайте отказываться. Сами знаете, Валера у нас был любимым учеником.

Однажды, тоже вечером, приехал участковый Игнатенко, долго вытирал о скребок грязные сапоги, шумно сморкался в носовой платок. В дом проходить не стал, во дворе поговорил о том, о сём. Между делом поинтересовался, когда Антонина Петровна собирается ехать, нет ли писем из части или от людей, которые видели сына. Участковый горестно вздыхал, без конца снимал фуражку и вытирал лысину большим клетчатый платком. Хотел заглянуть в сарай к корове и в баньку, но засовестился, засмутился и вдруг ушёл. На прощанье зачем-то сказал:

— Ты извиняй меня, Петровна, начальство, будь оно неладно, требует. Мол, съезди к Горшковым да съезди, может, солдат твой нашелся, или тебе надо чего.

Горько и обречено махнул рукой и, не задерживаясь, уехал. Не зашел даже к своему куму Даниле Опанасенко на чарку.

Антонина Петровна так и не поняла, зачем он приезжал: помощь от властей предложить, что ли? Поднакопив чуть-чуть денег, она решила ехать.

Пришла соседка. Она слышала, что наших ребят, срочников, чеченцы отдают за выкуп. Тогда Антонина Петровна решила продать корову. Зорьку увёл армянин с соседней улицы. Пока новый хозяин долго и нудно жаловался на жизнь, отсчитывал деньги, корова жалобно мычала. Антонина Петровна не стала выходить во двор. Боялась, что заплачет.

Перед отъездом Антонина Петровна ещё раз съездила в военкомат, спросить, а вдруг есть какие-либо известия о сыне — не иголка же! Полипов сразу её вспомнил, засуетился, созвонился с Минераловодским военкоматом, долго что-то выяснял и согласовывал. Потом, потирая ладони, сообщил, что через два дня из Минеральных Вод в Чечню пойдёт автоколонна с гуманитарной помощью и её могут взять с собой.

И Антонина Петровна выехала в Минеральные Воды. Молодые ребята в поезде были совсем пьяны, разговаривали резко и грубо. Офицеры не обращали на них внимания. В Минводах она переночевала на вокзале и утром поехала в военкомат. В Чечню должны были ехать два армейских «Камаза» с дровами и автобус с теплыми вещами и продуктами для солдат. Сопровождали колонну казаки с карабинами. Они посадили Антонину Петровну в автобус и вскоре тронулись в путь. Впереди колонны шел зелёный БРДМ с контрактниками. За рулём сидел совсем молоденький солдатик с тонкой, почти детской шеей. Антонина Петровна обратила внимание на его руки, серые от ссадин и цыпок. Порылась в сумке, достала большое румяное яблоко, протянула его мальчишке-солдату:

— Возьми, сынок, наверное, соскучился по домашнему.

Не отводя взгляда от дороги, он улыбнулся детской улыбкой:

— Спасибо, матушка.

У Антонины Петровны защемило сердце: так её называл только сын.

Часа через четыре колонна остановилась на блок-посту с огромным транспарантом «Чеченская республика». Водитель остановил машину и заглушил двигатель. Небритые милиционеры о чём-то переговаривали со старшим колонны, заглянули в автобус, поочередно оглядывая Антонину Петровну. Она держала в руках фотографию сына. На её вопрос оба отрицательно покачали головами — не встречали. За блокпостом колонна опять остановилась. Солдаты и казаки вышли из машин, по команде стар-

шего зарядили оружие. Водители повесили на стекла дверей машин бронезиленки. К обеду были в станице Наурской. Старший колонны отвёл Антонину Петровну в военкомат, пожал ей руку.

— Прощайте, мамаша, желаю успеха.

Военком был на месте. Он вызвал контрактника и приказал:

— Проводишь женщину к главе администрации, отдашь ему это письмо.

Глава администрации, пожилой чеченец с умными и усталыми глазами, был дома. Прочитал записку, позвал жену.

— Хади, накорми Антонину Петровну обедом, пусть отдохнет, а я попробую узнать, как ей быть завтра. Посоветуюсь со стариками, узнаю, как попасть на ту сторону.

Пока Хади накрывала на стол, Антонина Петровна напросилась почистить картошку. Женщины разговорились. Говорила больше Хади, Антонина Петровна слушала:

— Наша станица считается освобожденной, но по ночам тоже стреляют. Недавно кто-то поджёг школу. У нас жизнь почти мирная, пенсии вот стали давать, хоть какая-то работа появилась. Люди радуются, все устали от войны. А в Грозном ещё боевики, горит там всё. Утром посмотрите, до города километров семьдесят, и над ним днём и ночью висит облако дыма. Вам, наверное, надо искать там. Говорят, что многих пленных пригнали строить укрепления.

К вечеру появился Магомет Мусаевич, хозяин дома. Переодевшись, он колоч дрова, потом долго умывался, ужинал. Всё это время Антонина Петровна ожидала известий. Потом он прошёл в комнату, где сидела она. Чтобы успокоить нервы, начала вязать сыну тёплый свитер. Магомет Мусаевич помолчал, вздохнул:

— Завтра утром заедет машина с моим родственником, поедете с ним по сёлам. Дело ваше нелёгкое, но, думаю, что Всевышний не оставит и люди помогут.

Утром, после снятия комендантского часа, подъехал старенький дребезжащий «Жигуленок». За рулём сидел небритый мужчина лет сорока. Антонина Петровна сердечно попрощалась с хозяевами, Хади положила ей в сумку завернутые в полотенце тёплые пижамки.

— Это вам на дорожку.

До соседнего села ехали недолго. Здесь было всё то же: пустынные улицы, дома без занавесок, женщины в чёрном. Какое-то подобие жизни было лишь на асфальтированном пяточке перед зданием администрации. На табуретках, грубо сколоченных столах лежали шоколадки, жевательная резинка, семечки. Торговали всякой всячиной. Антонина Петровна зашла на рынок, разговорилась с женщинами, показала фотографию. Никто не видел её сына. Говорили, что искать надо на территории, не подкон-

трольной федералаам. Советовали поговорить со стариками, те каким-то образом имели связь с полевыми командирами и боевиками. У многих в партизанских отрядах воевали сыновья, внуки, родственники.

Так в бесплодных поисках прошёл месяц. Антонину Петровну знали уже во многих сёлах, называли «солдатская мать». Её несколько раз задерживали армейские и милицейские патрули, доставляли в комендатуру, потом отпускали. Антонина Петровна решила пробираться в Грозный. По «коридорам» туда и обратно ходили люди. Выходили из Грозного женщины, старики — те, кого хоть кто-то ждал в России.

Пытались выскользнуть и боевики. Однажды на посту задержали красивую девушку, светловолосую, синеглазую, она вела под руку старую, почти беспомощную чеченку, еле передвигавшую ногами. Офицер что-то заподозрил — больше эту девушку никто не видел. Говорили, что при досмотре у неё на плече обнаружили синяк от приклада винтовки, шептались, что она снайпер не то из Прибалтики, не то из Украины.

В Грозный шли люди, потерявшие там своих близких. В нём оставались дети, больные и немощные родители. Кто-то, как и Антонина Петровна, искал сыновей, пропавших без вести. Однажды она услышала, как молоденький лейтенант, отдавая паспорт пожилой чеченке, сказал с горечью: «После этой войны нам всем придется заново учиться улыбаться».

Город лежал в руинах, лишь кое-где сохранились остовы домов. Грозный готовился к предстоящему штурму российских войск. Чеченцы и подгоняемые автоматами заложники строили укрепления, рыли окопы. Антонина Петровна забыла о еде и отдыхе. Иногда только вечером вспоминала, что ничего не ела.

Однажды в группе пленных, копавших яму, увидела молоденького солдатика, почти мальчишку, с большим шрамом на лице. Пленный косил взглядом в ее сторону, будто что-то хотел спросить или сказать, но не решился. Их охранял с палкой в руках свирепого вида бородатый чеченец. Антонина Петровна попробовала подойти к пленным, но чеченец бросил палку и навел на нее автомат. Она испугалась, что он будет стрелять, и отошла.

Спала Антонина Петровна в подвале разрушенного дома. Его обитатели находили себе пропитание в брошенных или разрушенных подвалах, там можно было найти консервированные овощи, варенье, иногда попадались даже консервы. Несколько раз заходили пьяные или обкуренные боевики, искали девушек и молодых женщин. На следующий день после того, как ее отогнал страшный чеченец с автоматом, она опять пошла на то место. Хотела поговорить с мальчишкой-солдатом, но его нигде не было. Наверное, эта группа заложников работала в другом уже месте.

Однажды Антонина Петровна наткнулась на госпиталь, где оперировали боевиков. Робея, она стояла у порога, боясь войти. Врач в забрызганном кровью халате, пробегая мимо, крикнул:

— Чего стоишь? Быстрой воды!

Антонина Петровна взяла ведро и пошла на колонку. Когда принесла воду, врач непонимающе глянул на нее, потом протянул:

— А-а, это вы... Извините, я, кажется, накричал. Зайдите ко мне в кабинет через два часа, я должен закончить операцию.

Врач освободился через четыре часа. Всё это время Антонина Петровна простояла у закрытой двери с табличкой: главный хирург Кориев А.Р.

Хирург выслушал ее и сказал:

— Если вы просто будете ходить по городу и искать, никого не найдёте, но можете угодить под обстрел или шальную пулю. Мне как раз нужна санитарка, зарплату я не обещаю, а вот лег и еду получите. — Кориев закурил и добавил:— У нас тут много народа бывает, может, кто-то вашего сына встречал.

Так Антонина Петровна стала работать в госпитале. Она мыла полы, выносила утки, носила воду, делала всю тяжёлую грязную работу. Ее не обижали, чеченцы называли «мама Тоня». Однажды вернулась в подвал, в котором обитала раньше, принесла хлеб и лекарство трехлетней девочке и её матери, что похоронила всех своих близких. Заговорившись, не заметила, как пролетел отпущенный ей час. Случайно глянула в подвальное окошечко, увидела группу людей, стоявших под охраной боевиков. Один человек — Антонина Петровна не видела его лица — стоял на коленях чуть поодаль. Его голова лежала на большой деревянной колоде для рубки мяса. Женщина испуганно вскрикнула:

— Что это?

Мать девочки безучастно ответила, что один из заложников хотел украсть гранату, но его поймали и сейчас судят шариатским судом. Чеченец зачитал бумагу, здоровенный мужчина взял в руки топор, провел ногтем по лезвию и, размахнувшись, с уробным хеканьем рубанул по колоде. Антонина Петровна не поняла, что произошло. Несколько мгновений тело находилось в прежнем положении, затем оно завалилось в сторону. С глухим стуком голова упала на землю, из окровавленного горла хлынула кровь. Тело билось в агонии — казалось, человек пытается встать. Туловище выгнулось и затихло. Притихших и подавленных заложников увели.

Антонина Петровна в ужасе бросилась в госпиталь. Всю ночь она вздрагивала и не могла уснуть. Наутро привезли большую партию раненых. Кориев не отходил от операционного стола, ампутированные конечности складывали в полиэтиленовые мешки и сжигали в больничной кочегарке.

Поздней ночью в сопровождении свиты боевиков привезли бородатого чеченца лет сорока. Осколком разворотило ему живот. Ранение было тяжёлым, и больной был без сознания. Из разговоров окружающих и по царившему переполоху Антонина Петровна поняла, что привезли какого-то важного чеченского генерала. Кориев немедленно встал за операционный стол. Раненого звали Муса, после операции его поместили в отдельную палату, рядом посадили охранника. Антонине Петровне Кориев приказал безотлучно находиться рядом. Генерал бредил, скрежетал зубами, пытался сорвать повязки. Антонина Петровна промокала влажное от пота лицо, пытаясь облегчить боль и страдания. Простая деревенская женщина, она не делила мир на русских и нерусских. Помогая выжить этому человеку, она представляла, что кто-то, возможно, помогает сейчас её сыну.

Несколько суток раненый находился в забытьи. Он поднимал на Антонину Петровну мутные от боли глаза и тут же прикрывал их. Среди ночи неожиданно хрипло спросил что-то по-чечески. Антонина Петровна встрепенулась и наклонилась к его лицу:

— Что, сынок?

Он долго смотрел, потом переспросил по-русски:

— Кто ты?

Антонина Петровна положила ему на лоб прохладную ладонь и ответила:

— Я — мама Тоня, солдатская мать. Спи, сынок, всё будет хорошо.

Он обессилено закрыл глаза и вновь задремал.

Шло время, чеченец шёл на поправку. Ему сбрили бороду, и он оказался совсем молодым, лет тридцати с небольшим.

До войны он работал преподавателем Грозненского нефтяного института. Когда пришёл к власти Дудаев, молодые учёные-экономисты, увлечённые чеченским Че Геварой, вошли в его команду. Потом началась война, полилась кровь. Всю территорию Чечни перепахали осколками мин и снарядов. Экономику республики парализовала война. Народ, лишённый источников существования, стал мародёрствовать, грабить, убивать. Во всех бедах обвинили русских. Десятки и сотни тысяч нечеченцев лишились имущества, а кто и жизни. Буйно расцвела работорговля. Чеченская революция, как и все революции в мире, превратилась просто в бойню. Всё это генерал Муса рассказывал Антонине Петровне долгими ночами, когда немного отпускала боль и набегающие мысли не давали покоя. Казалось, что он просто размышляет вслух, пытаясь выплеснуть боль. Простая деревенская женщина, глубоко несчастная и обездоленная, слушала его молча, хорошо зная, что ничем не сможет помочь.

Раненый просил Антонину Петровну оставаться рядом. В ответ на его душевные терзания женщина рассказывала о своей

немудрёной жизни: как вышла замуж, как родила сына, как первый раз произнес он «мама», как его, маленького, поддела рогами корова, как он плакал от жалости, когда отец ударил корову палкой. Генерал засыпал под её неторопливый размеренный голос и на его лице появлялся покой.

Однажды Антонине Петровне принесли записку. Писал тот самый солдат со шрамом, которого она видела на рытве окопов: «Тетья Тоня, я вас сразу узнал. Я видел вас на фотографии с вашим сыном Валерой. Меня держат в подвале полевого командира Исы Газилова и, наверное, скоро убьют. Меня зовут Андрей Клевцов».

С трепетом в сердце и дрожащими руками Антонина Петровна бросилась на поиски Кориева. Не найдя его в госпитале, забежала в палату, где лежал Муса. Чеченский генерал читал какую-то толстую книгу. Увидел её заплаканное лицо, отложил книгу, строго спросил:

— Что случилось? Кто вас обидел?

Антонина Петровна протянула ему записку. Сбиваясь и захлёбываясь от слёз, начала рассказывать, как искала сына. Муса выслушал её и крикнул в коридор что-то по-чеченски. Прибежал охранник с автоматом, дежуривший в коридоре. Бросив ему несколько фраз, Муса сказал Антонине Петровне:

— Вас проводят к Исе Газилову и обратно. Желаю вам успеха.

Резиденция полевого командира Исы располагалась в кирпичном трёхэтажном доме, не разрушенном войной. Во дворе дома стояло несколько джипов, толпились боевики. Подвал дома был перегорожен металлической решёткой, на сваленных в кучу матрацах сидело и лежало с десятков пленных солдат. Сопровождавший Антонину Петровну чеченец о чём-то коротко переговорил с караульным, и Антонину Петровну провели в беседку во дворе. Она пояснила, что ей нужен Андрей Клевцов, солдат со шрамом на щеке. Через несколько минут привели Андрея, он был худ и измождён. Ветхая одежда была изорвана и лоснилась от грязи. Антонина Петровна присела рядом с ним на скамейку, боевики встали поодаль.

— Ну, рассказывай, сынок, всё рассказывай.

— Я служил с вашим Валерой в одном взводе, даже кровати стояли рядом. У него я и увидел вашу фотографию. В Чечню нас отправили вместе, опять были в одном отделении. Когда колонна попала в засаду, и наш БТР подорвался на mine, Валерку контузило, мне попал в лицо осколок, — он показал на свой шрам. — «Чехи» расстреляли нашу колонну, а когда уходили, заметили, что мы живы, и прихватили нас с собой. Валерка был очень плох, почти не мог ходить, я, сколько мог, тащил его на себе. Потом «чехи» нагрузили на меня цинки с патронами, а Валерку пристрелили, чтобы не задерживал отход.

Антонина Петровна в отчаянии закрыла лицо.

— Это было под Ножай-Юртом, — всхлипнул Андрей, — я просил, чтобы Валерку не убивали, говорил, что он мой брат. Мне только разрешили присыпать его землей, чтобы не сожрали собаки. Я отнес вашего сына в воронку и похоронил под тополем.

Он растегнул рубашку и снял с шеи медный крестик:

— Вот, это его. Валера просил отдать крестик вам, он знал, что вы его найдёте.

Антонина Петровна кусала сжатые кулаки, чтобы не закричать в голос. Боль утраты, горечь одиночества сотрясали её тело.

— Скоро наши пойдут на Грозный, и нас, скорее всего, расстреляют. «Чехи» звали к себе, агитировали воевать за свой ислам, но я русский и в русских стрелять не буду, — он сплюнул на землю, растер плевков подошвой. — Это хорошо, что я вас встретил. У меня никого нет, детдомовский. Обидно умирать, зная, что никто не узнает, как ты умер, и где тебя закопали.

Антонина Петровна прижала к себе его голову, сказала сквозь слёзы:

— Спасибо, сынок, что нашёл меня. Держись, ты будешь жить. Господь не оставит тебя в беде.

Пощатываясь, она пошла к воротам. Сопровождающий шёл следом. Андрея опять отвели в подвал.

В госпитале она сразу пошла к генералу.

— Муса, — сказала она. — Я мать. Мне нет разницы, кто передо мной, мне одинаково близки русские и чеченские дети. Я недавно спасала тебя и сейчас прошу как мать. Спаси моего сына! Он у Исы Газилова и пока ещё жив.

Муса долго думал, молча глядя в окно. Может быть, вспоминал свою мать или думал о людях, которых убили по его приказу и которых никогда не дождутся матери.

— Ахмет, — крикнул он негромко, тут же рядом с ним появился охранник. — Принеси мне ручку и бумагу.

Написанную записку он свернул вчетверо и отдал Ахмету: «Срочно отнеси это Исе и заведи у него этого солдата. Как его зовут?» — спросил он у Антонины Петровны.

— Клевцов, Андрей Клевцов, — торопливо ответила она.

— Приведёшь этого Андрея Клевцова сюда и отдашь матери. Исе скажи, пусть подберет для него одежду и какой-нибудь документ. А то его или наши пристрелят или федералы, они это делают очень быстро.

Обессилев, Муса откинулся на подушки. Антонина Петровна промокнула полотенцем его влажный лоб и села ждать.

Через час привели Андрея. Она нагрела ему ведро с водой, и, пока он мылся, собрала на стол нехитрую снедь. На следующий день мать и сын покинули город. Боевики из отряда генерала Мусы вывели их по своему «коридору» из осажденного города.

Смешавшись с толпой беженцев, они прошли контроль на блокпосту. Дежуривший лейтенант узнал Антонину Петровну и по-свойски ей улыбнулся:

— Ну, что, мать, нашла всё-таки война?

В ответ Антонина Петровна чуть улыбнулась. Андрей держал её под руку. Когда электричка от Ищерской подходила к Минводам, она, внезапно вспомнив, достала из сумки незапечатанный конверт, который ей вручил перед отъездом генерал Муса. На тетрадном листке было всего несколько слов: «Чтобы доказать свою силу, не обязательно быть на поле брани».

Ни Антонина Петровна, ни Андрей никогда больше не встречались с Мусой. Война продолжалась ещё долго, но никто так и не сказал правды, за что и почему одни люди так ожесточённо убивали других.

ВЕРА

Несмотря на летний месяц, погода в последние дни совершенно не радовала. С утра небо заволокло серыми тучами, которые проливались на землю холодным, каким-то безрадостным дождем. Как нарочно, я забыл дома зонт и, промокнув до нитки, не спешил укрыться от холодных струй, а обреченно шагал по мостовой, равнодушно рассматривая стекла витрин.

Настроение было под стать погоде. Несколько месяцев назад меня, подобно песчинке во время бури, подхватил ветер иммиграции и опустил в красивой, богатой, но далекой и чуждой Германии. Внезапно навалились проблемы, о которых я и не подозревал: бытовые неурядицы, языковой барьер, вакуум общения. И самое страшное: я чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Не звонил телефон, мне не нужно было никуда спешить, меня никто не ждал и не искал со мною встреч.

Редкие прохожие бросали в мою сторону равнодушные взгляды и молча спешили по своим делам. Я был здесь чужим. На душе было горько. Обидно было сознавать свою ненужность в сорок лет.

Погруженный в свои мысли, я совершенно ничего не видел вокруг, а когда внезапно поднял глаза, меня будто что-то толкнуло в грудь. Показалось, что из-за стекла мне в лицо бьет солнечный луч. Я подошел ближе. Через стекло было видно небольшое помещение, заставленное мольбертами и холстами.

На стене, рядом с окном, висела картина, которая и заставила меня остановиться. На ней была изображена какая-то ветхая сельская церквушка, отражавшаяся в протекающей мимо речке. Из-за церковных куполов медленно выкатывалось солнце, озаряя каким-то неземным светом землю, усыпанную увядающими листьями. Казалось, что вот еще одно мгновение и

растает сумерки, прекратится дождь и на душе станет легче. Я прикрыл лицо рукой: неумолимая память уносила меня в недавнее прошлое.

...Зимой 2000 года российские войска вошли в Грозный. Штабисты учили опыт первой чеченской войны, когда за двое суток нового 1995 года были почти полностью уничтожены 131-я Майкопская бригада, 81-й Самарский мотострелковый полк и значительная часть 8-го Волгоградского корпуса, шедшего на помощь умирающим русским батальонам.

Подготовка к штурму мятежной чеченской столицы велась серьёзно и длилась несколько месяцев. Все это время днем и ночью над сожженным городом висела авиация федеральных сил. Ракеты и снаряды сделали свое дело — город практически перестал существовать. Все высотные здания были разрушены, деревянные постройки сожжены, и мертвые дома, молча, смотрели на людей пустыми глазницами окон.

Вместе с тем под завалами продолжали жить люди, в основном — старики, женщины, дети, потерявшие за годы войны близких, жилье, имущество и не желавшие покидать город, потому что в России они были никому не нужны.

Оборона Грозного была поручена Шамилю Басаеву и его «абхазскому» батальону. Федеральные войска должны были окружить город и уничтожить всех боевиков, но Басаев перехитрил российских генералов, и в последнюю ночь перед штурмом увел часть своих боевиков в горы.

Другая часть под видом мирных жителей осела в городе и близлежащих сёлах. В начале февраля разведка донесла, что «чехи» в преддверии очередной годовщины депортации 1944 года готовят к 23 февраля серию терактов. Внезапно в городе появилось много молодых мужчин.

Командование группировкой российских войск приказало усилить гарнизон Грозного сводными отрядами, состоящими из бойцов комендантских рот, ОМОНа и СОБРа.

Так оказался я в Грозном. Мой контракт к тому времени подходил уже к концу, и я очень надеялся, что останусь жив и вернусь домой. Несмотря на бодрые заверения политиков о том, что война в Чечне вот-вот закончится, в Грозном по-прежнему из-под завалов били снайпера, взрывались на фугасах люди и машины. Наша задача была проста: сопровождать колонны, охранять здания и учреждения; если возникнет необходимость, принимать участие в зачистках.

В тот февральский день с утра светило солнце. Выпавший снежок слегка припорошил груды битого кирпича и куски ржавой жести, которыми была усыпана земля. Говорят, в прошлую войну местные жители этими кусками накрывали тела мертвых солдат, чтобы их не пожрали крысы и собаки.

Свободные от службы бойцы вповалку спят на дощатых нарах. Старшина Игорь Перепелицин сидит у раскаленной буржуйки и чистит автомат. Игорь родился в Грозном, здесь служил в милиции, дослужился до офицера. Потом, когда русских в Чечне стали убивать, уехал в Россию, но в «органах» места ему не нашлось. Тогда вместе с казаками Перепелицин уехал воевать в Югославию, потом — в Приднестровье. Ну, а когда началась заваруха в Чечне, он был тут как тут. Его милицееское звание здесь ничего не значит, и Игорь вместе с нами тянет солдатскую лямку. Он знает все о Чечне и о чеченцах. Я спрашиваю:

— Игорек, а с Басаевым ты встречался?

— Ну-у, Шамиль — лошадка темная, учился в Москве, говорят, что даже Белый дом во время путча защищал. Знаю одно, что перед тем, как он появился в Абхазии, его батальон прошел подготовку на учебной базе то ли КГБ, то ли ГРУ. Специально его для Чечни натаскивали, понимаешь? — старшина клацает затвором, нажимает на курок. — А вот Руслана Лобазанова, Лобзика, бывшего спортсмена, знал лично, в одной школе учились. Сильный был человек, волевой, хотя и отморозок конченный. Лучшего друга детства Ису Копейку по его приказу вместе с машиной сожгли. Тоже какие-то шашни с комитетом крутил. После того, как его охранник застрелил, в кармане удостоверение комитетское нашли. — Игорь сплевывает на пол: — Поверь на слово, все они здесь повязаны одной веревкой. Я воюю только потому, что остановиться не могу, война — это как наркотик, затягивает.

— Ну, а когда эта заваруха закончится, что делать будешь?

— На Москву пойду. Соберу ребят отчаянных и на Кремль рвану. Вот тогда вся страна вздохнет с облегчением.

Договорить нам не дали. Прибегает офицер-СОБРовец, кричит:

— Хлопцы! Подъем! «Чехи» из гранатомета рынок обстреляли.

Выезжаем на зачистку. Народ на рынке сразу же разбежался. На грязном снегу лежат несколько мертвых солдат, в окровавленных грязных бушлатах, и несколько гражданских. Над ними уже воют женщины. Мы перекрываем БТРами улицы, ведущие к рынку. Командует майор из СОБРа. Спускаемся в подвал, вместе с нами бойцы ОМОНа, Игорь Перепелицин страшует вход. В подвале живут люди — русские старики, дети. Они испуганной стайкой прижимаются к стене. На стоящей посередине подвала кровати остается сидеть девчонка лет 15–16, таращит испуганные глаза и прячет что-то под подушку. Омоновец наставляет на нее автомат:

— Тебе, красавица, что — особое приглашение нужно или ноги от страха отнялись?

Девчонка неожиданно с вызовом откидывает одеяло.

— Представь себе, отнялись!

Вместо ног у нее торчат обрубки. Какой-то старик кричит:

— Родимые, да мы же свои, который год здесь мыкаемся.

Вера — вообще с прошлой войны сирота, да еще и ноги бомбой оторвало.

Я подхожу и осторожно накрываю ее ноги серым солдатским одеялом, достаю из-под подушки спрятанный пакет. Я — специалист по разминированию, но на фугас это не похоже. Оказалось — краски, обыкновенные акварельные краски. Девчонка смотрит исподлобья:

— Если захочешь забрать, я не отдам.

Омоновец по-крестьянски вздыхает:

— Господь с тобой, дочка. Мы ведь — тоже люди.

Вечером возвращаемся на базу. Нашли несколько снарядов. Этого добра здесь навалом. Задержали несколько мужчин-чеченцев. Одного из них Игорь знает. Что-то спрашивает почеченски. Тот не отвечает. Старшина поясняет:

— Это Ширвани Асхабов. Их шестеро братьев, все боевики. Трое от бомбежек в городе погибли, остальные в горы ушли.

Задержанных доставили во временный райотдел милиции. Игорь что-то долго объяснял дежурному. На следующий день я выпросил у старшины два сухих пайка. За коробку конфет взял в санчасти бинты и лекарства. Пришёл во вчерашний подвал. Никто не удивился моему приходу. Люди занимались своими делами. Девочка рисовала, сидя на кровати. С белого листа на меня смотрела старенькая церковь, ее отражение в осенней воде. Я задвинул вещмешок под кровать, присел на край.

— Как дела, художник?

Девочка улыбнулась бескровными губами:

— Хорошо или почти хорошо. Вот только ноги болят. Представляешь, их уже нет, а они болят.

Мы сидели часа два. Девочка рисовала и рассказывала о себе. История самая обыкновенная, и от этого кажется еще страшней. Мать — чеченка, отец — немец, Рудольф Керн. До войны преподавали в Грозненском нефтяном институте, собирались уехать в Россию, но не успели. Отец подрабатывал извозом и однажды вечером не вернулся домой. Кто-то позарился на его старенькие «Жигули». В то время в городе часто находили неопознанные трупы. Узнав о гибели отца, заболела мама. Не вставала с постели и, однажды вернувшись домой, девочка не нашла ни квартиры, ни матери. Город почти каждый день бомбили российские самолёты, и вместо дома остались одни развалины.

А потом Вера наступила на забытую кем-то мину. Хорошо, что люди вовремя отнесли ее в госпиталь, где оперировали боевиков. Мина — русская, а спасли жизнь — чеченцы.

Мы долго молчим. Я курю, потом спрашиваю, есть ли у нее какие-нибудь родственники в России. Она отвечает, что в Нальчике живет брат ее отца, но он, кажется, давно собирался в Германию. Я прощаюсь и собираюсь уходить. Девочка протягивает мне рисунок и говорит:

— Я хочу написать такую картину, чтобы, глядя на нее, каждый человек поверил в себя, в то, что все у него будет хорошо. Без веры человеку жить нельзя.

Девочка смотрит на меня своими большими глазами, и мне кажется, что она знает о жизни гораздо больше меня.

Я собирался навестить Веру на следующий день, но на войне ничего нельзя загадывать. Наш БТР подорвался на фугасе. Механик-водитель и стрелок погибли, а мы с Перепелицыным отделались контузией и несколькими осколками. Из Буденовского госпиталя я позвонил корреспонденту НТВ Ольге Кирий и рассказал ей историю о девочке, потерявшей на войне ноги. Ольга согласилась помочь найти ее родных и запустила эту историю в ближайший репортаж. Потом она прислала письмо, в котором сообщила, что Веру из Грозного увез ее дядя...

Я стою у темной витрины и пытаюсь рассмотреть подпись на картине. Вера?.. Как же ты мне сейчас нужна, Вера.

Евгений МАУЛЬ

/ Фюрт /



Родился в 1973 г. в Целинограде. С 1993 года живет в Германии. Пишет на русском и немецком. Лектор факультета славистики университета в Эрлангене. Пишет стихи, рассказы, конкретную и визуальную поэзию, концептуальные тексты. Публикации в антологиях, альманахах, лит. журналах Германии, Австрии, США, России, Казахстана, Узбекистана («Крещатик», «Мосты», «et cetera», «День и ночь», «Футурум Арт», «Аполлинарий», «Нива», «Звезда востока» и др.).

СИМУРГ У МЕТРО

На крыше ларька над толпою-змеею,
Над ярким фаст-фудом зубами-клинками,
Над мятыми деньгами руганью скверной
Симург семена чудотворной хаомы
В горсть ветру кладет.

Симург, озираясь, бросает вниз зерна
У черного жерла, ведущего в недра,
Где запах резины и жидкое время,
Где гекатонхейры свою ждут добычу
И тени злых мыслей клубятся-гаумятся.

А люди кричали, а люди кричали:
«Лети прочь, ворона! Лети прочь, ворона!»
И камни летели, и камни летели,
И палка летела, бутылка летела,
И дивные перья летели, летели.

Я в луже грязи меж плевков и окурков
Ищу неустанно, ищу неустанно.
Я в луже грязи между пьяных и нищих
Ищу безнадежно, ищу безнадежно
Прозрений зерно.

НИЗВЕРЖЕННЫЙ ПЕРУН

Высоки да сочны на Волхова берегах травы.
Высоки травы да темны дубравы.
Как слеза чисты ледяные ключи,
Да чернее ночи грачи.

А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами.
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древяной лижет бок бурун.

Не распухнет уже цветок о восьми лепестках,
О восьми лепестках, огненных ростках —
Растоптали капище да хоромы.
Свержен повелитель грома!

Разогнал Добрыня волхвов да по своим домам,
По своим домам да дремучим лесам.
Не измерить Киев старой мерой!
Новая на Руси вера!

А по Волхову-реке плывет не ладья с купцами.
Да не струг плывет с меткими стрельцами.
А плывет по Волхову грозный Перун.
Древяной лижет бок бурун.

Вера новая на Руси да на долгие века,
Лучезарней неба, глубже, чем река.
Но воротится грозный Перун в свой срок
Как святой Илия-пророк.

ДАЧНЫЙ ДИПТИХ

ДАЧА

1

Зюйд-вест, полынное дыхание степей,
Принёс, присвистнул, юркнул в ежевику.
Румянцем покрывается клубника.
Упрямо за плетень цепляется репей.

Бокал тюльпана поднят. Шумно пчёлы
Сирени поправляют свадебный наряд.
Скворца во фраке строгом соло.
Движеньё соков в дачной флоре ровных гряд.

Гуляют в феерических уборах
 Соседа куры — у него всегда меланж.
 Червь старым наслаждается забором.
 В трико кармане — вдохновения карт-бланш!

Присела бабочка на листик хрена.
 Усердно занят рукоделием паук.
 О, дача, истинно, ты Гиппокрена!
 Дом строят муравьи, цветёт зелёный лук.

Бумага стонет под карандашами,
 Крадёт нещадно белизну листа пейзаж.
 Цветы, сорняк, кусты, забор — штрихами
 Ложится на бумагу дачный антураж.

2

Но вдруг со всех сторон императивы:
 «Окучь картошку!»; «Выполи сорняк!»;
 «Полей скорей цветы!»; «Нарви крапивы!»;
 «Водой наполни да краёв железный бак!»

В угол я бросаю карандаш, бумагу,
 Хватаю рьяно тяпку, старый шланг, ведро
 И, разгоняя воробьев ватагу,
 На грядки мчусь — царашнул острый сук бедро.

Врозь мысли, душу полонила смута.
 Полил сорняк — пускай растёт трава!
 Секу картошку тяпкой — эх, трещит ботва...
 Вдруг снова крики... Верно, всё напутал.

ДАЧА ДВА

1

Шесть соток, по периметру забор.
 Здесь вотчина моя, моя парцелла.
 Малины джунгли, яблоневый бор.
 Брюзжание шмелей, птах а capella.

Я здесь владыка. Здесь я жалкий раб.
 Здесь мой элизиум, моя геенна.
 Вгрызаюсь в грунт. С реки — противных жаб
 Глуумливый смех. С лугов — дыханье сена.

Прополка сорняка, полив и гряд
 Прямых окучиванье, сбор малины.
 С благоговеньем сей вершу обряд
 И потчую навозом толщи глины.

Клубники ровные ряды, пион,
 Лесной орех, в теплице кустик чая.
 Мой сад — мой труд. И я, пигмалион,
 Своё творенье громко восхваляю.

2

Сосед мой, скальд, глядит со снисхожденьем
 (Приют поэзии — его уста)
 На труд сей. Он влечёт меня со рвением —
 Портвейн в руке — к ивовым берегам.

Психоделического рока гуру —
 Гитара, тамбурин, диджариду —
 Желают угостить меня микстурой
 Из музыки и травкою из Чу.

Вдруг огненные вырастают розы
 С волшебным ароматом у ворот —
 Гетеры из соседнего совхоза
 Меня влекут в любви коловорот.

Хруст, треск и боль — я выпрямляю спину.
 Торчит наружу мясо из щеки,
 Разорванной в густых кустах малины.
 Кровь — из бинтом обмотанной руки.

Секатором отрезанные пальцев
 Подушечки в сплетениях ботвы.
 На солнце кожа — чешуя плотвы,
 Забытой на плите в кипящем смальце.

3

Увы! Мне стала чуждой эта рать!
 Теперь я не сторонник гедонизма.
 Я заразился дачным мазохизмом.
 «Ступайте прочь! Не смейте мне мешать!»

Светлана ФЕЛЬДЕ

/ Леверкюзен /



Светлана Фельде родилась в 1967 году в России. Окончила факультет журналистики в Казахстане. Десять лет работала журналистом. В 1999 году переехала в Германию. Работала в газете «Восточный экспресс». Была редактором альманаха «Пилигрим». Автор трех книг. Лауреат различных литературных премий. В данный момент работает медсестрой.

ЧАСОВЩИК ИЛЬЯ

В 1935 в цирк дядю Мишу не взяли. И пришлось ему срочно думать, как на жизнь зарабатывать, папа с мамой уже лежали на городском кладбище, пенсий по инвалидности таким, как Миша, тогда не полагалось. Пожалец его старый часовщик — взял к себе учеником, а, умирая, оставил в наследство мастерскую. Больше некому было. Своих детей у старика не имелось.

Дядя Миша проработал в мастерской почти пятьдесят лет. Да нет, прожил, можно сказать. Если задерживался допоздна, то оставался ночевать, спал на диванчике, укрывшись старым пальто. Утром кипятил воду в кастрюле — плитку сам мастерила — пил чай с сахаром вприкуску, с сухарями, потом забирался на стул, включал настольную лампу, раскладывал на столе винтики, болтики, колесики.

Мастером был — одно слово. До сих пор почти в каждом доме города звучат разными голосами его часы, одни — как у Британского парламента, другие — как в церкви Святого Михаила, третьи — ну, прямо аббатство Святой Марии в Лондоне. Если все собрать, точно музей открывать можно.

«Хорошая у меня работа, — говаривал он, — шум времени слышно».

«А какой он, этот шум?» — спрашивал Илья, ничего кроме тиканья, жужжания, поскрипывания не различавший. «Ну, — улыбался часовщик, — поживешь — услышишь».

Илью тоже в цирк не взяли — как-то особых талантов не оказалось. А пенсию по инвалидности хоть и платили, да разве ж на нее проживешь!.. Вот и пошел он учеником к дяде Мише, своему дальнему родственнику — седьмая вода на киселе.

Дяде тоже дело всей жизни завещать некому, завести детей с женой они так и не рискнули. «Все тебе оставляю, Илья, — сказал он, вернувшись от нотариуса. — Знаю, ты в цирк хотел. Не горюй... Кто угадает наперед, может, ты в этой мастерской счастье свое найдешь. Все, что не делается, делается к лучшему».

Илья поменял потом только вывеску на двери, а так все осталось, как прежде: настольная лампа, диван, пальто. Правда, позже пришлось электрический чайник купить, перегорела плитка, не вечно ж ей служить. Один из клиентов, которому Илья отремонтировал фамильную реликвию, доставшуюся от прадеда, швейцарские часы «Тиссо» выпуска семнадцатого года, помог квартиру получить. Повозиться в ней пришлось изрядно, обои новые клеить, двери красить. Спасибо соседям — пожалели инвалида.

Нелегко ему на белом свете живется — чтобы включить свет, приходится вставать на стул. Да и с одеждой — проблемы: в «Детском мире» рубашки то с гномиками, то с воздушными шарами. Стыдно взрослому такое надевать. С брюками детскими тоже целая история: в даину — годятся, в бедрах — узкие. Опять клиенты выручили, жена у одного — портниха. Вот она и обшивала.

Низкий стол и подходящие стулья сделал на заказ безработный плотник.

Да, много всякого приходилось переносить. В автобусе, если и поможет кто взобраться, вечно в пуп дышишь. Или коленом прямо в лицо попадут — кто там, в давке, под ноги смотрит?

В парке у каруселей спокойно не посидишь — дети зовут играть, а когда Илья поворачивается и уходит, вслед кричат: «Выбражала, выбражала...»

Но самое противное — тетка из мэрии, из отдела по работе с инвалидами. Раз в год пришлет «повесточку» — тогда-то и в такое-то время. Пунктуальная — сроду не опоздает. Три раза в дверь позвонит, промарширует в комнату, поставит Илью на стул — а чего ей, когда в самой центнер, — достанет сантиметр из сумки. И приговаривает: «Не дай вам Бог вырасти. Пенсия положена только тем, кто не выше метра двадцати. Не вздумайте расти, не то лишим, лишим!»

Тетка уходила, лилипут сползал со стула — она все время забывала снять его — сиделся на велосипед «Орленок» и ехал на работу.

«Большой мастер Илья, — говорил грузин Рафаэль, державший на углу овощной ларек, — все может. Он вам самые старые часы так починит, любой «Сейка-мейка» по сравнению — тьфу, дрянь последний».

В такие минуты Илье, и правда, казалось, что он большой.

Иногда, когда в парке не оказывалось детей, только взрослые, он разглядывал их, пытался представить, как живет человек, если в нем не метр двадцать роста? Представлялось с трудом. Можно сказать, вообще не представлялось. А уж как жить, если в тебе почти метр девяносто — просто загадка. Это ж сколько тебя всего в высоту, как этой высотой распорядиться — вот о чем подумал часовщик Илья, когда к нему пришла баскетболистка Аня.

«Мне вас Рафаэль посоветовал», — сложились она почти пополам, чтобы заглянуть Илье в глаза. Кстати, глаза у него были шоколадного цвета. И вообще, парень хоть куда. Ловкий, стройный, волосы густые. Да и баскетболистка красивая тоже, между прочим, крепкая — как грецкий орех. Коса русая, глаза синие, талия тонкая. А что такая вымахала — ну что ж, случается.

Все городские газеты писали потом об этой свадьбе: «Почти двухметровая невеста наверняка станет носить будущего мужа на руках...». Бывало, кстати, и носила. На работу — если снега по колено наметало. Ее, конечно, колено. Ну, не совсем на руках, а на закорках. И на смешки, и на анекдоты типа «женился лилипут на великанше» просто не обращала внимание. Точнее сказать, не слышала. Ну, не слышала — и все. К другим вещам прислушивалась. К каким? А вот это уже ее и мужа дело. В общем, сияла и светилась. Глядя на нее, легко верилось в одну старую примету — если дотронуться до маленького человека, станешь счастливым.

А детей у них родилось четверо.

И все они теперь — в цирке. Акробат, жонглер, дрессировщик, конферансье. И если папа приходил на представление один, то никто не верил, что эти двухметровые парни — его сыновья. Но люди вообще во многие вещи не верят. А они все равно случаются.

ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ

По мотивам фильма «Одна сотая секунды», показанного на Международном Манхэттенском фестивале короткометражного кино в 2007 году.

Саманта Ашлей родилась в Берфорде, маленьком городе Великобритании. В семье прачки и дворника. Отец, подметая улицы, твердил: «Профессия дворника способствует творческому развитию личности». А что еще оставалось говорить несостоявшемуся художнику?

Дело кончилось тем, что он спился и умер от цирроза печени. Мать стирала больничные халаты, в свободное время гладила рубашки у богатого дяди по имени Натан. По ночам не спала, растирала опухшие руки. Пела песенки собственного сочинения.

А потом, как в сказке, возникла тетка Магда, которая миллион лет назад уехала в Австралию. Точнее, возникло письмо от нотариуса, в котором сообщалось — племянник тети Магды является в случае ее смерти единственным наследником. А в случае его смерти наследство получают дети племянника, рожденные в законном браке.

На эти деньги Саманта смогла поступить в университет на факультет фотожурналистики и поместить мать в клинику для душевнобольных. Старый седой Антонио, преподававший теорию фотомастерства, учил Саманту: «Если тебя спросят, почему ты так делаешь, отвечай «нужно снимать не только то, что есть, но и то, что будет». И не жалей пленки! Опыт дороже. Только так попадешь на первую полосу.

У неё был роман с редактором, но востребованным фотокопиром она стала не поэтому. Саманта не жалела пленки, и ее фотографии не залеживались у ответственного секретаря.

«Сдурела, — сказал редактор, когда решался вопрос о том, кого отправить в Иран. — Ну и что — колыбель мировой цивилизации. Там же бесконечные теракты. Найди здесь свою тему, прими участие в конкурсе на лучшего фотографа года.

«Обязательно, — сказала Саманта, — когда вернусь».

Сначала было скучно — вереницы теток в чадрах. В ресторанах дорого и невкусно. Толпы туристов с «мыльницами» — в основном американцы и русские. Разве что по рынку у мечети бродит. Хоть какие-то кадры: торговцы мехами и специями попадались довольно колоритные.

А потом — повезло. Взорвали мечеть и несколько близлежащих домов.

«Пригнись! — орал напарник Джон Кайла. — Пригнись, стреляют!» Саманта, прячась за дымящиеся камни, подползла поближе к живописным сюжетам — убитый старик, мальчик, вмятый в велосипед, пытающийся зажать руками дыру в животе молодой мужчины.

Саманта сидела за треугольным обломком стены. Удачная позиция. Все вокруг просматривается. А ее саму не видно. Справа несся с автоматом арабской внешности мужчина, бородатый и черный от ярости. Щелк, щелк. Не жалко пленки. Слева — двенадцати-тринадцатилетняя, по виду, девочка. В светлой европейской юбочке. Она бежала сквозь дым, в руке полотняная сумочка с чем-то круглым внутри. Метрах в пятидесяти от Саманты у обугленной стены дома они столкнулись.

Саманта почувствовала — вот оно, наконец-то.

Щелк, щелк. Она наполовину высунулась из укрытия, оттолкнув шипящего Джона. Щелк, щелк — не жалеть пленки. Бородатый ударил девочку коленом в живот, она согнулась, выронила сумочку, потом распрямилась и укусила его за руку. Бородач вскрикнул, намотал на руку девочки волосы. Девочка обмякла, ее глаза на неестественно вывернутой голове

установились прямо на Саманту. Та от неожиданности опустила аппарат, но тут же опомнилась — щелк, щелк. Не жалеть пленки!

...Саманта приняла душ. Надела свое лучшее зеленое платье. Брызнула на запястья любимые духи редактора (После подведения итогов конкурса он пригласил ее в ресторан.)

Зал был полон. На сцену вышла ведущая. Открыла красный заветный конверт. Торжественно провозгласила — победитель конкурса на звание лучший фотожурналист года — Саманта Ашлей. За фотографию «Девочка». Поздравляю вас, Саманта. Это — настоящий шедевр.

На экране — фотография. Настоящий шедевр. На титульную страницу. У полуразрушенной стены страшный бородач с автоматом намотал на руку светлые волосы беззащитной девочки. И этот ее незабываемый взгляд...

Зал взорвался аплодисментами. Редактор любовно смотрел на Саманту. Поднялся вместе со всеми, аплодировал стоя.

Саманта осталась сидеть.

А потом поднялась и ушла в гостиничный номер. Открыла чемодан, вынула фотографию. У полуразрушенной стены, раскинув ноги, лежала девочка. Без лица. Лица не остается, когда ко лбу приставляют автомат и спускают курок. У ног — персики. Выкатившиеся из сумочки.

Персики растут в Иране круглый год. Можно срывать их с деревьев. А можно покупать вместе с мамой на базаре у мечети, есть немывтыми, слизывая сок, текущий по ладоням...

ЛАВАНДА В ГОЛУБОЙ ВАЗЕ

Можно ли попросить прощения заранее? Думаю, что — нет. Я подумала об этом, когда сентябрьским солнечным утром срезала цветы отцветающей лаванды и поставила их в обыкновенную голубую вазу. «А какое отношение к вазе и лаванде имеет прощение?» — спросите вы. Самое прямое.

Любуясь сиренево-голубым сочетанием и вдыхая успокаивающий запах, я думала о том, что когда-то такие вещи перестанут меня интересовать. Я перестану любить сентябрь с его облетающей листвой, ноябрь с запахом арбузных корок в воздухе, июль с пением сверчков по ночам, май с дождями и грозами. Перестану обращать внимание на то, что давно не покупала обновок и забуду о том, что крем для лица лучше всего использовать оливковый, сделанный где-то в Тоскане.

Может, конечно, все будет иначе. Иначе тоже случается. До наступления всего этого. А если нет? Вот именно за это время, коли оно придет, я и хотела попросить прощения у своего сына.

Ему двадцать. Он уже пережил переходный возраст, точнее, мы пережили его все вместе. Он пережил разочарование первой влюбленности и первый разрыв с девушкой, в которой не чаял души. Он еще не встретил настоящего друга. Он еще не знает, какая специальность ему по душе. Но у него все еще будет — и друг, и любимая работа, и любимая женщина. Я точно это знаю. Мне сорок четыре. Мне повезло встретить настоящего друга. У меня была любимая специальность. У меня случилась любовь — такая, которой не найти повторения. Взросление открыло мне много нового в себе — я стала любить цветы и написала — если верить знающим людям — пару хороших рассказов. И постепенно почти научилась прощать то, что в двадцать лет казалось концом света. Да, так вот, я о прощении. Потому что эти мысли приходят в голову в сорок четыре года, а не в двадцать. Особенно если для них есть повод — уже несколько лет я работаю в доме для престарелых. И точно знаю, о чем говорю. Мой дорогой, мой единственный, мой любимый мальчик! Прошу простить меня за то, когда я начну пятнадцать раз спрашивать тебя о том, о чем ты мне уже говорил. Пятнадцать раз. За то, что я перестану интересоваться твоими делами и жаловаться, будто ты не приходишь месяцами, хотя на самом деле ты бываешь у меня почти каждый день.

Прошу у тебя прощения за то, что тебе придется выслушивать мой монотонный бред-бормотание, запикивать в мой беззубый рот манную кашку, а она будет течь по подбородку, выносить мой бессмысленный взгляд, не узнающий тебя. За то, что я буду цепляться руками за шторы над кроватью и утверждать, будто это паруса и мы сейчас должны куда-то отплыть, а красный чемодан остался стоять дома у дивана. И нужно срочно ехать назад, иначе как же без чемодана. За то, что буду требовать выгнать из комнаты посторонних людей, указывая на стоящее у окна кресло-каталку. За то, что буду кричать ночами и нервировать медсестер, понятия не имеющих о том, как мне помочь. И они с вежливыми улыбками станут рассказывать тебе о том, как плохо я сплю.

За то, что перестану есть и пить и тебе придется «дать добро» на то, чтобы меня оставили в покое. Ты будешь не спать и думать, что не стоило соглашаться на роль моего опекуна и подписывать документ, в котором я своевременно озвучила все свои желания, а именно: когда моя жизнь подойдет к концу и я перестану проявлять естественные человеческие потребности, то отказываюсь от искуственного питания и экстренной врачебной помощи с целью продления существования.

Дорогой читатель, ни в одном написанном здесь слове нет ни пессимизма, ни уныния, ни желания нагнуть на кого-то депрессию. Есть просто желание попросить прощения сейчас, теперь, пока это еще можно сделать совершенно осознанно. Заранее.

Надеюсь, что такое все-таки возможно.

Надежда РУНДЕ

/ Дингольфинг /



Поэт, критик, журналист. Родилась в 1971 году в Казахстане. Окончила факультет русской филологии Кустанайского государственного университета. Автор сборника лирики «Синегория», а также многочисленных печатных и электронных книг для детей на русском, немецком и английском языках. Постоянный корреспондент кёльнской русскоязычной газеты «Контакт-Шанс», сотрудничает с «Deutsche Allgemeine Zeitung» (Алма-Аты) и «Московской Немецкой газетой», с 2012 года с немецкой редакцией радио «Голос России» (Stimme Russlands). Была членом жюри междулит. конкурса «Сказка сегодня», проводившегося в Германии в 2012 году.

ПОСОХ ДЫМА

Старый дом и детство птичье
 К голубиным белым парам,
 Где туманы дольки лилий
 Обдают молочным паром.
 Отпылает время в вишнях
 Спелой мякотью рассвета,
 Отгорит над бедной крышей,
 Как горячая монета.
 И забродит ветер трубно,
 Посох дыма кинув в ноги,
 И огнём рябины крупной
 Разведёт, как дни, дороги.

Мой выход из пространства одинок
 Моё искусство — тени фиолета.
 Я — неба обвалившийся кусок,
 Большой лоскут сгоревшего сонета.

Я — сгнивший сад, потомок старых куц,
 Проталинного снега прободенье,
 Я — истукан животных мёртвых душ,
 Неистребимо ищущих продленья.
 И как звезда, истлевшая насквозь,
 Протиснулась сквозь зыбь подземной пыли,
 Я медленно из времени возрос,
 Чтоб на земле меня провозгласили.
 Здесь в новый рай душа моя сквозит
 И я стою попутно у распутья,
 А голос надорвался и осип —
 Слова ломаю в горле, словно прутья.

ДВЕ СНЕЖИНКИ

Мы растаяли с тобой...
 Мы растаяли... Расстались...
 Ты и я одной строкой
 На странице не вмещались.
 Снег летел — никем не зван —
 Бельим светом, беглым звоном...
 Жарко было. Снились нам
 Чьи-то тени по иконам.
 Чей-то ветер из ворот
 Зарывал следы, как лица.
 Время шло наоборот...
 Холод прятался в страницах.

* * *

Так дружно молекулы влажных дождинок
 Сверкали. Как будто из ложки монокли
 Смотрели, как белые яблоки жили
 И в листьях зелёных, лохматые, мокли.
 Их ветром холодным с боков обдувало,
 Их глухо бросало под дерево с ветки,
 И градом студёным им осень, бывало,
 Как оспины, ставила жирные метки.
 А дождь ни за что не хотел униматься,
 По небу, блестящий, как зеркало, плавал.
 Под ним слов и яблок продрогших орава
 Таилась... В саду им хотелось остаться.

* * *

Меж нами нет ни боли, ни обмана.
Живой отец, из окон смотрит мама,
И в доме вазы полные цветов,
И ты меня за все прощать готов.
Хочу в один с тобою поезд сесть,
Мы счастливы, у нас ребенок есть.
Мы на экскурсии в соседнюю страну,
Ты молод и влюблен в меня одну.
Вот наше чадо. Девочка ли, мальчик!
В рисованную книгу тычет пальчик.
Смех звонкий по вагону раздается.
Нам жизнь вдвоем пока что удается.
Еще мы не сменили ориентиры,
Не разменяли дом на две квартиры.
И не случилось ничего такого...
Ни встретил ты другую, я — другого.
Не знал ребенок ничего об этом,
Жизнь для него была сплошным секретом,
И на экскурсию в соседнюю страну
Наш поезд мчал вперед по полотну.
Немноголюдно, хоть и воскресенье.
Мы едем вместе. Нам не до веселья.
Ребенок вырос. Едем мы одни,
Но оба вспоминаем эти дни.

11.01.2013



Вальдемар ВЕБЕР

/ Augsburg /

Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Пишет на русском и немецком. Родился в 1944 году в Сибири. Окончил Московский Ин'яз. Автор нескольких книг стихов и переводов. В 70–90-х годах был составителем и переводчиком многих известных антологий немецкой поэзии на русском языке. Русскую прозу и поэзию публиковал в журналах «Знамя», «ДиН», «Новый мир», «Нева», «Крестьянин», «Арион» и др. Руководил семинаром в Литинституте им. Горького. С 1992-го по 2002-й преподавал в университетах Граца, Инсбрука, Вены, Мангейма, Пассау. Переводился на французский, английский и болгарский.

БАВАРСКИЙ ПОРТНОЙ

Мартин Краузе находился в плену четвертый год, когда его рабочую группу переместили в Ивановскую область. Пилили лес, ошкуривали стволы, бревна к трассе тащили лошадьми волоком — на торфяной почве грузовики и тракторы малопригодны.

1946 год был суровее предыдущих. Кормили все хуже. На рабочую норму не снижали. Каждый день кто-нибудь умирал. Рацион охранников и вольнонаемных тоже стал скуднее. Видимо, и там, по другую сторону колючей проволоки, было несладко.

Время от времени их посылали забрать провиант на железнодорожной станции Южа, за двадцать километров от лагеря. Десять человек тянули сани в сопровождении охранников с автоматами. Продукты предназначались заодно и для соседнего русского лагеря. Случалось, пленные и зэки работали на одном объекте. Их лагерная жизнь мало чем отличалась, но со своими охранники обращались бесцеремонней.

В середине марта морозы стали отступать. На родине Мартина у подножья Альп весна начиналась неожиданно и бурно, задувал влажный горячий ветер и сжигал снег.

Здесь весна продвигалась медленно. Снег на полях и в лесу таял неделями. Пахло землей и сырой корой. Всюду клочки снега, а орех уже цветет желтыми сережками, раньше листвы; зеленеют вдоль ручьев дужайки.

Когда снег сошел, сани для доставки продуктов сменила фура. По пути на станцию, проходя по высокой насыпи плотины, они видели женщин-зэчек, работавших по пояс в ледяной апрельской воде, увлажнявших и разбивавших на куски торф, чтобы забирать его потом насосом.

В самом начале мая в лагерь неожиданно нагрянула делегация из нескольких офицеров. Пленных построили перед бараками, и высокий чин спросил через переводчика, у кого есть опыт крестьянской работы.

Сразу подняли руки лишь несколько человек. Мартин медлил. Он, хоть и вырос вдали от большого города, на земле никогда не работал, лишь порой помогал матери в собственном саду. Не хотел блефовать, опасался разоблачения. Сосед в строю, уже вызвавшийся, прошептал, не поворачивая головы: Мартин, смелее... И Мартин решился.

«Крестьян» набралось около шестидесяти. Младший офицер на месте отобрал двадцать человек. Мартин попал в их число.

Пленным объявили, что их направляют в колхоз. На большую телегу водрузили котел, мешки с отрубями, зерном, картошкой, одежду, лагерные одеяла. Выдали канаты и веревки.

«Бурлацкий» опыт у них уже был. Оглобля соединили перекладной, и десять человек, по пять с левой и правой стороны, поволокли повозку на канатах по едва просохшей дороге. Остальные шли сзади, сменяя передних, когда те уставали. Сопровождать пленных назначили всего одного охранника — фронтовика, побывавшего в Германии и знавшего несколько слов по-немецки.

Некоторые деревья уже начинали распускаться. Крохотные листочки берез блестели на солнце. Во время коротких остановок — сменяли «лошадей» — Мартин подходил к обочине, срывал с кустов набухшие почки и растирал между пальцами. Ладонь становилась липкой и пахла смолой.

Через пять часов пути, выйдя из очередного перелеска, они оказались на высоком берегу реки, петляющей между пологих лесистых холмов. «А вот и Клязьма. Теперь уж неподалеку», — неожиданно сказал охранник. Таких «неуставных» слов раньше от него не слышали.

Дорога шла берегом, и вскоре за одним из холмов показались пятиглавый собор с колокольней и первые дома деревенской улицы, уходившей от собора под гору.

До отправки в Ивановскую область Мартин за все годы плена еще не попадал в места, куда не дошел фронт. Вначале был Смоленск, потом Минск, Брянск, Сталинград — везде руи-

ны. Он впервые оказался там, где не падали бомбы. Дома низкие, старые, крыши соломенные, но следов войны нет. Только купола церкви почему-то без крестов.

Перед церковной оградой толпились жители села, в основном женщины. День выдался теплым, но еще по-майски ветреным, и на женщинах, обутых в бахилы с галошами, темнели жакеты и телогрейки, головы — в платках и косынках. От толпы отделился однорукий мужчина в офицерской шинели без погон; в сапогах, левый пустой рукав заправлен в боковой карман. Хмуро поздоровался с охранником и довольно долго молчал, с недоверчивым интересом разглядывая прибывших, но вот глаза его улыбнулись и он, словно на митинге, крикнул: «Добро пожаловать в Дмитриевское, comrades! Я тут председатель. Звать меня Кольцов Николай, по прозвищу Безрукий. Рука моя где-то там у вас в Германии валяться осталась, — сказав это, он резко хохотнул и несколько секунд помолчал. — Решили, значить, помочь колхозу?! Правильно решили, мужиков, сами видите, у нас немного. Но сёдня вы уже потрудились, — он показал глазами на телегу. — Отдыхайте. Утром... — он позвал из толпы молодую женщину, та упрямо подошла, смотря в землю и смущаясь, — ... утром Зина, нормировщица, скажет, чё делать».

Мартин мало что понял из слов председателя. Поразило слово «comrades». Так обращались друг к другу сами пленные.

Охранник на слова председателя снисходительно ухмыльнулся и объявил: «Никаких отбоев. Гнездышко будем вить». И, обратясь к председателю, добавил: «Показывай наш скворечник!»

Председатель повел их вокруг собора, позади которого вытянулись в ряд несколько старых кирпичных монастырских строений. В одном — конюшня, в другом — кузница, в третьем — колхозный склад, в четвертом, самом вместительном, предстояло расположиться.

Нары не сооружали. Натаскали на деревянный пол соломы, сена, покрыли дерюжным тряпьем. Прикатили со склада несколько бочек, наполнили водой. Прямо во дворе сложили из битых кирпичей очаг, установили на него котел — получилось что-то вроде летней кухни. Тут же назначили и повара.

На вечерней переключке охранник без всякого на то повода объявил, что его, между прочем, Сашей зовут. После отбоя он куда-то исчез и вернулся далеко за полночь. Спал охранник в одном здании с пленными, правда, в отдельной комнате, бывшей монастырской келье.

Новая ситуация вызывала в Мартине не только удивление, но и чувство нереальности происходящего, а вместе с ним тревогу. Впервые они целыми часами оказывались без присмотра. Еду выдавал повар-земляк. И хотя новое жилье охранник по привычке называл «лагерем», никто на них не кричал, не подгонял. Когда они в первый день без сопровождения ходили с

ведрами к реке, чтобы залить бочки, Мартин долго смотрел на противоположный низинный берег, с которого несколько дней назад сошла талая вода, и луг уже подернулся нежной светло-зеленой пеленой первых ростков травы. Луг переходил в хвойный лес, и казалось, что там, в этой бесконечной дали, ни души. Но даже в мыслях не было воспользоваться этой «свободой». И все же на сердце было неспокойно.

После утренней поверки и завтрака из деревни послышался звон, напоминавший удары колокола. Охранник построил пленных и повел на звук. У здания сельсовета на столбе висел кусок рельсы, по которому женщина в телогрейке колотила молотком.

Со всех сторон на звон рельсы стекались люди. С лопатами, тямками, кирками. Подходили к небольшому столу, стоявшему у крыльца под открытым небом, и нормировщица Зина регистрировала пришедших.

Когда распределяли по бригадам, к Мартину вдруг обратилась девушка в сером комбинезоне, небольшого роста, круглощекая и голубоглазая: «Я — Люба!.. Моторен машинен ферштейн?» Мартин пожал плечами: «Да не очень, чтобы...»

— А не важно. Мне помощник нужен, велели самой выбрать. Ты вот мне приглянулся, — она захохотала. — Пойдем со мной! Komm!»

Она повела его назад к собору, и ему было так странно и опять же тревожно шагать по русской деревне рядом с местной девушкой, встававшей в свою веселую речь немецкие слова, по залитой весенней синью широченной улице, над которой носились ласточки и дрозды, а из труб домов вился пахучий дым.

Люба отперла двери собора, показавшиеся Мартину чересчур широкими, похожими скорее на ворота. Он перекрестился на образ Христа на фронтоне, сильно поблекший, но хорошо узнаваемый. Люба расхохоталась. Мартин ступил в помещение и на месте алтаря увидел... трактор. Под трактором зияло широкое углубление, оказавшееся ремонтной ямой. У одной стены стояли два больших мотоцикла с прицепами и лежала гора тракторных деталей. У другой расположились слесарный верстак, небольшой горн и наковальня. Люба объяснила, что это отделение колхозной МТС, она — трактористка, сама себе в мастерской хозяйка и готовит технику к севу.

Трактор был старый, колесный, образца 20-х годов, но, как уверяла Люба, еще хорошо работал. Вот только запчастей не хватает, приходится самой вытачивать, паять, сваривать.

Работая, она все время что-то щебетала и пела. Мартин подавал ей в ремонтную яму инструменты. Постепенно он стал входить в курс дела, занялся поврежденными мотоциклами.

Люба приходила на работу с двумя небольшими словариками, оставшимися еще от техникума. Мартин за три года пленя тоже кое-чему научился. Его русский вызывал у Любы взрывы смеха. А у Мартина от ее немецкого щемило сердце.

Лагерный устав нарушался все чаще. Даже ритуал утренней проверки соблюдался не всегда. В соседней деревне в четырех километрах от Дмитриевского была школа. С учительницей охранник Саша завел шашни, уходил к ней на ночь и частенько опаздывал на утреннюю переключку. Видимо, совсем потерял голову. Председатель, с которым он сразу сдружился, его подстраховывал, сам забирал пленных на работу. Узнай об этом в лагере, конвоиру бы несдобровать.

Как-то Мартин спросил Любу:

— А ты дома тоже в комбинезоне ходишь?

— Нет, в платье.

— А сколько у тебя платьев?

— Два.

— Всего два?

Люба надула губы.

— А зачем больше? Одно для дома, другое на танцы. Правда, они немодные. Отрезы есть, а шить некому.

— Хочешь, сошью?

— Ты?

— Достань машинку, здесь и сошью.

Он показал на верстак.

— А могу и без машинки. На руках. Тогда дольше.

— А ты что, портной?

— Да.

— Настоящий портной?

— Ну да.

— А какой — женский или мужской?

Мартин посмотрел в словарь и ответил с ударением на первом слоге:

— Любой.

Люба захохотала, запела, закружилась

— Хороша я, хороша! Помощничка приискала!

На следующий день она сообщила Мартину:

— Тебя начальник наш, Кольцов, зовет. Дело к тебе есть.

— Мой начальник — Саша, охранник.

— Саша не возражает. Они вчера вечером на пару с Кольцовым бутыл самогонки выдули.

Дом Безрукого, бревенчатый, двухэтажный, с балконом и верандой, стоял лицом к Клязьме. Туда же выходили и окна просторной горницы. За большим столом на длинных лавках сидели председатель, какой-то офицер и несколько женщин. На офицере — расстегнутый китель с орденами, накинутый на майку.

Четыре звездочки на погонах, значит капитан. Мартин взял под козырек. Знал: это всегда производит на русских военных хорошее впечатление. Капитан, не вставая, одобрительно кивнул.

Женщины с напряженным любопытством разглядывали Мартина. Тот стоял навытяжку, высокий, худущий, в вылинявшей штопаной-перештопаной немецкой солдатской форме; пилотка на русской голове делала узкое лицо еще длиннее.

«Садись, — сказал офицер. — Есть хочешь?»

Мартин еще ни разу не сидел в присутствии русского офицера. Но приказу подчинился, сел. На столе — пустые алюминиевые миски и граненые стаканы. Вопрос Мартин понял, но не знал, как на него реагировать.

— Да не спрашивайте вы его, — засмеялась Люба. — Неужто не хочет?

Появился самовар и горшок дымящейся пшенной каши. После каши подали овсяные оладьи, мед.

Мартин жадно ел, еще не понимая смысла происходящего. Подозрение возникло в нем, лишь когда заметил в углу швейную машинку с ножным управлением.

Наконец самовар и миски убраны, стол застелен полотняной скатертью, капитан подходит к большому сундуку с металлическими скобами и поднимает скрипящую крышку. Он начинает вынимать оттуда разноцветные яркие отрезы тканей и раскладывать их на столе, на диване, на лавках — и вскоре комната походит на пошивочное ателье. Тут и шелк, и крепдешин, и габардин, и батист, и ситец... Затем появляются журналы, много журналов. В основном немецкие, но есть и другие, на незнакомых Мартину языках.

Капитан знает по-немецки не больше Любы, торопливо листает журналы, тычет в страницы с выкройками нарядных женских платьев. «Это я и Колька, — он показывает на председателя, — все с Дойчланда привезли. Для баб своих, фрау, швестер...».

Капитан подходит к швейной машинке и говорит: «Не надо арбайтен в МТС. Надо арбайтен на машинке Зингер. Чтобы майне фрау была вот как эта!» Снова тычет в журнал: «Так вот можешь?»

— Да, — отвечает Мартин по-русски. У женщин вздох облегчения. Все улыбаются. Капитан просит принести швейные принадлежности: нитки, наперстки, ножницы, аршин, мел, наборы иголок. — Это тоже с Дойчланда, к машинке прилагалось.

С этого дня место работы Мартина — дом председателя. Утро начинается как у всех с переключки и лагерной кормежки. У Кольцова его тоже ждет еда, он знает об этом, но съедает и лагерную пайку. Лишь затем направляется к дому председателя.

Там на столе горницы уже стоит большая миска каши и стакан топленого молока, только что вынутого из печи. Когда ему предлагают добавку, он не отказывается, хотя сыт, как никогда еще за все время плена. Он помнит о голодных галлюцинациях, о том, как тайно от надзирателей жевал подорожники, щавель, одуванчики, молодые почки, листья, кору деревьев, как ел ежей и лягушек.

И вот после стольких лет лагерной грязи и холода — чистая комната, в печи потрескивают дрова, на подоконниках — цветы в горшках, на кровати, отгороженной полупрозрачной ширмой, взбитые подушки и цветастое покрывало. Ситцевые занавески колышутся на окнах, на сосновом светлом полу играют солнечные лучи.

Капитан торопился ехать по новому назначению. Поэтому его жене Мартин шил первой. Она выбрала в журналах несколько фасонов. Фигура у нее стройная, но нестандартная, широкие плечи и бедра, к тому же предпочитает пышные платья со складками на талии, плечах и юбке. Мартин боится ошибиться, поэтому просит ее снять платье.

В его прошлой практике этот момент всегда был щекотливым, клиентки реагировали по-разному. Чаще всего им пришлось преодолевать свое смущение. В мастерской Мартина они раздевались в отдельной комнате, куда закройщик заходил, чтобы снять мерку.

В доме Безрукого в этот час только женщины. Капитанша, словно только и ждала просьбы Мартина, тут же при всех сбрасывает платье и остается в короткой комбинации и чулках на резинках.

Такой непринужденности Мартин не ожидал. Ну да, для нее он всего лишь пленный, существо бесполое. Однако в процессе шитья капитанша еще и еще раз просит сделать новый замер. Перед этим душитесь и красит губы. Платьями она довольна. Перед отъездом полупшепотом уверяет, что скоро обязательно вернется, вот только обустроит немного быт мужа на новом месте и сразу вернется. Она еще не все пошила, а отрезов у нее видимо-невидимо.

Платья для жены капитана Мартин шил целую неделю. С обновками для жены председателя, сестры капитана, полнова-той и низенькой, справился гораздо быстрее. Возвращалась бы-лая сноровка.

Мимо внимания женщин это не прошло. Меж собой они решили, что Мартин, получая усиленное питание, все больше набирался сил. Если лучше кормить — будет быстрее работать.

Свояченицы председателя и его жены, для которых он теперь шил, — почти все вдовы. Ободренные поведением жены капитана, они совсем не конфузились. В доме воцарилась праздничная атмосфера, и церемония замерки и примерки со-вершалась часто под звуки трофейного патефона.

Избежать прикосновений невозможно. Особенно при объеме груди, бедер, длины юбки. Близость женского тела кружила голову, возбуждала. Но одновременно усиливала чувство одиночества. Засыпая в лагере, Мартин вспоминал об этих мгновениях и ощущал себя несчастным.

То и дело ему предлагали прервать работу, поесть. Белый и серый хлеб деревенские едят редко — свои запасы кончились, купить негде. Мяса не ели уже многие годы. Из скотины — только корова. Если её пасти, она сама себе корм найдет, на многие километры вокруг трава не кошена. Да и сеном запастись можно. А поросят кормить нечем. Дай бог себя прокормить. Но для Мартина после трех лет лагерной баланды и непропеченного хлеба гречка, овсянка, картофельное пюре, пареная брюква, тертая редька, политая постным маслом, головки лука, а иногда даже яйца вкрутую — райская пища.

Порой ему совсем не хотелось есть. «Ешь впрок!» — приказывал себе. Уже через неделю стала исчезать костлявость, кожа на скулах разгладилась, порозовела, плечи и руки налились.

К середине июня с разрешения охранника Мартин перестал возвращаться в лагерь к обеду и ужину. Но не потому, что решил отказаться от лагерной еды, а из-за нехватки времени. Уходил теперь на работу раньше всех и возвращался к ночи.

Однажды утром до работы он забежал к Любе в собор, чтобы снять с нее мерку. Во время недолгой процедуры она замирала от страха, что их при этом застанут, умоляла не шить ей вне очереди, еще подумают что-нибудь. Мартин обещал работать тайком.

На пике лета женщины деревни встревожились. Срок пребывания пленных в деревне ограничен. Еще два летних месяца, может быть, начало осени — и их отправят назад. У нормировщицы Зины тоже была швейная машинка, и она стала выражать недовольство: у председателя, мол, шьют только своим. И действительно, Мартин шил в основном жене председателя, ее родственницам и подругам, дальше ждали свой черед работницы сельсовета. Те, которым уже пошили, щеголяли в своих нарядах на вечерних гулянках.

И тут остальные взбунтовались. У многих были свои отрезки, лежавшие в комодах с еще довоенных времен. Минуя дом Безрукого, они стали приносить материал для шитья прямо в лагерь к Мартину и складывать в комнате охранника Саши. Жаловались на председателя. Охранник сказал Кольцову, что ему этот «базар» не нравится, и что захоти он только, всякое шитье прекратится. К тому времени он уже бросил учительницу, нашел себе краля поближе, в самом Дмитриевском. Она оказалась в стане недовольных. По приказу Саши Мартин переехал в дом к Зине.

У Зины клиентура другая, не особенно разбирающаяся в моде. Некоторые приходили со своими старыми платьями, просили перешить их по новому образцу. Что они под этим понимали, объяснить не могли. Поэтому полностью доверились вкусу Мартина, который за отсутствием выкроек сам придумывал фасоны.

Теперь сам охранник Саша определял, кому шить, а кто подождет. Был, например, такой случай. Рядом с деревней находился солдатский приют с лазаретом. Один солдат лежал в лазарете больше полугода, а когда вылечился, поселился в Дмитриевском и вызвал с родины жену. Саша распорядился жене солдата пошить вне очереди.

Любино платье, наконец, готово. Здесь, у Зины, можно не таяться. Здесь отношения проще, без всяких там субординаций. Хотя Люба и входила в круг председательских приближенных, ей засчитывается, что она дождалась своей очереди. А ведь могла бы и вперед протиснуться. Без нее в колхозе не обойтись.

Мартин сумел бы сшить Любе и на глаз. Могла бы вообще не приходиться на примерку. Но Мартин уже несколько недель только и грезит об этом.

Переодевшись за ширмой, Люба выпархивает на середину комнаты. Несложный фасон, простая ткань, но что-то в этом платье отличает его от всех, сшитых Мартиным до сих пор. Она, как всегда, хохочет, и Мартину на мгновение кажется, что и Люба, и машинка Зингер, и все сшитые им платья — из какого-то другого нереального мира, из сказки, снящейся ему на нарах в бараке... Он глядит на кружащуюся по комнате Любу и вдруг понимает, как беспощадно она для него недоступна.

«Ой, Любка, куда же ты в таком платье пойдешь, тебе теперь только в Иваново на демонстрацию!» — говорят женщины, и просят Мартина сшить им в точности такое.

Он все больше полнел. Первое время полнота из-за роста в глаза не бросалась. А когда стала явной, привела женщин в восторг. Их нисколько не смущал его округлившийся живот. Говорили: посолиднел, возмужал...

И здесь, у Зины, каждая, проходя на примерку, обязательно приносила с собой что-нибудь съестное. Пока Мартин ел, женщины сидели рядом, уходили, когда убеждались, что всё съедено. Они словно соревновались, кто лучше готовит. Одна замариновала грибы. Другая приготовила рыбные котлеты. Третья принесла горячие пельмени с зайчатиной. И все внушала Мартину, что он должен больше есть, тогда, мол, успеет всех

обшить до отъезда. Порой ему хотелось поговорить с ними о чем-нибудь другом, не о еде. Но слов не хватало, и в ответ он лишь молча улыбался.

Он стал апатичней, молчаливей, ходил тяжело, вразвалку. Но ни у кого это не вызвало беспокойства.

И опять обед, и опять ужин. Щи, рыба, грибы, варенье. Порции становились все больше. Самовар кипел целый день. Когда чай надоедал, на стол ставили молоко или морс.

Он уже давно не ходил по воскресеньям с товарищами в лес и на речку, весь день проводил на своем матрасе. Объяснял, что ему надо отлежаться, набраться сил, что много заказов, а так не хотелось бы разочаровать ни одну из женщин.

Наступил сентябрь. Светило солнце бабьего лета. А Мартин становился все мрачнее, неразговорчивей. Как-то во время обеда, отодвинув тарелку, он сказал Зине, что не может есть, что у него болят живот и особенно спина.

Он продолжал ходить на работу, но отказывался от еды и даже питья. Сидел за машинкой с толстенной багровой шеей, желтым лицом и покрасневшими глазами. По несколько раз в день его рвало. Зина поила его отварами из трав. Он пил их через силу, но и травы не помогали.

Однажды утром он не встал на утреннюю поверку.

Мартин болен! В селе началась настоящая паника. Женщины бросали работу, бежали к церкви и шумно толпились у ограды.

Председательская вертушка в Дмитриевском как назло вышла в тот день из строя. Саша, охранник, помчался на мотоцикле за четыре километра в школу, где стоял единственный на несколько деревень телефон. К вечеру приехал грузовик, и портного увезли.

Проходили дни, а Мартин всё не возвращался. К концу пребывания лагерный режим пленными с попустительства Саши практически не соблюдался. Они без всякой охраны разгуливали по селу, ходили к женщинам помогать по хозяйству. Перезнакомились с ними, когда вместе ездили на лодках косить камыш на луговой стороне.

В последние дни сентября собирали вместе картошку. Трактор к тому времени сломался, пытались применить лошадей, но мужчин было мало, а пленным лошадей и плуги не доверили. Решили собирать вручную.

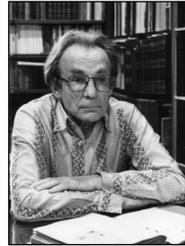
Работая рядом с женщинами, каждый на своей полосе, пленные удивлялись, что на равном участке поля они тратят в два, а то и в три раза больше времени, чем женщины. Оказалось, те только срывают ботву, а собирают лишь часть картошки, остальную оставляют в земле, чтобы ночью выкопать для себя. Если не успевали до заморозков, выкапывали мерзлую, на самогон и такая годилась.

В октябре пленных вернули на лесоповал. Здесь они узнали, что Мартин потерял сознание уже по дороге в больницу и больше в себя не пришел.

Женщины в деревне о судьбе Мартина, скорее всего, ничего не узнали. Еще долгие годы они носили сшитые им платья. В Дмитриевском до сих пор, когда обновы особенно нравятся, говорят: точно Мартин пошил.

Роберт ЛЕЙНОНЕН

/ Лауша /



Родился в 1921 году в Петрограде. По материнской линии российский немец, по линии отца — финн. Жил в Копейске под Челябинском, куда был выслан по национальному признаку во время блокады Ленинграда. В возрасте 49 лет закончил заочное отделение университета в Уфе (германистика), сотрудничал с газетами «Нойес Лебен» и DAZ. В 1982 г. вернулся в Ленинград, откуда в 1991 г. переехал в Германию. В соавторстве с доктором истории Эрикой Фогт издал в 1998 г. двухтомный труд «Deutsche in Sankt-Petersburg» («Немцы в Санкт-Петербурге»), удостоенный в 2000 году диплома премии Н. Анциферова. В 2011 году в Германии к 90-летию автора вышел сборник его избранной лирики на русском языке «Тебе писал я строки эти...». Живет в городе Лауша (Тюрингия).

ВЕЧНЫЙ МРАМОР

Умереть я хотел бы в горах.
Чтоб из гроба мой труп не украли,
чтоб покоился вечно мой прах
где-то в камнях седых на Урале...

Будет солнце мне с неба светить,
и гроза сотрясать будет скалы,
а могилу мою посетить
мало кто расхрабрится, пожалуй.

И не крест здесь, не кол водрузят,
не какой-нибудь столб со звездой:
тут вершины мои встанут в ряд,
караулом замрут надо мною.

Их не сдвинет бульдозер эпох
и потомков бесчувственных злоба.
Не услышу: «В блокаде б ты сдох!»
в склепе мраморном лёжа, без гроба...

Буду знать, что по тихим ночам
ты звездой мерцать будешь в небе,
или звёздочкой снежной к ногам
припадёшь в разметеленном снеге...

Здесь обнимемся крепко в горах,
как в мечте — среди скал, на Урале...
Но не мы, а сердца наших прах —
про живых вам по злобе наврали...

1982

ДАЛЬ

Сизым маревом,
снежным заревом
затянулася даль белесая.

И полей простор
не охватит взор —
степь широкая и безлесая...

Вдаль один бреду.
Где приют найду,
запашок деревушки учюя?

Разгляжу дымок,
где пригреться б смог.
Так устал! Отдохнуть хочу я...
Чуть тащусь, не спеша,
леденеет душа,
коченеют руки и ноги.

А дымка не видать!
Кабы только не сдать,
не свалиться в степи на дороге...

Сизым маревом
даль захмарена.
Выходи, дорогая, встречай!

Мне брести по ней
без твоих огней
больше мочи нет... Выручай!..

1983

РЮКЗАК

Идёт старик. Несёт рюкзак.
Дугой согнуло. Вот чудак!
— Скажи, папаша! В чём нужда,
таскаться с ним туда-сюда?

— Сынок, и я когда-то шёл
по жизни налегке.
И жить мне было хорошо,
и пусто в рюкзаке.

Но год от года за спиной
всё рос мой кузовок.
Набили финскою войной
армейский вещмешок.

Войны второй взвалился груз,
блокада и мороз.
Нацист кричал: «Сдавайся, русс!..»
А я мешок свой нёс.

Тащила рюкзак пятнадцать лет
по ссылке, всё продув.
И лишь за то, ч т о б а б к и н д е д —
немецкий стеклодув.

В лицо плевок: «Ты немец, гад!
Забудь качать права!»
Там, в рюкзаке, они лежат,
те тяжкие слова.

Вот так всю жизнь рюкзак и нёс
на каждый перевал,
как свой нелёгкий крест Христос.
И падал, и вставал...

Не думай, сын, что я один!
Нас много стариков,

не разогнуть которым спин
под грузом рюкзаков.

А если сила есть в руках,
и духом ты герой,
поройся в наших рюкзаках
и тайны их раскрой!

Пусть люди знают, что и как —
не зря же я тащил рюкзак,
и сотни тех, чей скорбный путь
вдруг оборвался где-нибудь...

1990

ОТЕЦ

Труп скрюченный отца, лежащий под столом
в замёрзшей комнате с растерзанным окном.
Повестка на столе — скупой листок:
«Оставить город...» и проставлен срок¹.

Предельно ясно, коротко и чинно —
Он — Лейнонен Адольф, сын Аксея — был финном.
Отец уже ушёл, он на другом вокзале!
Повестка ни к чему — вы с нею опоздали...

Спи, папа, — не читай бумажку эту!
Я принял от тебя наследства эстафету...

1981

¹ Отец умер на улице. Труп соседи занесли в нашу комнату, где уже тогда никто не жил — во время очередной бомбёжки разбило стёкла. Там труп отца пролежал, видимо, с полмесяца, пока его не забрали... Повестка о выселении из Ленинграда пришла уже после смерти отца. Такие же повестки получили трупы моей матери Элеоноры Робертовны, урожд. Форстман, и брата Бруно, которому тогда и 18 не исполнилось. Это был случай особый: посмертно репрессированные. Мне очень долго потом пытались доказать, что нас просто «эвакуировали» (на смерть). Только через 50 лет — через полвека! — мне в этом официально признались: они были эвакуированы из Ленинграда по национальному признаку.

Михаэль КОРТШМИТТ

/ Дармштадт /



Родился в 1964 году под Львовом в семье офицера. В 1987 г. окончил Тернопольский медицинский институт. В 1996 г. эмигрировал в ФРГ. В 1998–2002 гг. занимался исследовательской работой в университете Альберта-Людвига в г. Фрайбург-Брейзгау. Участвовал в германороссийских научных проектах в области истории медицины. Работал врачом в Зелигенштадте.

УГРОЗА НЕЖНОСТИ

Он удалился от берега поступательным брасом, подныривая под основания могучих стотонных океанских волн и выходя по петле вверх, им в загривок. В этой поездке в предместье Биарритца ему на деле стало ясным, как именно свирепость океана не кажет ничего общего с разволновавшимися морями, склонными к благородной упопительной борьбе, всегда в шторм кружившей его тело в каскадах и турбуленциях водного беснования, возносившего его на гребни восторга, подобно щемящей полурэрекции опаснейшей интриги с ангельски-сладкой и в дребезги губящей его карьеру авантюрной любовницей. А океан даже в своем смирении всё явственней проявлялся враждебным ко всему чужеродному мутным Оком Вселенной, всевягивающим планетарным колоссом, бессмысленным умышленным убийцей.

Тут на медленно растущем отдалении в сторону выхода из залива он увидел яркую пластиковую лопатку, унесенную водой у играющих в прибрежном песке детей. Так и останется непостижимым, что движет мужчиной к нешуточному танцу со стихией на равных, к фамильярно дерзкой свалке с ней, к опрометчивому броску в женственную неизвестность её ответа... И тогда он ехидным сюрпризом является по балконам на пятый этаж к дружескому столу, или на исходе утренней зорьки погружается в топь за скользкохвостым хладным бутонем коварной кувшинки — на подушку к пробуждению юной жены. Или оставляет инструкторов, отказывающихся в сумерках идти дальше, на последней площадке перед горной вершиной.

А потом глупейшим победителем спускается по отвесной стене на их свист и оклики над страшной бездной в кромешной тьме. Спускается к ней, не отходящей от телефона, к той, которая будет отчаянно журить его, а после, холодея, гордиться им...

Ему жгуче захотелось доставить детям радость сию же минуту, и он направился вплавь к кричаще-желтому куску фигурного пластика, исчезающему в волнах.

Уже на полпути жарким ножом полоснуло изнутри под грудину, и тут он явственно и трезво почувствовал, что сил на обратный путь вмиг не стало. Отступать же было не в его натуре. Игрушка долго удалялась, лишь изредка маяча в мыльно-призрачных гребнях валов. Теряя силы, он приближался. И вот она издевательски ускользает, выпрыгивает из его рук. Вот, уже зажата в кулак, наконец мешает плыть.

На обратном пути он стал понимать, как беспечно в последние годы жизни проскочил её пик, когда за перевалом она почему-то досадно теряет краски и запахи, искажает вкус и значение радости, отчуждает от всех, кроме посланных тебе Богом. А календарь начинает походить на подкрученный механический счетчик советского таксиста — даты уже не мелькают в нём, а сливаются в сплошную ленту, не играя больше никакой роли, ибо названная впереди плата будет сокрушительной. Ещё упустил он нечто необычайно важное. Как то: «не стар» вовсе не принадлежит к «молод». И «моторесурс» его со времен спортивной юности отказывающего сердца за годы одиноких ожиданий воссоединения с женой и безответных горестей от чьих-то липовых побед над ним, иностранцем, за которыми стояли власти, давно исчерпан. А тут ещё и запоздалое открытие того, как хищно океан в считанные минуты отнимает силы у больных и ослабших, не давая передохнуть, и совсем не держит вплавь на спине. Во внезапно сцапанной среди беспечности душе затрепетало давно знакомое отчаянье — теперь и этот колосс безо всякой жестокой мужской игры, не предоставив и попытки к борьбе, деспотично и фатально побеждает его, пловца с детства.

Но зачем же тогда отказалось от меня ты, мое сердце?.. Собственное сердце, как сокровенная и ложная жена юности, подвело внезапно и безжалостно. Огромная страшная тьма тучей взорвалась внутри него и как близкая ночная прорубь, как жгуче впрыснутая внутриартериально кровь несовместимой группы, обдала ужасом безжизненной изнанки бытия, отражения штормовой пучины где-то в нематериальном. И он уже несся куда-то с этим слепым эхом, теряя представление, где верх и низ. В прогалинах этой всеподавляющей мглы, возвращаясь к поверхностной водной взвеси и уже мученически ощущая себя добычей океанской утробы, он больше всего боялся, что загоравшая пластом на берегу жена подымет голову, заметит его трудности и бросится на вырубку. Тогда ему, теперешнему, её не спасти...

Только это заставляло его, полумертвого, выныривать и почти что держаться на плаву, неуклюже производя подобие плавательных движений. Исполинский хищник всё же оказался непоследователен. Вместо затягивания течением в свои неизмеримые глубины и дали, на этот раз он пустил его поплававком вниз головой, с затяжным скольжением, а после юзом отшвырнул к отмели. И в этом была издевка!

Уже в полосе прибоя пловца плашмя тупо ударило о берег и в пенной злорадной карусели, обдирая в кровь, потащило по шершавому грунту. Теперь не стало мочи пошевелить и пальцем. Он перевернулся и лёг в прибое животом на спасенную лопатку. Последнее, что увидел он, были беззаботно игравшие в песке дикого пляжа меж расписанных пестрыми граффити руин бывших бетонных батарей Атлантического вала его смешные и тонкоголовые ребятишки. Они старательно возводили хлопками пухлых ладошек воображаемые многобашенные замки в кудрявой песочной грязи, поскольку из-за шторма их не подпускали к воде.

Через полчаса к прибрежной полосе на высоте в шестьсот футов со стороны Байонны с грохотом приблизился аквамаринный полицейский вертолет с заплывшим глазком французской кокарды. Он садился против обыкновения не на посадочную площадку дворика спасательной службы в полумиле от места происшествия, а прямо на неблагоустроенный дикий пляж, при недосброшенном газе порывами сметая и гоня кувырьком солнечные зонты. Машина подняла центробежный самум песка, смешавшегося с соленой пылью атлантического бриза, но этим не только не разогнала, а напротив, многократно привлекла замершие и посерьёзневшие толпы окрестных дачников. Вокруг дымили сигареллами и трубками в меру загорелые носатые французы над запахивающими юбки-парео холеными супругами с выразительно гримированными лицами. Большинство из них с любопытством подняли на ноги, всё так же отрешенно от импульсивных выходов вездесущей неопрятной молодежи в багамских шортах и нитях купальников. От цоканья молодого пинг-понга и разбросанных эмалевых досок для серфинга. Здесь неприятности, пусть даже и самого торжественного свойства, не могли вызвать глубоких переживаний. Верхним рядам зевак показалось с ведущих в городок через ближайшую сопку деревянных сходней, будто полицейский фельдшер воздушного патруля, прибывшего раньше амбуланса, почтительно и принужденно опустил простыню на лицо лежащего на носилках по носу его раскалившейся на солнце алюминиево-стеклянной летающей парилки...

Я подумал тогда, причину трагедий следует искать не в зывах восстановиться однократностью собственного мужества. Не в адреналиновой тщете общественного признания и незнакомых восхищенных ласк в норе ближайшего мотеля...

Нет. Только внезапно нахлынувшая нежность к близкой душе делает мужчину необычайным. В те редкие минуты только и видна его подлинная красота. Эта же способность и обрекает, сколько бы раз ни выжил.

Июль 2008г., Биарритц

ПРЕКРАСНЕЕ ЛЮБВИ

#

Холодная весна не уступила напрасным прогнозам и эти серые, колодезно-глубокие последние сутки мая. Проливной вечерний дождь оплывал по витринным стеклам ресторанным павильона, словно занавес на авансцену. Сползал по ним, тормозя прозрачными ладонями, как подстреленная бесприданница. Так думал один из двух тридцатилетних гуляк, сидевших подшофе в углу залы для курящих. Не тот, кто был в расстегнутом, очень легком персиковом пальто, накинутом на плечи и с черным моноклем от окуляра кинокамеры, отпечатавшимся в глазнице. А другой, с собачьей петлей парижского галстука на расхристанной груди, в жилетке с муаровыми клиньями в мелкую незабудку, как на дворцовой обивке, и слипшимися на влажном лбу прядями.

— Знаешь, — вдруг сломленно и невпопад искренне признался он оппоненту, — От неё просто каким-то озоном веяло...

— Да, брось ты! Когда баба сильно нравится, то и на запахи ее подсаживаешься.

— Не-е-ет, каждая женщина пахнет неповторимо, даже если пользуется духами расхожей марки. Это — как «почерк» у оружейного ствола. Ты просто нюх в своей лаборатории на пробирках сжег.

— Скажи лучше, что каждая пользуется доступной парфюмерией, моется своё число раз в единицу времени и работает на разных потовыжималках...

— Во всём зоотехник, ей-богу! — он отвернулся.

Зелёный, но ушлый мальчик-официант присеменил со смеяной блюд и вторым графинчиком водки.

— Я программу шпионскую ей на ноутбук установил. Всё выдало. Она ночевала у меня, только если у них не было связи по «Скайпу»... Почему в моей жизни всё так?

— Ну, подожди... Давай подумаем. Разве ты летишь в отпуск, ни в самолете, ни у бассейна не отрываясь от ноутбука с финансовыми схемами? Нет. Не ужинаешь, оставившись в телеканале деловых новостей... А женщины сегодня как заводятся? — Страх перед будущим отступает, подкорка включается. Ладно. Взамен могу предложить тебе единственную честную девушку в этом городе. Всего пять тысяч евро. Самка гепарда. По крайней мере, не дрочит в сети с ягуаром из Кении. Хотя твоё жилище и ее не обрадует.

— Пароль взломал, прости Господи, и-мэйлы её читал и плакал... Этот тип месяцами водил её за нос, а тут вдруг выманил куда-то в Портофино. Почему вдруг? — он пожал опавшими плечами.

— Так регата же там в это время. Фестиваль вин, банкеты местной знати. Знакомства полезные заводятся. Ну, и принято как-то расположить к себе. Кто «даймлером F-125» с франкфуртской ярмарки, кто яхтой из проекта Сигма, а кто новой подружкой вроде твоей. Внимание привлечь, симпатии пробудить — чтоб сами беседы завязывали. Там глядишь, и до заказа или тендера дойдет.

Они помолчали. Один озадачено собирался с мыслями, как для последнего слова в суде, другой, сокрушенно морщась, старался скрыть свою растерянность.

— Таких женщин, в общем-то, нетрудно понять. Представь самого себя, такого... м-м-м... — он покрутил головой, подыскивая глазами пример, точно откуда-то из мебели, — которого вовсе не тянет к бабам. То есть со-о-овсем!! — запальчиво сверкнул зрачками гость, спереживая, но не допуская пререканий. Его ладонь гильотиной отчаянно рубнула край стола.

— Художественного воображения такой силы у меня нет.

— Так вот, да? — озадачено нахмурился духовный знахарь, — Тогда хотя бы вообрази себя тем, кто на полуслове не срывается за удаляющимися по проспекту превысившими средний уровень случайными ногами, и с фотозумом в очках не уносится ввысь за фигурными задами на встречном эскалаторе. Кто в деловой обстановке не разгадывает секретные детали ракет «земля-воздух» в бюстгальтерах, а смотрит на всё это... э-э-э... всего-навсего как на второстепенные плюсы. И вместо вторичных половых признаков жизни себе не мыслит без признаков социального статуса и полной... м-м-э-а... финансовой беззаботности.

— Слабенькая рефлексия. Меня не перевоплощает. Не вставляет! Ты вообще за кого? За слияние капиталов с сиськами и жопой моей невесты? За плутократов у меня в шифоньере?

Друг с грациозным нарушением координации помотал перед ним сигаретой.

— Я же не становлюсь на её сторону, а даю зеркальную проекцию для доходчивости. Ну, хорошо. Тогда допустим, что одни из окружающих тебя женщин остроумны, отважны и выскоиндивидуальны; а другие солидны, предприимчивы и покладисты. Какую бы ты выбрал вслепую?

— Как ещё представить, что они не кривляются макаками за макияжем, — он прыснул, поперхнувшись греческим салатом, а соловые глаза собеседника в ответ заблестели. — Не репетируют текст и случайные показы по закуткам, на которые, смешно сказать, «подсаживают» нас потом, как последних...

Бедняга уронил голову в ладони, сдерживая яростные хмельные слезы, и отдышался.

— ...последних дебилов?! Это есть. И почему это и мой беспристрастный глаз анималиста тоже не фиксирует этих отрезвляющих моментов?! А?

За «моменты» выпили особо.

— Как они озирают окружающих: все ли уже потрясены их шортами среди зимы или искромсанными по каталогам лохмами?

— «Мильй, ты, как всегда, ничего не заметил».

— Зам-м-метил. Первое — у немецких парашютистов, второе — в лепрозории.

Они заходились все новыми и новыми припадками истерического хохота.

— А ты можешь привыкнуть к тому, как они шарахаются от шороха со спины в запертой квартире? Так, что торшер опрокидывают!.. — здесь он закашлялся.

— А как поправляют колготы с трусами сквозь юбку в каждом закоулке? Или застегивают при тебе лифчик на животе, чтоб потом передвинуть застежку назад?

Вместо возражений наставник душевно сунул ему руку солидарности, а увещиваемый тут же со звоном захлопнул замок мужского единства.

— Самое лучшее было бы на время, пока её не забуду, закодироваться во фригидность.

Собеседник боковым кивком уклонился от утопической идеи, как от неуклюжей крестьянской оплеухи и продолжил с нетрезвой, но возвышенной одержимостью.

— И вот представь, у тебя с ними всё замкнуто не на постельные сцены. А как? А на что? — «инструктор» широко оттопырил отеческую улыбку и торжественно перебросил сигарету из двуверстия одной руки в щепоть другой. — Ну?!

— Слушай, не пугай меня.

— Во-от. А на то, чтобы выстроить с подходящей кандидатурой свою колониальную стратегию. Такого, знаешь ли, простенького высокорентабельного гешефта на дому, благодаря которому ты больше не убиваешься на работе, не угодничаешь ради карьеры и не подвергаешься превратностям бизнеса. Ты, как чиновник-единоличник, только ставишь в зависимость и снимаешь сразу все пенки.

— Минуточку...

Однако он не давал себя прервать.

— Но вместе с тем, тебе до визгов приятно, что и другие вот, из литературно-соплативого теста, всё ещё выдумывают о тебе много красивого и разного. Сам знаешь, насколько убийственно для таких дел красивого! — отдавая должное, но с укоризной вновь налил из графина по рюмке.

— Дальше. Ты просто млеешь от того, что этот другой, также душевно далёкий тебе bird...¹ — руки воспроизвели в воздухе движения скульптора, как если б он лепил на скорость уже пустившую в ход свои фетиши незнакомку из комиксов Бидструпа, — ...вот как ты сейчас, свежеразведённая знакомая, и что совсем потрясающе, достигшая известности исключительно своими талантами, с которой, несмотря на секс в прихожей, искомого-то будущего у тебя нет, вдруг превозносит тебя, мерзавца, до небес, извергающих дождь лепестков... Тьфу ты, извини... лаврового листа, золотых зажигалок и галстуков.

Он судорожно затянулся раза три и просиял. Лицо его лоснилось потом философического счастья.

— Вот эта-то другая лепит из тебя узнаваемую кинолегенду и ежедневно пересочиняет ваш довольно скотский интим в нечто берущее за душу. Она стоит на карнизе, из последних нетренированных сил подтягиваясь по плечу, свисающему с твоего балкона. Даёт грандиозного пинка уволившей тебя после домогательств начальнице под аплодисменты всего учреждения... Почему бы тебе некоторое время не позволить себе парить с ней в антракте жизни под музыку Делерю, если заранее уверен, что вовремя сойдешь с небес при дозаправке на Ривьере?

Его дыхание пресекалось на деликатном повороте собственной теории.

— Да. Писаку эту ты тоже не полюбил бы, но от заразной эйфории, излучаемой вдохновением, иногда за уши не оттащишь. Как от шампанского, если обожраться в жару цыплятами табака. А ведь любовь — прислуга пороков, среди которых скука и уныние иногда даже жадность побеждают. Так что, как только обоснуется и родит, жди посреди ночи звонка.

Неуместное упоминание о шампанском и призраках возвращающегося счастья опять спровоцировало неслаженное анестетическое опрокидывание рюмок. Угощавший друга ужином дамский отставник поднял сильно помутившийся, но всё ещё суицидально-несчастный взгляд.

— Куда только в людях подевалась великая соразмерность природы?! — собравшись уходить, заключил автор гипотезы. — Ведь всё, что наворотил ты, гораздо прекраснее... — здесь он заострил внимание поднятием перста, — ...довольно простой любви женщины.

2008 год, Франкфурт на Майне

¹ Сексапильная птичка, бабенция. (англ. сленг).



Лидия РОЗИН

/ Монстер /

Родилась в 1948 году в Кемеровской области. С 1956 года и до выезда в Германию в 1994 году жила в Алма-Ате. Образование техническое, долгие годы работала на строительстве телефонных станций в Казахстане. Автор нескольких книг поэзии и прозы, изданных в Германии и России на русском и немецком языках. 10 лет работала на радио в Бонне, создала ряд программ литературного и культурного цикла.

ПОСЛЕДНЯЯ ХРОНИКА

***Последняя хроника с переправы
через войну на Балканах — в Вечность***

1

Он ушёл на войну, на работу
С кинокамерой и блокнотом.
Навсегда ... словно в Лету канул —
Не вернули его Балканы.

2

Бессонница... Бумаг неразбериха...
Она очнулась, — в дверь её стучали:
Коллеги мужа — шумные обычно —
Сегодня были вежливы и тихи,
Друг другу молча место уступали,
Курили и не спорили привычно ...
И это было не кошмарным сном.
Ей протянули свёрточек — в нём вещи —
Муж никогда не расставался с ними:
Его часы... с раздробленным стеклом
(По ним уже отсчитывалась Вечность).
Да, на часах... его стояло имя...

И кинокамера, и перстень-амулет, —
Подарок африканца-колдуна...
Она смотрела взглядом отрешённым:
Священный перстень уже десять лет
Муж не снимал, и верила жена,
что перстень этот был заговорённым...

3

Балканы древние ссутулились от горя.
Седой Земли разверзнутая рана
Останки журналиста поглотила...
Знобило долгим-долгим эхом горы —
Слезами каменными плакали Балканы,
Склонившись над очередной могилой...

4

А камеру нашли недалеко —
Её в овраг отбросило волной.
И налету в оторванной руке
Снималась встреча краткая с Войной:
Обломки неба... потроха земли...
И облака безумные в крови.

5

В свои расходы спишет всё Война...
И зеркала завесила вдова...

6

Прокручивая фильм в который раз,
Она опять увидела с экрана:
Спокойный, удивительный пейзаж, —
Пасутся кони и цветут тюльпаны...
В рассветной дымке панорама гор.
Видны из рощи контуры машины.
Вдруг крупным планом посмотрел в упор
В глаза с экрана молодой мужчина...
Он осмотрелся быстрым взглядом и...
Его как будто что-то там вспугнуло:
Привычное движение руки, —
И на экране вместо глаза — дуло.

Глядит с экрана жуткий чёрный круг.
Остановилось время на мгновенье.
И — страшный взрыв разрушил мир вокруг...
Гримасы неба, облаков испуг...
А дальше на экране — затемненье...

7

И... снова кадры пятятся назад,
 Сменяясь на экране очень быстро:
 Вот антивзрыв затих
 и
 автомат,
 вдохнув,
 проглатывает
 антивыстрел...
 Исчезла пуля в горле автомата...
 Растаял в дымке человек с экрана...
 И как тогда, давным-давно когда-то,
 Пасутся кони и цветут тюльпаны...

1997

ИНТЕРВЬЮ

«Вы клоун — женщина. Такая редкость в мире.
 Жизнь в эпицентре смеха — на арене.
 Не страшно в цирке, в этом круглом тире
 Служить ходячим яблочком мишени?..»

На блюде яблоко, шампанское в бокалах,
 Ждёт микрофон, заглядывая в рот;
 Вопросам нет конца: Как я сюда попала?
 С чего всё началось? Что завтра меня ждёт?
 Куда я так спешу? Не трудно ли смеяться
 Изо дня в день уж скоро сорок лет?
 Чем в жизни дорожу? С чем не могу расстаться?
 В чём жизни соль и радости секрет?
 Я — клоунесса! Несомненно, прав ты —
 Действительно, нас в этом мире мало,
 Как королев, как женщин-космонавтов.
 Ты хочешь знать, как я сюда попала?
 С чего всё началось? А в самом деле...
 Мой дядя (самых честных правил)
 Работал здесь... Вильгельмом Телем,
 А также всем парадом правил.
 Он настоящим был героем,
 Его все в нашем цирке обожали.
 ...Давным-давно (тогда нас было трое...
 А мальчик... умер... Уж сколько лет назад...).
 Его лохмотья на меня надели
 И... яблоком меня короновали...
 Да, было страшно. Часто снился брат...

Глаза у дяди вскоре потускнели
И руки у него... дрожали,
Но стрелы, что над головой свистели,
Страх в сердце постепенно убивали...

Прости, снимаю клоунский наряд:
Зелёный бант, оранжевый парик,
Нелепо — яркий, не в размер, халат
И кружевной огромный воротник...
Минутка грустная: с лица стираю грим.
Ах, бросьте, зеркала так искажают! —
Безжалостны автографы морщин —
Мне промахи мои напоминают.
Казалось, что никто и не заметил,
Что было не задуманным паденье.
Коварный случай: как в десятку метил —
Эх, яблочко — весёлое — мишени!
Ну что ж, бывает, я не растерялась
И поцелуй воздушный разослала,
Как будто просто новый трюк искала...
— А публика смеялась?
— Да, смеялась!

Мне выстрелила боль в разгаре смеха
Сегодня в спину без предупреждений...
И долго перекатывалось эхо:
«Эх, яблочко!» — От публики — к мишени...
Ах, что ни говори, такая жалость,
Что невпопад с трапеции упала...
Нет, не устала, — новый трюк искала,
Ведь главное, чтоб публика... смеялась.

На блюде яблоко. Шампанское в бокалах...
Ты видишь сам: нет у меня секрета.
Бывало, падала, но я опять взлетала, —
Ведь а на службе радости и света.

Я клоун — женщина. Такая редкость в мире,
И в эпицентре смеха — на арене,
Я в цирке, как в огромном круглом тире,
Служу ходячим яблочком мишени.
Э-э-э-х, яблочко!!!

ПРОЛОГ

Природа спит. Неяркие рассветы
Приходят поздно и без настроенья.
Сухих деревьев грустные скелеты
Роняют под ноги лохмотья ветхой тени.

День зимний суетлив и быстротечен,
 Зато зимой прекрасны вечера,
 И нам с тобой отпущен был вчера
 Один такой — неповторимый — вечер.

Но незаметно время промелькнуло,
 И ночь была так странно коротка,
 И чья-то всемогущая рука
 Страницу жизни вдруг перевернула...

И новая глава открылась нам.
 И зимний день, как чистый лист бумаги,
 Нас призывал к рисункам и стихам,
 А во дворе деревья были наги

И клочья тени под ноги роняли;
 Искрилась и переливалась тень —
 В ней солнечные зайчики играли.
 И это был наш самый первый день...

ФЕВРАЛЬ

Чудит февраль, обласкан солнцем щедро.
 Природа как из-под контроля вышла:
 Кокетничая с ловеласом-ветром,
 Цветёт всюю акселератка-вишня.

Седая верба, что уже забыла
 Свой возраст, новым годовым кольцом
 Покрыла талию и крону распушила,
 Украсив почками, как дорогим венцом.

Магнолия, как сердце на ладони,
 Волнуясь, чужо трепетное держит.
 В не вовремя раскрывшемся бутоне —
 Девичья хрупкость, чистота и нежность.

Чудак-февраль запрягся в колесницу —
 Возглавил карнавальный он обоз.
 Никто не знал, что сзади примостится
 Слуга зимы — рецидивист-мороз.

Февраль шутил, а в первых числах марта,
 Когда весна была уже при деле,
 Мороз ей вдруг перемешал все карты:
 На ранний цвет обрушились метели...

ЭХО

Я замерла, переступив порог
 Знакомого когда-то коридора...
 Пугает помещение пустое:
 Зияет в даль разбитое окно,
 Во лбу стены ещё торчит крючок,
 Как будто знак вопроса, на который
 На бледном фоне выцветших обоев
 Повесилось овальное пятно —
 След зеркала, в котором отражались
 Все те, кто сей порог переступали,
 И, уходя, в него бросали взгляд.
 Я тоже в это зеркало смотрелась...
 Но вот теперь по свету разметались
 Те, кто хозяйку дома навещали.
 Ушли друзья и никогда назад
 Уже потом сюда не возвращались.
 ...Когда хозяйки старенькой не стало,
 Здесь поселилась тихая печаль,
 Ушли отсюда радость и тепло,
 И музыка здесь больше не звучала...
 Из дома люди, вынося рояль,
 Задели зеркало, и зеркало упало
 (Венецианское добротное стекло!).
 Какая жалость! Что за невезенье —
 Разбились насмерть наши отраженья...
 Ещё во лбу стены торчит вопрос,
 Но этот дом приговорён «под снос».
 Как хорошо, что я смогла приехать
 И проводить стихающее эхо.

СЕ ЛЯ ВИ...

И за любовью эхо боль швыряет:
 Прилив — отлив, потом слабеют волны.
 Ушла любовь... Куда? Никто не знает...
 Откуда-то потом придёт другая
 И чем-то новым пустоту заполнит.
 Всё будет снова, но совсем иначе.
 Любовь другая тихо позовёт.
 Вдали надежды светлячок маячит,
 А память убеждает не сдаваться:
 Вдогонку — свет. Тень за угол свернёт.
 Тень — поводырь, последую за тенью,

Но мне за ней сегодня не угнаться:
Любви ушедшей яркие мгновенья
Не подлежат, увы, реанимации...
Но... продолжает жизнь круговорот:
Прилив — отлив, закат — рассвет,
И вновь...
Очередное чудо совершится:
Магнолия в апреле расцветёт,
Стихи воскреснут, музыка родится,
И воцарится
Новая
Любовь.

А в будни, между вспышками любви,
В мечтах, заботах и воспоминаньях,
Проходит жизнь. И это состояние
Французы называют «Се ля ви...»

Валдемар ЛЮФТ

/ Эссегах /



Родился в 1952 году на юге Казахстана в Джамбулской области. Предки — немцы Поволжья. После службы в армии учился в строительном техникуме. В 1987 году окончил Высшую Школу Профсоюзного Движения (ВШПД) в Москве. По образованию экономист. В 1994 году переехал в Германию. Публиковался в журналах «Зарубежные записки», «Крещатик», «Московский вестник», «День и Ночь» и др.

ПАЛАТА №

Больной с некоторых пор начал понимать, что с ним происходит. Он знал, что болен, слышал все, о чем ему говорили врачи и медперсонал, но по-прежнему не мог рассказать о себе и ответить на вопросы. Он выполнял все предписания врачей, добросовестно посещал процедурные кабинеты, пил лекарство и очень хотел как можно скорее выздороветь, начать снова говорить и вернуться к своей семье. Только вечером он не торопился принимать медикаменты. Ему особенно нравилось время, когда медсестра, положив на его тумбочку очередную порцию лекарств, уходила в другие палаты. Разноцветные таблетки и капсулы сиротливо лежали нетронутыми, а у него начинался праздник фантазий. Был ли это бред его больного мозга или действительность, он уверен не был. Что-то напоминало ему прошлое, что-то было из области вымысла. В том ночном мире не было дежурных улыбок санитаров и врачей, забывалось о том, что он болен, и все, в том числе и он, говорят на одном и том же языке и, самое главное, понимают друг друга.

Вчера он был в детстве. В большом яблоневом саду чувствовалось приближение осени. Деревья были украшены разноцветьем листьев. Еще висели на ветках краснобокие яблоки апорта и желтовато-зеленые лимонки. Ранетка усыпана мелкими, с голубиное яйцо плодами, которые все почему-то называли раечками. Время снимать их. Мать наварит варенье, и зимой

длинными вечерами оно будет подаваться в глубокой чашке к чаю. Под деревом стояли трое. Мужчина в рубашке с короткими рукавами, в соломенной шляпе, в брюках с отутюженными стрелками и в сандалиях на босу ногу. Рядом женщина в розовом платье с белым отложным воротничком. Ее волосы плотно зачесаны назад и заплетены в косу. Между ними мальчик. Одну его руку сжимает ладонь отца, другой он сам держится за большой палец матери. Волосы на голове коротко острижены. Новые брюки, купленные на вырост, подпоясаны ремешком, и складки под ним расходятся от бедра в сторону, делая туловище снизу непропорционально толстым. Рубаха в клетку застегнута на все пуговицы. Узкий воротник врезался в шею, но мальчик на это не обращает внимания. Он счастлив и поэтому радостно улыбается. Там, перед ним, священнодействует фокусник с треногой. На треноге стоит деревянный аппарат. Объектив закрыт черной крышкой и за черного цвета полотном полностью скрылась голова фокусника. Он обещал, что скоро вылетит птичка. Но птичка мальчика не интересует. Вон их сколько прыгает, летает, чирикает в саду. Его занимает само священнодействие человека у треноги, и в нем просыпается нетерпение увидеть результат труда фотографа. Фокусника-фотографа уважают все. Во дворе и у ворот уже толпятся соседи, которым тоже нужно сделать семейные фотографии. Мальчик, помогая нести треногу от фотоаппарата в сад, решил, что, когда вырастет, будет фотографом. Вот из под черного полотнища высунулась голова, правая рука что-то быстро и незаметно поменяла в ящичке, левая рука грациозным движением сняла крышку с объектива, плавно описала замысловатый зигзаг и водрузила ее снова на место. Никто и не заметил, что перед самым моментом, когда открылся объектив, сорвалась раечка с ветки и упала на голову мальчика. Боясь спугнуть прекрасное мгновение рождения фотографии и из опасения все испортить, мальчик, несмотря на довольно таки сильный удар, не пошевелился и не моргнул. Так и осталась навечно фотография, на которой двое взрослых людей держат за руку маленького мальчика с застывшей на его макушке маленькой хвостатой раечкой. Там, в реальной жизни, мужчина часто возвращался в яблоневый сад, в тот праздничный день. Фотография долго хранилась у него. Она была как талисман. Всегда, когда ему было трудно, он доставал ее из альбома. Вот уже с год, как фотография куда-то исчезла. И весь этот год был бессмысленным, наполненным какой-то ненужной суетой и неудачами.

Больной лежал с открытыми глазами на койке и ждал. Куда уйдет он сегодня? Кто придет к нему? Будет ли это его прошлое или обыкновенные цветные фантазии? Он не мог управлять своим воображением. Оно было самостоятельным. Сейчас он оказался в аэропорту. С ним родные. За окнами лютует не-

привычно холодная зима, а здесь, в стеклянном аквариуме, жарко. Радостным оживлением охвачены будущие пассажиры самолета. Через узкую дверь еще видно провожающих. Те, кому удается найти своих в толпе, пытаются переброситься с ними словами. Но ответов не слышат, как, наверное, не слышат сказанного стоящие за дверями. Но главное не слова, главное увидеть в последний раз своих родных и друзей, с которыми неизвестно еще когда встретишься. Наконец, открылась дверь на улицу, и возбужденная вспотевшая масса людей ринулась к автобусу занимать места. Одного автобуса не хватает. Оставшиеся пассажиры, не вместившиеся в автобус, не хотят возвращаться в «предбанник» и, несмотря на мороз, терпеливо ждут его возвращения на улице.

От этой картины отъезда больного охватывает чувство растерянности. Было ли все действительно так, когда уезжал, он не помнил. От того времени у него остались в памяти большой шумный аэропорт другой страны, долгая езда в комфортабельном автобусе, маленькая комната с двухъярусными койками, вкусно пахнущая столовая и отсутствие привычного хлеба на столах. Лагерь. Воспоминания о нем усиливают тревогу. С чем это связано? Может быть, с тем мрачным кирпичным зданием, куда им надо было идти, и где сидели угрюмые и вечно озабоченные люди и задавали вопросы, на которые нужно отвечать на правильном немецком языке. Эти люди сами-то особо не заботились о правильности своей речи, но болезненно реагировали, если их не понимали, или если кто-то начинал говорить на особом диалекте, с невольными вкраплениями в него русских, казахских или украинских слов. Там, в этих кабинетах, он впервые почувствовал свою немоту. Нет, он говорил так, как мог, как учили его родители, но чувствовал себя немым. Это чувство все больше и больше нарастало. И когда над его корявыми предложениями кто-нибудь из чиновников начинал криково и издевательски усмехаться, вдруг забывались слова, язык не мог выговорить самые простейшие предложения и ужас немоты заполнял все его существо.

Больному было тяжело вспоминать о первых симптомах болезни. Хорошо бы снова вернуться в детство. Детство – это самое лучшее, что было у него в жизни. Он сидит за партой. В класс входит молодой мужчина. Дети дружно встают и после того, как мужчина с ними поздоровался, садятся. Старая учительница ушла на пенсию, и директору пришлось спешно искать замену. Учитель-новичок выглядел комично. На голове торчали в разные стороны рыжие волосы, нос был длинным и горбатым, узкий подбородок, как клинок сабли, закруглялся к шее, тыльная сторона ладоней была усыпана рыжими пятнами, на блеклых невыразительных глазах сидели неудачно подоб-

ранные старомодные очки. Он гнусавил, и произносимые им слова было трудно понять. После первого сказанного им предложения ученики в классе заулыбались, а через полчаса смеялись уже без зазрения совести, издеваясь над его безуспешными попытками преподнести учебный материал. Оказывается, для того, чтобы в детях навсегда убить желание изучать немецкий язык, не нужно прикладывать больших усилий. Надо только принять на работу такого бесталанного учителя. Через полгода он уволился, и после этого немецкий язык вообще вычеркнули из расписания.

«Зачем опять об этом, — подумал больной. — Что сегодня, урок немецкого?» Он встал с кровати и вышел в коридор. В окно, располагавшее напротив двери его палаты, билась ветка липы. Где-то в щель с тонким свистом проникал воздух с улицы. Над затихшей на ночь дорогой светились фонари и, покачиваясь на ветру, бросали мимолетные лучи на окна. В свете фонарей четко вырисовывались белые прямоугольники парковочных мест возле супермаркета. Там стояла забытая владельцем одинокая машина. Когда приходила бессонница, и больной уставал от нашествия неуправляемых картин прошлого, он выходил в коридор и садился на пластиковый стул возле двери в комнату, где в свободное время отдыхали санитары. Если дверь была неплотно прикрыта, можно было слышать разговоры, доносившийся оттуда. Больной понимал все, о чем там говорили. Вчера дежурили двое мужчин. Один из них был высок ростом и жирный. В самом прямом смысле слова. Жировые складки скрывали шею, жир нависал над его бедрами, отчего широкая рубаша необыкновенно большого размера вываливалась вместе с жиром из белых рабочих брюк и висела на нем, как на чучеле. Даже его короткие толстые пальцы после прикосновения к предметам или к одежде оставляли неприятные жировые отпечатки. Он работал в отделении для буйных. Там его все боялись, и поэтому, несмотря на большой вес и неприятный запах пота, врачи его ценили. В комнате отдыха он часто рассказывал о происшествиях в его отделении. Вчера он рассказал своему коллеге, который был в два раза меньше него и худощавый, как скелет, о новом пациенте, появившемся в отделении. «Он укусил меня за руку. Идиот! У меня же кожа толще, чем у бегемота. Когда врач вышел на пару минут, я ему куском поливного шланга два раза по ребрам съездил и кулаком по зубам. Не так сильно, конечно, а то зубы вылетят. Отвечай потом. Так, слегка. Когда кровь с губ вытирал, он сидел уже смиренный».

Сегодня дежурили два студента. Они учились в университете и подрабатывали в свободное время. Больные, кто был более-менее в себе, их любили. Студенты были беззлобны и терпеливы. Не хамили и честно относились к своей работе. Один из

них знал русский язык и если выходил из комнаты, спрашивал по-русски у сидящего больного: «Как дела, земляк?» и, заранее зная, что ответа не получит, уходил по своим делам, не заставляя больного идти в палату. Студент, наверное, хорошо понимал психику больного и оставлял его в покое. И действительно, тишина ночи, спокойные голоса из-за двери, успокаивали возбужденное воображение, сознание забывало неприятные сцены прошлого и, отдохнув, уходило в другой мир. Часто здесь, у двери, к нему приходило будущее. Конечно же, он это себе только представлял. Как можно увидеть будущее?! Но те картины, которые проплывали через его больной мозг, представлялись ему будущим. Он шел по широкой дороге, от которой к горизонту была перекинута разноцветная радуга. Он заходит, как на мост, на эту радугу и идет, окруженный разноцветным сиянием. Вокруг летают птицы, ходят звери, ползают насекомые, которых он не видит, но чувствует их и уверен, что они не принесут ему зла. А там, у горизонта, где радуга упирается в небо, ждет его что-то непонятное, но хорошее. И от предчувствия этой встречи его душа наполняется радостью, а сердце начинает взволнованно стучать, как тогда в саду перед объективом фотоаппарата.

Когда исчезла радуга и успокоилось сердце, он просидел еще с полчаса у двери, прислушиваясь к голосам из-за двери. Ему важно было не то, о чем там говорили. Для него был важен сам звук человеческого голоса, возможность узнавать слова, понимать их и проговаривать их в себе. Вспомнив, что скоро будет делать свой ночной обход сестра, он ушел в палату. Больной знал, что сестра, обнаружив не выпитое лекарство, будет сердиться, и от этого в помещении палаты останется настроенное озлобленности и недовольства, которые всю оставшуюся ночь будут угнетать его сознание. Поэтому он выпил приготовленные с вечера лекарства, лег в постель, тщательно укрылся и стал ждать их действия на мозг. Ему становилось все безразличным. Его сознание сворачивалось в улитку. Он проваливался в какую-то спиралеобразную яму и летел без эмоций и без чувств, ничего не ожидая и ничего не желая.

Всегда, когда больной поздно принимал лекарства, он тяжело просыпался утром. Его соседи по палате давно совершили свой утренний туалет и до завтрака занимались кто чем придется, а он все карабкался по спиральям отвесной ямы, чтобы наконец выйти наверх; к утренней суете, к сердитому ворчанию смывного бачка в туалете, к холодной воде умывальника, к переложенной колбаской булочке и к остывшему кофе в столовой, к бесконечному и бессмысленному хождению больных по коридору. Пересиливая себя, он сделал все, что нужно, и после завтрака сидел на своем любимом месте у двери в дежурную

комнату санитаров. Студенты, закончив смену, ушли. Две пожилые и уже с утра уставшие женщины втянулись в привычный рабочий ритм. Утром было особенно много работы. Кого отвести на процедуры, кому поменять белье, кого помыть под душем. Большинство больных не понимали, что с ними происходит, и послушно давали себя уводить в лечебные кабинеты, подставляли ягодицы для уколов, снимали с себя одежду, если нужно было переодеться, и с безразличным выражением лица возвращались в коридор или же в свою палату.

В палате больного лежали еще трое. Как и он, они не были безнадежно больны. В первые дни, когда больной здесь только появился, они пытались его о чем-то спрашивать, но не получив ответа, прекратили свои попытки. Только турок, у которого начисто пропала память, продолжал с ним разговаривать. Он говорил на своем родном языке, и никто его не понимал, но все внимательно слушали длинные монологи и иногда, когда считали это уместным, согласно кивали головой или улыбались. Крестьянин из пригородного села был сильно чем-то напуган. Укрывшись с головой больничным одеялом, он наблюдал за дорогой, ведущей от железной ограды больничного корпуса, или следил за домами возле супермаркета. Пару раз он показывал на слуховое окно одного из домов, откуда торчала забытая кем-то палка, и утверждал, что это снайперская винтовка, из которой должны его убить. Третий сосед постоянно смеялся или плакал. Вот уже несколько дней, как он становился временами серьезным и задумчивым. Вспышки истеричного смеха или плача становились все реже и реже. Он стал во время обхода врачей задавать им вопросы и, очевидно, его скоро выпишут.

День больного проходил буднично и привычно. До обеда приходил врач и задавал вопросы, на которые больной не отвечал. После обеда санитарка увела его на обследование в специальный кабинет, где ему навешали проводов на голову и снова пытали вопросами. Он понимал их, но со временем научился на них не реагировать. Только внутри происходило что-то странное, и мозг вместо ответов выдавал какие-то цветные картины. Если вопрос задавался громким голосом и с нетерпением, у него внутри все сжималось в комок и перед глазами расплывались черные круги. Он не любил эти процедуры. Только с одной женщиной-врачом ему было хорошо. Она не задавала вопросов, разговаривала с ним мягким грудным голосом, и в ее интонации не сквозили нотки нетерпения. Ее немецкий язык был ему понятен, доходил до сознания и успокаивал. Перед глазами высвечивалась светлая радуга, и душа наполнялась праздником. Такое чувство возникало в нем, когда к нему приезжала жена, или же когда он в ночных блужданиях возвращался в детство.

Дни больного проходили в особом измерении. Время он отсчитывал не часами, а этапами настроения. Утром, карабкаясь вверх из своей ямы и умываясь, он ожидал чего-то нового, завтракая или обедая, приходило настроение домашнего уюта, визит врачей оставлял в душе осадок неразгаданного кроссворда, когда почти все слова отгаданы, но из-за двух-трех слов он так и остается незаполненным, беседы в процедурных кабинетах приносили хаос и растерянность, кроме, конечно, встречи с женщиной врачом. В этих этапах были паузы, когда он должен был принимать лекарства. После их приема он проваливался на определенное время все в ту же спиралеобразную яму, мозг и его сознание отключались, не было настроения, не было цвета, не было ничего. Пустота. Вакуум.

Поэтому он старался, когда была возможность, откладывать прием лекарств на более позднее время. Днем это не получалось, а вечерами иногда удавалось. Он понимал, что лекарство ему нужно для лечения. Необходимое количество пилюль и капсул, рано или поздно, ему нужно принять, но все равно ждал с нетерпением вечера, чтобы отдать себя во власть воображения. Ночные путешествия помогали ему понять, что с ним происходит. Не отяжеленный лекарствами мозг усиленно работал и искал причину болезни. Ему казалось, что именно в это время процесс его выздоровления шел более интенсивно.

Снова наступил вечер. Опять сиротливо лежали на прикроватной тумбочке лекарства. Медсестра поправила одеяло на больном и бесечно ушла в процедурную. Больным снова начало овладевать воображение. В последние дни оно становилось более реальным. Решать, о чем ему вспоминать, куда уходить в странных ночных полетах воображения, он по-прежнему не мог. Вот и сейчас вдруг замельтешили эпизоды прошлого, которые были ему неприятны. Общежитие. Общая кухня. Женщины готовят обед. Он помогает жене разделять курицу. Все говорят по-русски. Входит чиновник из бюро, которое находится на первом этаже. «Какие вы немцы?! — грубо, чуть ли не криком, прерывает он веселый разговор женщин. — Вы никогда не научитесь говорить по-немецки, если будете продолжать разговаривать между собой по-русски. Прекратите этот русский базар». Выходя из кухни, уже в дверях, чиновник раздраженно проговорил: «Russe Penner» — и с силой захлопнул за собой дверь. Тишина заполнила кухню. Женщины, боясь смотреть друг другу в глаза, ни за что оскорбленные, занимались своими кастрюлями, сковородками, тестом, картошкой, мясом. Он, единственный мужчина на кухне, чувствовал на себе короткие взгляды женщин, и ему делалось стыдно. Как будто это он оскорбил и унизил их. Им снова овладевала немота, в горле вырастал комок, который не давал выговаривать слова, и даже воздуха становилось мало и приходилось учащенно дышать,

чтобы заполнить вдруг опустевшие легкие. Когда дыхание успокоилось, он вдруг оказался в посольстве Германии в Алматы. На пришедшем вызове от родственников оказалась ошибка в фамилии, и ее необходимо было исправить, прежде чем идти в ОВИР. На прием к консулу вытянулась длинная очередь. Терпеливо простояв в ней полтора часа, зашел к консулу. Он разговаривал с консулом так, как будто всю жизнь говорил на немецком языке. Отчасти это было связано с поведением самого консула. Тот вел разговор на чистом литературном языке, выговаривал слова внятно и не проявлял нетерпения, когда говорил, хоть и с ошибками, его собеседник. То чувство уверенности в себе, которое появилось в нем после визита к консулу, вдруг вернулось к больному. Он встал с кровати и вышел в коридор. Было еще не поздно. Несколько больных бесцельно бродили по коридору. Их взгляды отсутствующе устремлены в пространство. Больной прошел несколько метров к своему любимому месту у двери в комнату персонала. Стул был не занят и, сев на него, он откинул голову назад и закрыл глаза. Он увидел себя в большом кабинете. Его спрашивают о чем-то. Он все понимает, но, как всегда в последние дни, не может ответить на вопросы. Он знает ответ, он знает слова, которыми надо отвечать, но они остаются внутри и не выходят. Он немой! Там, за дверями кабинета, ждут родные. Они на него надеются. Из кабинета выходит растерянный мужчина, его глаза наполнены ужасом. Родные говорят ему о чем-то, но он их не слышит и ответить не может. Мало того, он не стал их видеть. Из этого кабинета он вышел окончательно больным. Он не помнил, что происходило дальше, и очнулся только здесь, в психиатрии. В первые дни после того, как он пришел в себя, ему было тяжело осознать, что он психически больной. Ему хотелось говорить, но голос не слушался, из горла не выходили звуки, и при попытках что-то сказать, или ответить на вопросы, накатывалось удушье, легким не хватало воздуха, и ему делалось плохо. Первые недели были особенно тяжелыми, но после месячного лечения становилось легче. Он уже так не задыхался, выслушивая вопросы и, не отвечая на них, оставался спокойным. Днем, после всех процедур и между приемами лекарств, он мысленно вел длинные монологи сам с собой. Чаще всего он их вел на немецком языке. В этих монологах он говорил грамотно, только иногда делая ошибки. Прислушиваясь к говорившим вокруг, он сопоставлял свою внутреннюю речь с речью санитаров, медсестер, врачей или больных и понимал, что мог бы говорить почти так же. Он старался, оставаясь где-нибудь наедине с собой, сказать что-нибудь вслух, но ничего не получалось. Звуки так и не выходили из горла, и только губы шевелились, как в немом кино.

Пришла санитарка. Она приостановилась перед больным, заглянула в его лицо, улыбнулась и вошла в комнату. После нее остался приятный запах духов смешанного с женским потом, которым пропитался ее халат за долгий рабочий день. Этот запах напомнил ему о жене. Завтра она должна приехать. Она приезжала в конце каждой недели. От ее визитов в памяти оставались обрывки фраз, поцелуи при встрече и расставании и приятное чувство тепла. Больному захотелось вернуться в палату, выпить положенное лекарство, быстрее провалиться в яму и проснуться завтра. Предчувствие чего-то хорошего торопило его в палату, к мензурке с таблетками.

Утро оказалось не таким тягостным, как обычно. Он приветливо помахал рукой студенту-земляку, принявшему с утра дежурство. У врача на приеме с пониманием выслушал вопросы и, не сумев ответить ни на один из них, выходя от него, виновато улыбнулся. Врач сказал вслед только одно слово: «Прекрасно». От врача он ушел с хорошим настроением. До обеда оставалось еще время. Больной подошел к окну и стал уже привычно наблюдать, как за дорогой у большого супермаркета суетятся люди. Рядом с ним остановился его сосед по палате. Тот, который смеялся и плакал. Он искоса глянул на больного и сказал:

— Меня сегодня выпишут. В этот раз быстро вылечили.

Две минуты прошли в молчании.

— Несколько дней наблюдаю за вами, — снова заговорил сосед. — Мне кажется, у вас дело пошло на поправку. Состояние человека, который начинает понимать, что он лечится в психиатрии, я знаю. Уже четвертый раз здесь. В первый раз, когда начал выздоравливать, тоже чувствовал себя идиотом. Казалось, что все пальцем показывают на меня и говорят: «Вот он, псих». А потом понял, что зря себя этими мыслями извожу. Все, кто здесь лечится, больны, и к этому надо относиться так же, как к любой другой болезни. Никто ж не издевается над теми, у кого мигрень или печень больная. И второй аргумент, из-за которого я стал спокойно относиться к своей болезни. Там, за стенами больницы, думаете, ходят здоровые люди? Посмотрите, как они суетятся и куда-то торопятся. Для людей деньги стали важнее всего. Они отдают свои лучшие годы, чтобы сделать карьеру. Многие из них убивают свое время у телевизора или у компьютера. Одни, имея миллион, хотят иметь два и просаживают в рулетку последний цент. Другие ради своей идеи-фикс жертвуют десятками и сотнями тысяч жизней. В одной части света умирают в нищете целые нации, в другой деньги выбрасываются в толпу десятками тысяч. И что интересно, эта толпа ради мелких денег, летящих дождем с неба, опускается до скотского состояния. Чуть ли не в каждом новостях рассказывается об убитых или умерших от голода и жажды детях. Убить человека стало так же просто, как убить кошку

или собаку. Там, за стенами клиники, психические больные, там большая больничная палата. А мы здесь, в клинике, от них отдыхаем.

Сосед с грустинкой улыбнулся и пошел в палату собирать вещи.

После обеда один из студентов провел больного в специальную комнату, где ждала уже жена. Она привычно поцеловала его. Когда они сели на стулья рядом друг с другом, он взял ее левую руку в свои ладони и прижал к груди. Она давно не знала таких нежностей, и на ее глазах от счастья выступили слезы.

— Тебе уже лучше? — с надеждой спросила она.

Он торопливо закивал головой. Женщина несколько минут сидела молча, наслаждаясь теплом рук мужа. Стараясь не шевелить левой рукой, она правой полезла в сумку и достала фотографию.

— Посмотри, что я нашла в томике Пушкина, — и протянула фотографию больному.

Он отпустил руку жены и двумя руками ухватился за фотографию. Это была та фотография, из детства. Она изрядно пожелтела. Но на ней все также ясно были видны женщина в розовом крепдешиновом платье, мужчина в шляпе и в отутюженных брюках и мальчик с хвостатой раечкой на голове.

— Мама! — отчетливо и громко сказал больной.

Студент, который привел еще одного больного в комнату, повернулся в их сторону и по-русски сказал:

— Ну, земляк, ты даешь! Говорить начал! Скоро выпишут!

ВСТРЕЧА

Самолёт приземлился в аэропорту Ираклиона. Уже на выходе из самолета Якоб почувствовал обжигающее солнце, светившее с высоты. За ограждением аэропорта виднелись пологие холмы с пожелтевшей травой и пирамидальными, похожими на тополя, деревьями. Ландшафт напоминал ему природу южного Казахстана, где он родился и прожил большую часть своей жизни. И как-то сразу стало легко на душе. Он никогда не был в Греции, а тут случайно попалась горящая недельная путевка на остров Крит. Одну неделю отпуска они с женой отдыхали на даче. В прошлую субботу были приглашены на юбилей дальней родственницы. Когда пришли бумаги из турбюро, стало тревожно на душе. По телевизору показывали бесконечные забастовки в Греции, многотысячные демонстрации и драки ультраправых с полицией. Путёвки так резко подешевели, наверное, потому, что не стало желающих ехать на отдых в эту беспокойную страну.

В Ираклионе на забастовки и на какие-то волнения не было и намёка. Приветливый персонал заучено улыбался гостям, отъезжающие и прилетевшие пассажиры были озабочены традиционными проблемами, мирно беседовали шофера выстроившихся вдоль аэропорта автобусов. Якоб с женой нашли стойку представителя туристической фирмы. Миловидная девушка показала им автобус, который должен был отвести их в другой город. Они заняли места недалеко от водителя. Надо было ещё ждать несколько минут, пока не придут остальные туристы. Сиденья постепенно заполнились, и машина тронулась с места. Сначала ехали по узким улочкам города, на окраине у шикар-ного отеля высадили семейную пару, и через десять минут вы-рулили на автобан. Скорость увеличилась. Водитель включил кондиционер, и в автобусе стало прохладней. Якоб с женой, обменявшись несколькими фразами, откинули сиденья и отды-хали, посматривая иногда в стекла автобуса. Город остался по-зади. Справа виднелось синее море. Пологие холмы были заса-жены оливковыми деревьями и виноградом. Солнце давно пе-ревалило зенит и, когда автобус на извилистой дороге подстав-лял свой правый бок под его лучи, приходилось недочитанной газетой прикрывать голову, чтобы не получить солнечный удар. Жена, в конце концов, задернула занавеску на автобусном ок-не. Так сделали многие пассажиры, и в салоне стало темнее. Водитель заезжал по дороге в отеля и высаживал пассажиров, поэтому дорога до города Рефимно — конечный их пункт — оказалась намного длиннее.

Когда жена задернула занавеску, Якоб прикрыл глаза и стал вспоминать юбилей родственницы, на котором они были неделю назад. На самом деле, он не очень-то любил шумные праздники, но почему-то та суббота особенно запала в память. Запомнились не дальние родственники, которых годами не ви-дел, не общие знакомые из прошлой жизни, о которых уже поч-ти забыл. В памяти осталась и тревожила волнительно душу женщина, которая красиво пела знакомые песни. Она пришла вместе со своим другом-гитаристом. Мужчина был лет тридца-ти пяти, высокий и худощавый. Его длинные волосы были не-брежно зачёсаны назад, одет он был в простые и поношенные джинсы, клетчатую рубаху и немного узкую в плечах куртку. Женщина же рядом с небрежно одетым, нескладным и долговя-зым мужчиной выглядела изящно. На ней был черный элгант-ный, подчеркивающий фигуру, костюм, красивое смуглое лицо было обрамлено черными вьющимися волосами, собранные сзади в тугий и непослушный хвост. Ей было за тридцать, но выглядела она на восемнадцать. А голос её был бесподобен! Она пела романсы, и когда её идущий из глубины голос с цыган-ским оттенком брал высокую ноту, у Якоба останавливалось на

мгновение дыхание. Он боялся вдохнуть или выдохнуть, чтобы случайно не помешать этому звучащему в многолюдном зале звуку наполнить его дрожащую душу до самого края. Потом были танцы. Через мощные усилители лилась современная музыка. Мужчина умело управлял музыкальной аппаратурой, одна песня сменяла другую, и танцующие не оставляли круг, зараженные весельем и подогретые спиртным. А Якоб нетерпеливо ждал, когда снова будет петь молодая женщина. Но она не подходила к микрофону, сидела в кругу нескольких женщин, видимо знакомых, и о чем-то с ними разговаривала. Якобу хотелось подойти и заговорить с ней, но непонятная робость овладела им. На самом деле, он легко сходилась с людьми, и если хотел с кем-нибудь познакомиться, то всегда находил возможность сделать это. А сейчас он не узнавал себя. Женщина чем-то напоминала ему его первую школьную любовь. И тогда — в девятом классе — он, влюбленный в самую первую школьную красавицу, весь год только и делал, что исподтишка наблюдал за ней. Он вспомнил, как уговаривал себя подойти к девушке из параллельного класса, но сделав один шаг в её сторону, чувствовал, как ноги вдруг делались ватными, легким не хватало воздуха, горло пересыхало, мысли путались, и он даже про себя не мог выговорить ни одного слова.

Женщина, наконец-то, снова подошла к микрофону, мужчина отключил аппаратуру, взял гитару, и она запела песню, которую Якоб очень любил. В зале было шумно. Подвыпившие гости были заняты своими делами. Кто нашёл собутельников и усиленно подогревался спиртным, кто, проголодавшись, набирал себе еду у столов с блюдами, кто громко разговаривал с родными или знакомыми, которых долгие годы не видел. Якоб же, присев у края стола, поближе к музыке, замороженно слушал этот дивный голос, впитывал в себя слова песни:

«Но мой плаот,
Свитый из песен и слов,
Всем моим бедам на зло,
Вовсе не так уж плох».

Он никогда не слышал эту песню в женском исполнении, но голос певицы делал её ещё значимей и родней. Женщина, видимо, почувствовала внимание к ней, и иногда бросала короткий взгляд в его сторону и загадочно улыбалась.

Якоб в тот день так и не познакомился с ней. Уже поздно вечером, когда музыканты уехали, он спросил у юбилярши, кто была эта женщина, которая так красиво пела. Оказывается, эта красивая и притягательная женщина была давно замужем и у неё росли две дочери. Замужем или не замужем — это ничего не меняло. Состояние прикосновения к чему-то прекрасному и

возвышенному так и осталось в нём с субботы и тревожило по-прежнему душу. Сейчас, сидя в автобусе, Якоб подумал, что с такой женщиной можно было бы забыть всё на свете. Наверное, из-за таких женщин люди бросают жён и детей, расстаются с благополучной работой, уезжают за ними на край света.

Автобус свернул с автобана и въехал в город. Улица тянулась вдоль моря. Слева бесконечным рядом стояли то отели, то небольшие магазинчики, то рестораны и кафе, а справа синело море, берега которого были заставлены распахнутыми зонтами и расставленными лежанками. В море плескались счастливые отдыхающие. По тротуару не спеша шли легко одетые туристы. Водитель делал частые остановки, и когда дверь открывалась, чтобы выпустить на улицу очередную пару туристов, в охлаждённый кондиционером салон вползало тепло и запах моря. На одной из остановок предложили выйти Якобу с женой и еще одной пожилой паре. Водитель вытащил из багажного отделения вещи и переложил их в рядом стоявшее такси. Автобус уехал дальше по прямой улице, а таксист, когда расселись пассажиры, свернул в ближайший переулок, и через несколько минут езды по маленьким извилистым улочкам они оказались перед небольшим отелем. Туристов уже ждали. Им тут же раздали ключи от номеров, объяснили порядок работы ресторана, и Якоб с женой в сопровождении молодого человека, забравшего у них чемодан и сумку, поднялись на второй этаж. Номер оказался уютным, краска стен не навязчивой, в ванной всё блестело белым чистым кафелем, и из окна открывался вид на море и почти на весь Рефимно. Когда открыли балконную дверь, номер наполнился теплом и йодистым запахом морской воды. Якоб с женой распаковали чемоданы, приняли душ и спустились в ресторан на ужин. После ужина им не терпелось осмотреть город, и они прошли к набережной по узкой тропинке, которую им показала молодая гречанка из обслуживающего персонала. Тропинка сокращала вдвое путь в центр города и к берегу моря. Они бродили допоздна по старым улицам незнакомого города и, довольные увиденным и уставшие, вернулись в отель. На летней террасе отеля сидели отдыхающие. Якоб с женой тоже заняли место за свободным столиком, заказали красное вино и сидели с час почти не разговаривая, любуясь огнями города, мельканием фонарей на яхтах в порту и наслаждаясь морской свежестью.

Утром за завтраком Якоб прислушивался к разговорам, пытаясь услышать знакомую речь. К столу подошли две женщины средних лет. Они вежливо по-немецки поздоровались, оставили тарелочки с набранной едой, принесли по чашечке кофе и сели за стол. Одна из них была выше ростом, тонкая лицом и с короткой стрижкой. Вторая была круглолицая, невысо-

какая и чуть-чуть полноватая. Её длинные волосы были собраны на затылке заколками в аккуратный узел. Намазывая маслом булочку, та, что повыше, спросила по-русски подругу:

— Пойдем сегодня на море или останемся у бассейна?

— Давай, Эрна, пойдем к морю, но перед этим зайдём в магазин, — также по-русски ответила другая женщина.

Якоб, довольный тем, что услышал знакомую речь, одобряюще улыбнулся жене и, повернувшись к рядом сидевшей полноватой женщине, спросил на русском языке:

— Давно вы здесь, в отеле?

Как это обычно бывает, когда встречаются люди, говорящие на одном и том же языке, женщина не удивилась вопросу. Да это и понятно: где только не услышишь русскую речь в этом беспредельно перемешавшемся мире. Она улыбнулась Якобу и ответила:

— Мы здесь уже вторую неделю. А вы вчера прилетели?

— Да. Я Якоб, а это — моя жена Альвина, — представился он.

— Люба, — протянула маленькую ладонь круглолицая женщина.

Женщина повыше, сидевшая напротив и чуть наискосок от Якоба, в свою очередь протянула руку через стол:

— Эрна, — и спросила: — Вы пойдёте с утра к морю?

— Да. Может быть, мы пойдём вместе?

Договорились через час, когда пройдёт утренняя прохлада, встретиться у входа в отель и вместе отправиться на пляж. Завтрак прошёл в оживленной беседе. Они негромко разговаривали между собой на русском языке, и никто не бросал в их сторону беспокойные взгляды, никого вокруг не волновала чужая речь.

Море было теплым и ласковым. Якоб любил отдыхать у моря. После переезда в Европу он часто ездил в отпуск то в Хорватию, то в Италию или в Испанию. Отдых на берегу ему нравился больше, чем где-то в горах или в лесу. Они провели целый день на пляже, отвлекаясь только по очереди на обед. Их новые знакомые заказали на вторник машину, чтобы осмотреть достопримечательности острова. Договорились, что теперь поедут вчетвером, и Якоб возьмёт на себя половину расходов за аренду машины. Воскресенье и понедельник прошли быстро. Иногда с женой, иногда с новыми знакомыми, они осматривали город, побывали в старой крепости, обошли почти все маленькие узкие улочки, посидели в кафе на берегу маленькой бухты, где были пришвартованы роскошные яхты. Альвина, задремав под зонтиком на берегу моря и проморгав, когда тень ушла, сожгла себе плечи и руки. Пришлось искать аптеку, чтобы купить мазь от солнечных ожогов.

В понедельник вечером представитель туристической фирмы пригнал арендованную машину. Якоб принял ключи, и во вторник утром они выехали в сторону города Ханья. Город находился в восьмидесяти километрах от Рефимно, но дорога была хорошая. Автобан то тянулся вдоль побережья, то местами уходил в горы. Легкий бриз веял с моря. Когда дорога шла на подъём, к йодистому запаху морской воды примешивался запах леса и горных трав. Вдоль дороги богато цвели орхидеи, выстреливали ввысь островерхие кипарисовые деревья. Якоб вёл машину неторопливо. Времени у них было достаточно, да и ему тоже хотелось что-нибудь увидеть. В одном месте они остановились и со специально построенной для туристов площадки минут пятнадцать любовались открывшимся видом бескрайнего синего моря и засажеными оливковыми деревьями крутыми берегами.

В Ханье они оставили машину недалеко от центра. Обогнув бухту, вышли к старым улочкам города, где шла оживлённая торговля. На одном из перекрёстков им преградила дорогу молодая девушка и, поздоровавшись по-русски, сунула в руки проспект магазина «Kreta Gold», вход в который находился за её спиной. Золота и драгоценностей им не надо было. Якоб спросил симпатичную девушку, как пройти к городскому рынку, и та любезно показала направление. В благодарность Якоб сфотографировал её у входа в магазин. На крытом городском рынке они прошлись вдоль рядов с продуктами, заглянули в сувенирные лавки и свернули в рыбный отдел. Некоторые виды рыб Якоб видел впервые. На одном из прилавков лежал, распластавшись, кальмар. Его пупырчатые конечности нервно двигались, пытаясь зацепиться за скользкую поверхность и сдвинуться с места. Но сил для жизни у него оставалось мало. Перед другим продавцом на столе лежала огромная рыба. Её широкие глаза на тупорылой морде не мигая смотрели на проходящих, и от этого взгляда почему-то становилось стыдно перед этим существом. Налюбовавшись на экзотических рыб, вышли на свежий воздух. По пути к берегу моря неожиданно оказались на площади с огромным храмом посередине. Здесь отдохнули в тени на скамейке, сделал несколько фотографий. Недалеко находился исторический музей. Вход в него стоил недорого и они почти час провели в его прохладных залах, любуясь старинными скульптурами, внимательно разглядывая золотые, серебряные и бронзовые монеты, предметы семейного быта людей живших века и тысячелетия назад. Выйдя из музея, опять окунулись в удичную толчею. Солнце поднялось высоко и становилось жарко. Устав от городской суеты, решили покинуть город. Приближалось время обеда. Ещё вчера парень, который привёл арендованную машину, посоветовал им обедать в горах. Он называл селение, где в тавернах готовят отличную баранину и продают козий сыр. Решили обедать в той горной деревне.

Через полтора часа, поднявшись по извилистой дороге высоко в горы, доехали до спрятанного в ущелье селения. На въезде в деревню прочитали название «Аргируполи». Приехали правильно. Проехав еще с километр, оказались в живописном месте. По обе стороны дороги поднимались горы и на их склонах располагались несколько таверн. Они поднялись по вырубленной в камнях лестнице к одной из них. В тени деревьев и плетущихся лиан стояли деревянные столы. Из дверей каменной таверны вкусно пахло жареной бараниной. Чуть поодаль виделся вырубленный в скале родник. Вода из медной трубки стекала в небольшой чан. Вдоль каменной лестницы сбегал вниз быстрый ручей. Якоб, наклонившись, сполоснул его холодной водой лицо. Они заняли места поближе к кухне. Отсюда открывался красивый вид на тянущееся внизу ущелье. Обслужили их быстро. Баранина действительно оказалась отменной. Так хорошо приготовленное мясо Якоб ел в Казахстане, когда его соседи-азербайджанцы резали барана к празднику.

После обеда, допивая кофе, они сидели и обсуждали дальнейший план. Люба настаивала поехать к раскопкам, которые находились дальше в горах, а Эрна, Якоб и Альвина склонялись к тому, чтобы поехать к монастырю Аркади. Когда Якоб оставил пустую чашку из-под кофе, из кухни вышла женщина. Она прошла с кувшином к роднику, набрала воды и возвращалась назад. Якоб, не отрываясь, смотрел на неё. Она, задержавшись на миг у двери, глянула в его сторону. Её лицо еле заметно напрыглось, и по губам скользнула улыбка. Якоб узнал её. Он хотел тут же пойти за ней и назвать её по имени, но сдержался и стал отвлечённо слушать, о чём говорят женщины.

Они рассчитались и поехали к монастырю. Якоб думал о женщине, увиденной им в таверне. Лёгкое волнение и тревога беспокоило сердце. Он пожалел, что не окликнул её, но вернуться назад было уже невозможно.

До монастыря доехали за час. Он не пошёл вместе с женщинами осматривать развалины, а вошёл сразу в церковь. Сквозь затемнённые окна с трудом пробивался свет. С потемневших фресок и икон смотрели лики святых. Их взгляды были строги и вызывали в душе чувство вины и желание оправдаться перед ними за свою грешную жизнь. Недалеко от входа сидела старая женщина. Она была похожа на засохшую мумию. Якоб несколько минут наблюдал за ней. Женщина сидела неподвижно, глаза её были плотно закрыты и тонкие еле заметные ладони лежали на коленях. Казалось, она давно умерла, и её высохшее тело оставили здесь для экзотики. Но вдруг чуть заметно шевельнулись пальцы, открылись бесцветные глаза, женщина живо спрыгнула со старинного кресла и семенящим шагом поспешила к выходу из церкви. Она оказалась малень-

кой и хрупкой. Монашеская одежда свисала свободно с плеч и держалась на честном слове. Ей было, скорее всего, уже за сто лет, и сознание того, что он встретил в церкви такую старую женщину, ещё сильнее усилило чувство вины перед святыми. Он поставил несколько восковых свечек в память о своих давно умерших родных и вышел на улицу.

С неба гжучими лучами слепило солнце, и Якоб спрятался в тени одиноко стоявшего, засохшего дерева. Женщин видно не было. Войдя в открытую рядом дверь, он оказался в здании бывшего монастыря. Осмотрев старинные кельи и развалины взорванного хранилища, он вошёл в сувенирную лавку и там встретил женщин, которые покупали сувениры на память. Было уже больше четырех, когда они вышли из монастыря. Люба опять стала настаивать на поездке к раскопкам, которые, по её мнению, находились недалеко, всего в нескольких километрах от монастыря Аркади. На выезде из монастыря стоял щит, который указывал направление к раскопкам. Они проехали несколько километров и оказались в горном селении. В небольшом магазине Якоб спросил у продавца, как проехать к раскопкам. Тот долго не мог понять, чего от него хотят, но когда понял, вышел на крыльцо и показал направление. Они опять ехали несколько километров, пока окончательно не убедились, что уехали не туда и решили вернуться в город. Тем более, время перевалило за пять часов, и они не знали, как далеко теперь они были от города Рефимно. В город они вернулись в семь часов вечера уставшие, но всё же довольные поездкой.

Утром в среду жене от солнечных ожогов стало хуже, и она решила остаться в отеле. Подруги из солидарности остались с нею у бассейна, а Якоб, прихватив купальные принадлежности, пошёл на берег моря. Весь вчерашний вечер и всё утро он не переставал думать о женщине, увиденной им в таверне в горах. Она с годами изменилась, но, как ему показалось издалека, по-прежнему оставалась красивой. Когда-то в школе он любил её. Кажется, это была его первая юношеская любовь. Идя по тропинке к морю, Якоб вспомнил, с каким волнением он ждал звонка на перемену, чтобы снова увидеть её. В свои шестнадцать лет она превратилась в красивую молодую женщину и почти все начинающие взрослеть мальчики, солидные выпускники и даже молодые учителя подолгу провожали её глазами, когда она проходила мимо. Ходили слухи, что она встречается со взрослыми мужчинами, и это подогревало ещё больший интерес у неопытных мальчиков к этой кокетливой девушке. Якоб слухам верить не хотел. В его глазах девушка выглядела невинной и прекрасной. Вот только подойти к ней и признаться в своей любви он никак не решался. И чем дальше он не решался заговорить с девушкой о своих чувствах, тем тяжелее было пойти на этот шаг.

По пути к берегу моря Якоб купил газету и на пляже, окунувшись в тёплое море, не стал брать зонт и лежанку, а расположился в тени хилого куста и стал читать. Известная бульварная немецкая газета коротко и квалифицированно рассказывала об актуальных проблемах. Немного политики, немного сплетен, шокирующие факты банковских афёв, таблица доходов тех людей, которые свергли мир в кризис... Больше всего в газете его интересовали спортивные страницы. Приближался чемпионат мира по футболу, и большинство материалов были посвящены этому событию. Якоб с интересом прочитал последние футбольные новости, пару раз поплавал в море и, когда пришло время обеда, собрал вещи и пошел к променаду, где располагались многочисленные кафе, рестораны и закусочные.

На променаде, как обычно, было многолюдно. Особенно в обеденные часы туристы либо спешили в свои отели, либо искали подходящий ресторан или кафе, либо закупались в небольших магазинах, где на прилавках лежали свежие овощи, фрукты, хлеб и различные продукты. Якоб шёл к маленькому и уютному ресторану, где они с Альвиной уже однажды обедали. Переходя дорогу, обратил внимание на щит с объявлением. Автосалон предлагал по дешёвой цене машину в аренду. Якоб зашел в салон. За стойкой стояла молодая женщина. Он спросил её, сколько бы стоила ему аренда машины на полдня. Женщина его не поняла. Она громко крикнула на греческом языке в открытую за нею дверь, и оттуда тотчас же вышел пожилой мужчина. Он говорил по-немецки с большим акцентом, и Якоб повторил свой вопрос. Мужчина назвал цену, они немного поторговались и сошлись на том, что Якоб возьмет машину только до 18 часов и заплатит за это тридцать евро. Мужчина за десять минут оформил документы на аренду, они удостоверились, что топливный бак небольшого «Опеля» заполнен полностью, проверили работу мотора, и Якоб получил ключи от машины.

Из города выехал быстро. Тогда, когда он увидел объявление о дешёвой аренде машины, и тогда, когда вошёл в автосалон, он ещё не задумывался о том, зачем нужна ему машина. Спрашивая о цене, торгуясь, отвечая на вопросы при заполнении документа на аренду и получая ключи, он отмахивался от вопроса, который то и дело возникал в голове: «зачем ему машина?». Теперь признался себе, что со вчерашнего дня, с момента, как увидел знакомую женщину, он только и думал о встрече с ней.

Когда он перешёл в десятый класс, почти все его друзья уже дружили с девушками. У некоторых это была поверхностная дружба, некоторые искали просто приключений, некоторые любили друг друга по-настоящему. А Якоб продолжал любить свою девушку тайно и никому не признавался в своей любви. Однажды, после долгих мучений, он решил написать ей за-

писку. Якоб испортил несколько листов тетрадной бумаги, но всё, что было им написано, казалось ему примитивным и неубедительным. Наконец, он всё-таки написал такой текст, который, по его мнению, мог убедить девушку обратить на него внимание. Записка была написана наполовину его собственными стихами, они были неуклюжи и не всегда звучали в рифму, но были написаны от чистого сердца. Он был уверен, что такая прекрасная девушка должна понять его чувства. Он ещё несколько дней носил записку в нагрудном кармане рубашки, пока окончательно не созрел и попросил знакомого пятиклассника отнести записку Вале Онищенко. Ответ получил на следующий день. Тот же пятиклассник принёс ему вчетверо сложенный листок, на котором было только несколько слов: «Приходи в 9 часов вечера в пятницу в клуб. Буду ждать сзади у пожарной лестницы». Два дня Якоб был вне себя. Он получил двойку за контрольную по математике и двойку за невыполненное домашнее задание по физике. На переменах он по-прежнему искал её глазами и долго наблюдал за нею, пытаясь поймать её взгляд и прочесть в нём хоть какую-то надежду. Но она, как и прежде, холодно отворачивалась, безразлично скользнув по его лицу большими серыми глазами, и только иногда в них вдруг загорался бешеный огонёк и, вернувшись к разговору с девочками, она загадочно улыбалась.

В субботу Якоб надел новые брюки, купленные к приближающимся ноябрьским праздникам, чистую тщательно проглаженную рубашу и новенький пуловер. Мать скептически посмотрела на него, обозвала «женихом» и сказала, чтобы поздно не приходил. Сердце бешено билось в груди. От волнения он не замечал прохожих, с которыми обычно здоровался. Вечер был тихий. Наступил ноябрь, но было не холодно. Кое-где в садах хозяева сжигали опавшие листья, и случайно прилетевший ветерок приносил запах дыма. Темнело быстро. Во дворах суетились ещё хозяева, управляясь со скотом, и иногда было слышно, как кто-то шлепком успокаивал расшалившуюся Буренку, не дающую хозяйке устроиться возле неё для дойки. В клуб входили уже последние зрители. Сеанс начинался в девять часов. Якоба фильм не интересовал. Он обошел клуб и оказался у запасного выхода. Через дверь была слышна музыка начавшегося фильма. Запыленный фонарь освещал пожарную лестницу, которая тянулась к крыше. В метре от стены клуба буйно росли кустарники, и за ними начинался деревенский парк. Никого у двери не было. Якоб растерянно оглянулся и нерешительно позвал: «Валя!» Кто-то засмеялся, и из кустов вышла девушка. В тусклом освещении фонаря она выглядела прекрасно. Не отводя от неё взгляда, Якоб чуть слышно проговорил: «Здравствуй, Валя». Она засмеялась и, не отвечая на приветствие, спросила:

— Так ты хочешь со мной дружить?

— Да. Ты мне давно нравишься и я...

Она, не дав ему договорить, со злостью в голосе спросила:

— Как ты это себе представляешь? Дружить — это значить с тобой за ручку ходить, вместе кино смотреть в клубе, говорить друг другу красивые слова?

Она с издёвкой засмеялась и продолжила:

— Мы же не в пятом классе. Прекрати за мной на переменах следить. Девчата уже смеются из-за тебя надо мною. И пойми, я с молокососами не дружу!

За нею шевельнулись кусты. Хрустнула под чьими-то ногами сухая ветка. Из кустов вышли двое. Одного Якоб узнал, а второй был ему незнаком. Они были много старше него. Генали работал продавцом в сельповском ларьке и жил недалеко от клуба. Одет он был в расклешённые брюки и цветную рубашку с большим стоячим воротником. Он вплотную подошел к Якобу и спросил:

— Ты что к моей девушке пристаёшь?

Изю рта Генали пахло чесноком, а от одежды резкими духами, и от этого смешанного запаха Якобу стало противно до тошноты. Но скорее всего, тошно ему стало от подступившего страха. Он понял, что отсюда без драки не уйдёт. И кто будет победителем в этой драке — было тоже ясно. У него была возможность ещё отступить; можно было извиниться и уйти, а можно было просто убежать, но он ни того, ни другого не стал делать.

— Валя мне нравится. Пусть она мне сама скажет, что не желает со мной встречаться.

— Ты, балда, — Генали ухватился за воротник рубашки Якоба, — это я буду решать, а не она.

Якоб с силой оттолкнул его от себя и тут же получил удар кулаком в висок. От неожиданности он потерял равновесие и упал на лестницу. Он ухватился за её перила, пытаясь подняться, но друг Генали ударил его ногой в живот, снова свалив на ржавые ступеньки. Двое били его умело и расчетливо. Якоб пытался пару раз достать кого-нибудь из них кулаком, но те были опытнее в таких делах, и его кулаки молотили только воздух. Он всё ещё пытался встать на ноги, но эти двое не давали ему передышки. Кто-то из них снова угодил кулаком в висок. В глазах в секундном такте замелькали искры, и вдруг стало темно.

Через несколько минут Якоб очнулся. Никого рядом не было. Он поднялся с земли и присел, опершись спиной о железную лестницу. Правый рукав белой рубашки был измазан ржавчиной. Из носа капала кровь на новый пуловер и брюки. Он достал из нагрудного кармана рубашки надушенный платочек и приложил его к носу, пытаясь остановить кровотечение. Ему было обидно, и к глаза наворачивались слёзы. Он пытался сдерживать их, но они всё равно полились ручьем из глаз.

Придерживая одной рукой платочек у носа, он пытался смахнуть второй ладонью слёзы, но от этого лицо стало мокрым и глаза потеряли резкость. Вдруг всплыло в памяти лицо Вали. Когда его били, он несколько раз мельком видел её. Она стояла недалеко под фонарём и смеялась. Этот её издевательский смех всё ещё продолжал звучать в его ушах. И от этого на душе становилось еще противнее, и обида разрасталась до неимоверных размеров. Кровь из носа остановилась, он отбросил платочек в сторону и прижал ладони к ушам, пытаясь заглушить издевательский смех девушки. Но смех шёл не снаружи, он шёл изнутри, он плотно зацепился в памяти. Несколько лет после того события Якоба преследовал этот смех, приходил ночными кошмарами. Особенно тогда, когда кто-нибудь предавал его, или когда он попадал, казалось бы, в безвыходную ситуацию, этот смех начинал вдруг звучать в его ушах. Он научился бороться против этого. Он начинал тогда работать как бешенный, не давая себе передышки, он делался активным, он шёл опасностям наперерез, он не боялся ударов, и, в конце концов, выходил из всех передраг победителем. Но тогда, у заднего крыльца клуба, он был юн и неопытен, и этот идущий из памяти издевательский смех делал его слабым и беспомощным до такой степени, что ему хотелось тут же найти верёвку и удавиться.

Якоб пришёл домой, когда все уже спали. Он зашёл в летнюю кухню, нашел чистую тряпку и в огороде у арыка долго счищал с одежды пятна крови. Два следующих дня он не выходил из дома и в школу в понедельник пошёл с неохотой. Впервые, под левым глазом расплылся синяк, во-вторых, боялся встречи с Валею. Поэтому на переменах старался оставаться в классе и без нужды в коридор не выходил. На вопросы друзей, откуда у него синяк, объяснил, что получил по глазу отлетевшим куском саксаула, когда готовил дрова для печки.

Так получилось, что в школе он долго не задержался. Ещё до того события он начал дружить с парнями, которые были взрослее его. Они промышляли сомнительными делами, втянули его в историю, и Якоб вынужден был, не дожидаясь, когда исключат из школы, сам бросить её и пойти на стройку рабочим. Потом была служба в армии, учеба в техникуме и в институте. Он встретил женщину, которую по-настоящему полюбил и которая любила его. У них сложилась счастливая семья. Он давно забыл о том злополучном вечере. Только иногда в трудные минуты жизни ночью во сне приходил кошмар — не видя лица, он слышал издевательский смех молодой женщины, от которого делалось тошно на душе. И вот после случайной встречи у таверны в горах, всё снова всплыло в памяти. Ночью он проснулся от звучащего в ушах издевательского смеха. Когда увидел предложение дешёвой аренды машины, сразу решился на по-

ездку в горы. Он хотел знать, почему она поступила с ним так. Он надеялся получить ответ на вопрос, который годами скрывался в его подсознании, всплывая иногда, бередя душу.

Через несколько десятков километров езды свернул с автобана. Ему понадобилось ещё полчаса, чтобы добраться до горного селения. На перекрестке остановился. Дорога ответвлялась — одна часть поднималась дальше вверх, где виднелись крыши селения, другая её часть спускалась к ущелью, где находились таверны. Он задумался на мгновение и решительно свернул к дороге, ведущей вниз. Оставив машину на стоянке, поднялся по лестнице, прошёл мимо родника к террасе и оттуда ко входу в таверну. На террасе сидели несколько человек, в самой же таверне никого не было. Но здесь было намного прохладней. Из подсобного помещения выглянула женщина и спросила на греческом о чём-то. Якоб ответил по-немецки. Женщина ничего не поняла и исчезла, и буквально сразу из-за двери вышел пожилой грек. Он на ломанном немецком предложил занять место за столиком и протянул меню.

— Извините, я не обедать. У вас тут работает, насколько я знаю, женщина из России. Её звать Валя.

— Ах, Валя. Она сегодня отдыхает.

— Далеко она живёт отсюда?

— Да нет. Её дом отсюда, с террасы видно. Пойдём, покажу.

Они вышли из таверны, подошли к каменному ограждению террасы, и мужчина, протянув руку в сторону видневшихся снизу крыш, сказал:

— Вон та крыша с железной трубой. Поедешь вниз по дороге и через километр будет её дом.

Якоб поблагодарил мужчину за помощь и спустился к машине. Через десять минут он остановился у большого дома. Низкий забор тянулся вправо и влево. Калитки не было, и от дороги к крыльцу тянулась брусчатая тропинка. Видно, что по ней много не ходили, так как сквозь камни пробивалась густая трава. Вокруг дома росли фруктовые деревья и кустарники. Солнце склонялось к западу и как раз плотно оседало нависающую над несколькими домами гору. Но даже его упорные лучи не могли пробиться к стоявшему в тени деревьев дому. Когда Якоб вышел из машины и захлопнул за собой дверь, он увидел, как колыхнулась у окна возле двери занавеска. Сразу за этим на крыльцо дома вышла женщина. Она была одета в тонкий и выцветший от времени хлопчатобумажный халат без рукавов. Прежняя красота ещё была в ней заметна, но пережитые годы уже оставили свой след на её лице и фигуре. Она открыто улыбнулась ему и сказала:

— Я предчувствовала, что ты приедешь, — и, указывая рукой на вход, продолжила: — Проходи в дом, Яков.

— Яacob, — поправил её Яacob и, проходя мимо, добавил в шутовском тоне: — Не могу же я, увидев в чужом краю землячку, не навестить её.

Несмотря на жару, в доме было прохладно. Яacob, не разуваясь, прошел в большую комнату. Здесь стояло несколько темных деревянных шкафов, мягкий уголок был стар, материал вытерся и потерял свой первоначальный цвет. В углу напротив дверей под окном приткнулся большой стол, и к нему было придвинуто несколько стульев. Небольшой телевизор стоял на маленькой тумбочке между двумя шкафами. Он был включён, шло какое-то шоу. Сразу за дверью в нише начиналась лестница на второй этаж. Её деревянные ступени от многолетнего использования потеряли свою форму и давно требовали ремонта.

— Садись, — предложила Валя, указав рукой на диван.

Она вытащила из-под лестницы журнальный столик на колесиках и подкатила его к дивану.

— Ты уже обедал? — спросила она.

— Нет.

— Подожди, я сейчас что-нибудь быстро приготовлю.

Она вышла, и Яacob остался один. Со вчерашней случайной встречи он думал о ней. Как тогда, в юности, при мыслях о ней, беспокойно билось сердце и волнение входило в душу. А теперь, увидев её, перебросившись с нею парой фраз, волнение исчезло, и он даже стал жалеть о том, что приехал сюда. Когда шёл в дом, когда устраивался на диване и отвечал на её вопросы, он внимательно присматривался к ней, пытаясь узнать в ней ту школьную красавицу. Для своих лет она оставалась ещё красивой, но это была не та юношеская красота, сводившая его с ума. Глаза её потухли, морщины богато украшали лоб и углы глаз, на чуть одутловатых щеках проглядывали тонкие красноватые полоски. Когда Валя выходила из комнаты, Яacob проводил её взглядом и обнаружил, что она была обута в стоптанные шлёпанцы на босу ногу, и пятки были слегка измазаны то ли глиной, то ли в них уже въелась от каждодневной возни по хозяйству грязь, которую было невозможно смыть. Когда-то стройные ноги стали полными, и на них виднелись вздутые каналы вен. Эти немывтые пятки, эти стоптанные шлёпки, эти извилины вздутых вен, эти красные прожилки на полных щеках были Яacobу неприятны. Со школьных времен Валя осталась в его памяти красивой, стройной и недосыгаемой девушкой, а теперь он встретился с усталой и измученной домашней работой женщиной, не больно-то озабоченной своим внешним видом. Яacob вдруг понял, что все эти годы после школы продолжал идеализировать облик своей первой любви, не задумываясь

о том, что девушка может с годами стать другой. Глубоко в памяти у него оставалась тоска по прекрасной девушке из своей юности, любви которой он так и не добился. И вдруг ему стало ясно, что судьба с ним поступила по-доброму. Перед ним на миг возник облик жены. Она была на два года младше Якоба, но выглядела намного моложе его. И теперь, думая о жене и мысленно сравнивая двух женщин, он обнаружил в себе, что Валя не вызывает в нём никаких эмоций, а от возникшего в памяти образа жены на душе стало спокойно и уютно. «Зачем я приехал сюда?» — спросил себя Якоб. Ему стало жаль зря выкинутых денег за аренду машины. И ответов на вопросы, которые он хотел задать Вале, ему уже не хотелось знать. Но с другой стороны, может быть, опять распорядилась судьба, сведя двух земляков, один из которых когда-то любил другого, а другой превратил это светлое чувство в издевательство. Наконец-то можно будет поставить все точки над «і», и Якоб избавится от навязчивого кошмара, приходившего к нему в трудные минуты жизни.

Вошла в комнату Валя. Она несла в руках две широкие тарелки. На одной из них были нарезаны тонкими полосками козий сыр и мясо, на другой лежало несколько кусков белого хлеба и нарезанная кусочками колбаса. По комнате распространился аппетитный запах домашнего сыра. Она поставила тарелки на столик и снова ушла. Через пару минут вернулась с чайником и двумя бокалами.

— Ты будешь чай или кофе?

— Если можно, чай. Зеленый.

— Зелёного нет. Могу предложить черный или из трав.

— Давай тогда лучше чёрный.

Она бросила в бокалы по *бойтелю* черного чая, залила кипятком и в ожидании, когда чай запарится, подпёрла рукой щеку и вопросительно уставилась на Якоба.

— Не ожидал увидеть тебя здесь, в Греции, да еще на этом острове, — сказал Якоб.

Он так и не пообедал и, положив на пахучий белый хлеб пару кусочков мяса и прикрыв его козьим сыром, с удовольствием ел, запивая чаем.

— Раньше жила в Афинах, там мы с мужем квартиру купили. Сейчас сын в ней живет. А этот дом принадлежал дяде моего мужа. Когда мой муж от рака легких умер, переехала сюда.

— Как ты вообще оказалась в Греции?

Она начала рассказывать о себе, но Якобу почему-то стало неинтересно её слушать. Ещё в Казахстане, приезжая изредка в гости в село, он спрашивал своих родных или знакомых о ней. Иногда, бывая в центре, издалека видел её. Но так и не решался снова с ней заговорить. Он знал, что она официально

не замужем, но живёт с Гелани, от которого у неё был ребёнок. Потом слухи донесли, что Гелани посадили за растрату, а Валя вышла замуж за водителя автолавки из райцентра.

— А ты где сейчас живёшь? — прекратив свой рассказ, спросила Валя.

— Я живу в Германии.

— Так и думала. Ты же немец. Из нашего села все немцы уехали. Вчера в таверне рядом с тобой сидела твоя жена? Ну, та, которая с обгорелыми плечами?

— Да. Сгорела на солнце, не уследила.

— Симпатичная. Долго ещё будете здесь?

— Да нет, в воскресенье улетаем.

— Приезжайте в пятницу или в субботу вечером. Приготовлю ужин. У меня есть хорошее домашнее вино. Посидим, поболтаем.

— Я не знаю. Надо с женой поговорить.

Валя встала, прошла к столу, взяла лежавшую там ручку, оторвала от листка кусок бумаги и что-то написала на нём.

— Вот мой телефон, — сказала она, протягивая обрывок листа Якобу, — позвони, если надумаете приехать. Я буду ждать звонка.

В её голосе вдруг появились просительные нотки, и от этого в душе Якоба непроизвольно шевельнулась жалость к своей землячке. Он вдруг понял, что этой женщине одиноко и тоскливо в этом чужом краю.

— Дети часто приезжают? — спросил он.

— Как тебе сказать? Сын почти не приезжает. А дочка заявляется только, когда продукты кончаются.

Она замолчала и отвернулась к окну. Пауза затягивалась, и Якоб не знал, как ему дальше продолжить разговор. Ему вдруг стало ясно, что с этой чужой женщиной ему буквально не о чём говорить. Когда-то их судьбы соприкоснулись, но потом дороги разошлись. Каждый жил своей жизнью, каждый накапливал свой опыт и каждый пожинал теперь то, что когда-то посеял.

— Может быть, останешься у меня ночевать? — не поворачиваясь от окна, спросила женщина.

Её вопрос прозвучал еле слышно, и в голосе чувствовалось какое-то волнение. Якобу было ясно, что стояло за этим вопросом, но делав вид, что ничего не понял, ответил:

— Не могу, Валя. Я машину арендовал только до шести часов. И потом, договорились со знакомыми сегодня вечером в ресторан пойти.

Он мог бы ещё больше часа оставаться в гостях у женщины. Может быть, нашлось бы, о чём поговорить, но Якобу вдруг захотелось как можно скорее уехать отсюда. Он встал. Валя тоже поднялась с дивана. Она старалась не смотреть на него.

— В гостинице есть телефон, позвони. Я была бы очень рада, если вы приехали бы ко мне.

— Валя, я не буду обещать. Извини, мне надо ехать.

Он пошёл к выходу. Якоб сознательно оставил записку с телефонным номером на столе. Возможно, Валя этого не заметила, а может быть, и заметила, но не подала вида. Солнце опускалось за горы. Его последние лучи пробивались ещё сквозь островерхие камни вершин, но здесь в ущелье уже наступал сумрак, хотя время было не позднее. Валя молча шла за Якобом к машине. Он взялся рукой за дверную ручку и спросил Ваю:

— Ты когда последний раз ездила в Казахстан?

Этот вопрос его совершенно не интересовал. Но о чем-то надо же было говорить.

— Я уже пятнадцать лет там не была. Сын ездил в позапрошлом году к своему отцу.

Якоб открыл дверь, но в машину не садился. Ему всё-таки хотелось задать вопрос, который давно пульсировал в мозгу. Но Валя опередила его.

— Ты всё ещё помнишь о том случае в клубе?

Она не смотрела на него и вопрос задала тихо и несмело, будто чего-то стесняясь.

— Сначала часто вспоминал, а потом забыл.

О том, что забыл, Якоб соврал. Но ему не хотелось признаваться в своей слабости, не хотелось дать понять Вале, что та встреча у клуба навсегда врезалась в его память.

— А мне наоборот, часто вспоминается тот случай. Ты прости, если можешь, меня. Я же тебя тогда, можно сказать, предала.

— Валя, я всё давно забыл. Но если тебе обязательно нужно моё прощение, то я прощаю тебя.

Он старался говорить бодрым и безразличным голосом, но внутри росло раздражение и чтобы не выдать себя, он решительно сел за руль и завёл мотор.

— Прощай, Валя.

Машина тронулась с места. За колёсами поднималась пыль. Якоб видел в зеркало заднего вида одиноко стоявшую женщину, монотонно махавшую ладонью до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом.

Якоб проехал мимо таверны к перекрёстку дороги и остановился на обочине. Раздражение сменилось сожалением. Ему стало жаль себя. Он почувствовал, как в углу глаз появилась мокрота. «Отчего я так расстроился?», — спросил себя Якоб. Оттого ли, что ему было жаль тех лет, когда он продолжал тайно в душе любить нарисованный им идеал девушки? Или оттого, что он наконец-то понял, что первая его любовь оказалась пустой, неоправданной, раньше времени состарившейся женщиной? Он

попытался вызвать в памяти лицо молодой Вали, вспомнить её издевательский смех в тот момент, когда его избивали двое взрослых мужчин, и не смог. Раньше и лицо, и издевательский смех приходил на память без всяких усилий, иногда даже не-прошено, а сейчас он не мог вызвать из памяти ни того, ни другого. И вдруг Якоб понял, что теперь, после встречи с Валею, он наконец-то навсегда избавился от своего кошмара. От этого на его душе стало спокойно и радостно. «И слава Богу», — громко проговорил он и решительно поехал по извилистой дороге в город, туда, где била ключом жизнь, туда, где ждала его любимая женщина.



Мария ШЕФНЕР

/ Мюнхен /

Родилась в Казахстане. Окончила Кустанайский пединститут, позже — Московский финансово-экономический институт. С 1998 г. живёт в Германии. Член Литературного общества немцев из России. С 2007 года руководит проектом «Чтения российских немецких авторов в Баварии» при поддержке Баварского Министерства по труду и социальной работе. Автор книг «Високосный год» и «За колкой остью».

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Мой заснеженный медвежий угол
Лишь своей бескрайностью хорош.
Только за особые заслуги
В этакую даль и попадешь.

Старая соседка-фельдшерица
Косо и со скепсисом глядит:
«Уж така-то молода девица,
Года не дотерпит, усвистит.

Пофранцузишь, милая, да бросишь.
Много побывало тут таких.
Но всегда весна сменяет осень
И уводит пришлых молодых.

Наше место гиблое, глухое,
Вольного не примет на порог,
Но своих не пустит из постоя,
Хоть и вышел приговора срок.

Нашим детям мудрости из книги
Ни к чему, когда клеймо на лбу.
Каждый род здесь обречен на гибель.
Никому не обмануть судьбу...»

И пошла, окинув долгим взглядом.
За врага ль признала? За свою?
Видно, здесь других примет не надо.
По статье своих распознают.

* * *

Коснётся мать горячими губами
Щеки, окоченевшей на ветру —
И будто снимет с сердца тяжкий камень,
Который через годы волоку.
Здесь одиночества
угрюмый старый призрак
Растает от домашнего тепла,
И я взгляну
сквозь розовую призму
На этот дом, где юность протекла,
Где жизнь ещё
не предъявила счёта,
Не требуя расплаты за грехи,
Где я, прислушиваясь, жду ещё кого-то,
Чей путь далёк
и чьи шаги тихи,
Где пианино, клавишами скалясь,
Любовно глушит
мой фальшивый звук,
Где я как должное
воспринимаю жалость
И тягостных не ведаю разлук,
Где незнакомы мне мои сомненья,
Где в этой жизни я — желанный гость,
Которому тяжёлого похмелья
Пока ещё узнать не довелось...



Корней ПЕТКАУ

/ 1936 – 2013 /

Корней Петкау родился в 1936 году в немецком селе на Алтае. В 1967 году поступил в Ленинградскую высшую школу культуры. На пенсию вышел в должности директора Алтайского краевого центра немецкой культуры. Автор сборников стихов и песен. С 1998 года жил в городе Висбаден в Германии. Умер в 2013 году.

ЗВУЧАЛ САКСОФОН

Курт Кригер тяжело болен. Звоню ему, бывало: «Как дела, Курт?» «Всё о'кей! Если завтра ветра не будет, пойдём к девкам». Потом на плохом русском добавляет: «К дояркам колхозным!» И смеётся громко и заразительно. За семь лет пребывания в русском плену после окончания второй мировой войны он научился кое-как объясняться на русском. Он и сейчас иногда связывает свою немецкую речь русскими матерками. Когда приезжаешь к нему, он всегда что-нибудь расскажет о своём прошлом, о годах, проведённых под Астраханью в пригородном селе, пьём чай с Pralinen — красивыми и вкусными конфетами его собственного изготовления. Первая довоенная профессия Курта была кондитер. Призвали его сперва на службу в Северную Африку, потом в августе сорок первого перебросили на Восточный фронт, московское направление.

В плен он сдался сам, в конце 42-го года, когда уже хорошо понял, что идея Гитлера о превосходстве голубокровной нации — чушь несусветная. Некоторые соседи недолюбливали его за это. Один из его родственников, Рудольф, говаривал, что 30-е годы, когда его отец — интендант ставки Гитлера — занимал важную должность, считает лучшими годами своей жизни. «Если бы не плохие дороги, точнее, их отсутствие, и не морозы зимы 41–42 годов, мы бы победили!» — говорил Рудольф.

Я нет-нет, да и принимал приглашения Курта, и мы, разъезжая на его «джипе», знакомились с окрестностями Вис-

бадена, разговаривали о том, о сём. Иногда к нам подсаживался огромный кот Кригера по кличке Евнух (что соответствовало истине). Кот был не только очень крупным, был он ещё и очень умным. Усвоив по-немецки чёткий жизненный ритм Кригера, кот начинал беспокоиться и мяукать, если ровно в 13.00 хозяева не садились за стол. После обеда Евнух сопровождал Курта на место отдыха в кабинете, ворча на своём кошачьем языке что-то вроде: «Сейчас выпишься, а ночью будешь сам с собой разговаривать. А мне — слушай в сотый раз про бой под Наро-Фоминском, про русскую девушку Лидию из-под Астрахани...»

Не боялась Лидия прибегать к пленному Курту на тайные свидания, которые проходили под сенью огромного дерева, отделив стоявшего в лесу у лагеря, и прекратились эти встречи только после того, как она забеременела — ведь нельзя же было допустить, чтобы молва по пригороду Астрахани пошла. Ох, непопулярна была такая любовь в послевоенной России... Уехала Лидия в Сибирь на какую-то стройку, отдав за право получения паспорта (колхозникам в послевоенные годы было запрещено покидать сёла) золотое фамильное кольцо Кригера. Клялась ждать и оставаться верной. Да что уж там говорить! Может, и ждала. Скорее всего, и верной осталась — выходить замуж в России после войны было не за кого. Сколько молодых не вернулось домой с полей сражений, из концлагерей...

«Вот, говорят, что любовь — это что-то придуманное, нереальное, — рассуждает, бывало, Кригер, — ан нет, я испытал это чувство, правда, один раз в жизни. Хотя, между нами мужчинами, я любил, вернее, пребывал, извините, в постели со многими прелестницами, охочими, как и я, до интимных приключений, но то, что у меня было к Лидии, наверное, только один раз и может быть. Ну вот, представь себе, — продолжал Кригер, — девушка, в общем-то невыдающейся внешности, робкая, неуверенная в себе, сразу же на одном из первых свиданий отдалась так горячо, так неистово в свои, в общем-то, уже зрелые года, как будто не было огромной пропасти между нею — русской бедной одинокой женщиной — и мною, военнопленным, уже женатым (он ей рассказал о жене и дочери, живших неизвестно где после отторжения части территории его страны Польшей). Если бы Лидия, например, заболела, я бы смог за ней ухаживать, мне не в тягость было бы взять на себя даже гигиенические заботы о ней! Она была как бы моим продолжением, я о ней думал всегда, да и сейчас думаю, хотя реже, конечно. Ночью я с котом разговариваю иногда без слов, но он меня понимает. Утром разговариваю с горlinkами в саду, если, конечно, время для отдыха есть. В воскресенье, например.

«Эх, Лидия, Лидия!» — и замолчит. Помолчим, и опять о Лидии. «Пока мы с ней просто общались урывками, когда она на лошади привозила испечённый в колхозной пекарне хлеб, то выглядела этакой робкой и невинной девушкой, но стоило ей стать любимой женщиной (а в это она поверила сразу и окончательно), в ней появилось осознание своей значимости, своей, если хотите, красоты. Мужчины стали оглядываться заинтересованно, женщины завистливо и подозрительно...»

О горлинках особый разговор! Как только Курт узнал, что я неравнодушен к голубям, он поведал мне о своей любви к голубиной родне, к горлинкам — крупным красивым птицам с обязательной светлой полоской вокруг серой шейки. Кригер был от природы человеком грустным, тревожным: пение и стенания горлинок трогали, волновали какие-то невидимые струны его души.

Как-то, знакомя меня с окрестностями Висбадена, он вёз меня к находившемуся в пригороде натурпарку-фазанарию, и остановил машину около отдельно стоявшего огромного дерева. «Здесь,— сказал он,— живут самые музыкальные горлинки. Это место для меня свято. Сюда я иногда приезжаю, когда грусть-тоска заедает, когда нахлынут воспоминания, когда ко мне издали приходит Лидия с моим рождённым или не рождённым сыном. Откуда и что я могу знать? Это место я называю Деревом любви. Под Астраханью было такое же...» Ветер играл листвою, шевелил седые кудри Курта, а по щеке этого мужественного человека катилась слезинка. По дороге Курт поведал мне ещё одну наро-фоминскую историю.

Поздней осенью, золотой и красивой, унтер-офицера пехоты Кригера перебросили из Северной Африки на восточный фронт. Уже падал снежок, когда воинская часть Кригера подступила к Наро-Фоминску, считай, к Москве. Выравнивая линию фронта, подразделение Кригера заняло одну сторону русской деревни, как бы прижатую к лесу. Другую сторону деревни заняли солдаты Красной Армии. Вышло противостояние с видимым вынужденным коротким перемирием. Обе стороны не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы продолжать военные действия — ждали подкрепления. Три дня ходили открыто за водой, готовили на кострах простую солдатскую еду. И обе стороны слушали музыку — звучал саксофон.

Саксофон играл блюз — классно и талантливо. Музыка заставила себя слушать, остановила войну, сняла чувство напряженности, враждебности. В подразделении Курта Кригера воевал, если можно так выразиться, Гюнтер Вебер — саксофонист известнейшего по тем временам циркового оркестра, лауреат многих международных конкурсов. Вебер был призван в армию, попал на фронт, но солдат он был никакой. Даже не

плохой, а просто не воин. Потомственный берлинский музыкант, обладатель абсолютного музыкального слуха, близорукий, в толстенных очках, он всякими правдами и неправдами умудрился взять с собой на фронт саксофон. Многие офицеры знали об этом, как знали по радиопередачам самого Вебера, прощали ему эту слабость, закрывая глаза на явное нарушение служебного устава только потому, что преклонялись перед его талантом — гордостью Германии.

Саксофон играл блюз. Падали редкие поздние листья, ярко горели красные гроздья рябины, и кружила над избой голубиная стая. Гюнтер сидел под голубятней, хозяйева которой, оставив дом, ушли в лес. Кригер, увидев голубятню, выбрал для своего отделения этот и соседний дом. Войдя в него со своими солдатами, Кригер увидел старую женщину, которая деревянной лопатой вынимала из русской печи горячие свежиспечённые хлебы. Она, видимо, не боялась их, раз осталась в доме и не ушла со всеми в лес.

Голодные солдаты отпихнули женщину, схватили буханку и хотели разломить её. Курт резко остановил это безобразие. Какое же было его удивление, когда старушка, расстегнув ворот своей кофты, сняла с себя крестик и одела его на Курта. Более дорогого подарка или, если хотите, награды, Курт не получил за всю свою жизнь. Женщина угостила солдат свежим хлебом, а потом без суеты, спокойно, опять же ничего не боясь, завернула две буханки хлеба в чистое полотенце и ушла в лес к детям и внукам.

Музыка из джазовой перешла в лирическую, зазвучал вальс-бостон. Голуби сели на прилётный шест. Обычно после полёта самцы воркуют, совершая характерные круговые вращения перед своими голубками. Но сейчас звучал саксофон, и птицы сидели спокойно, точно тоже слушали.

Русские танки подошли неожиданно и с ходу начали поливать пушечным огнём дома, в которых были немцы. Опытный воин, Кригер отметил, что снаряды точно и прицельно поражали дома, где были немецкие солдаты, но ни один из снарядов не попал в старую полуразрушенную деревянную церковь, стоящую на взгорке около леса. «Из уважения к вере предков или из страха перед высшей силой?» — подумал Кригер и машинально потрогал подаренный ему православный крестик. Изба, где был Кригер, вспыхнула сразу. Сухое дерево горело яростно и страшно. Кригер уводил отделение в лес и вдруг увидел: Гюнтера среди отступающих нет. Назад. В дом, объятый пламенем. Саксофонист без очков, близоруко прищурившись, сидел спиной к печке, прижимая к груди инструмент. «Гюнтер, бежим!» — закричал Кригер и, увидев обезумевшие от шока и страха глаза солдата, подбежал к нему, но был отброшен к двери пинком обеих ног музыканта. Удар пришёлся в солнечное

сплетение и Кригер, держась за косяк, с трудом поднялся на ноги. В это время обвалился потолок... Кригер уходил в спасительный лес. Слава Богу, что в густом лесу танки неповоротливы и неэффективны, а солдат у противника тоже, видимо, было негусто. В общем, Кригер почувствовал, что преследования нет. Собрал отделение и разрешил отдохнуть. Надо жить дальше, надо опять воевать. Кригер лежал на спине под деревом. Высоко в небе тревожно ходила голубиная стая, оставшаяся без крова. В ушах всё ещё звучал вальс-бостон...

Прошло шестьдесят лет. Кригеру очень хочется побывать под Наро-Фоминском и съездить в Астрахань. Да вот вопрос: успеет ли?

Владимир ШТЕЛЕ

/ Кассель /



Родился в 1948 году в Сибири. Детство прошло в шахтёрском городке Анжеро-Судженск Кемеровской области. Окончил Кузбасский политехнический институт, получил профессию горного инженера, имеет учёную степень. Более 20 лет работал в Сибирском отделении АН. В 1992 году переехал в Германию. В настоящее время работает инженером-проектировщиком в одном из ведущих предприятий горнопромышленного комплекса Германии.

Первые литературные публикации появились в местной печати в 60-е годы. В русскоязычных изданиях Германии опубликовано несколько десятков рассказов, подборок стихотворений и публицистических статей, а также книга рассказов «Дурнина» (2008) и книга иронических стихов «Письма из провинции» (2009).

НЕМУДРЯЩИЕ ИСТОРИИ

1. Это раки засвистели

Я лежал с тобой в постели,
Было тихо на дворе,
Но вдруг раки засвистели
На кудькиной горе.

Что за музыка такая?
В этой музыке я спец:
Это значит, дорогая, —
Всем мечтам твоим — *капец*.

Ты носки из шерсти вяжешь,
Всё — напрасные труды,
Ну куда пошёл? — ты скажешь,
Я отвечу — *никуда*.

Радио — про клён опавший,
Ухожу без лишних слов
В *никуда*, не попрощавшись,
Тёплых не надев носков.

Застели свои постели,
Ухожу я на заре,
Это раки засвистели
На кудькиной горе.

2. Как им знать?

Вдалеке, где лугом бродит лошадь,
Иль не лошадь, а её душа,
Шепчет девочка — Какой же ты хороший!
Мальчик вторит — Как ты хороша!

Вдалеке, где бродит эта лошадь,
Или лошадиная душа,
Девочка сняла свои галоши,
Перед светлым входом шалаша.

Она скажет — Витя или Лёша,
Ляжет с ним, робея и дрожа.
Пусть ещё побродит рядом лошадь,
Или лошадиная душа.

Как им знать, какая ждёт их ноша,
Там, вдали, за стенкой шалаша.
Знает всё, вздыхающая лошадь,
Или лошадиная душа.

3. Ворожея

У меня ослабла жила,
Развалился туесок,
Ворожея ворожила,
Наземь сыпала песок.

Узел толстый из мочала
В чёрный прятала носок,
Ничего не обещала
Только плюнула в песок.

Уходи — сказала строго,
Будут ворожить тебе
Те, с кем дальнюю дорогу
Ты осилишь на арбе.

То дожди, то горы снега,
Нет дороги, есть тропа,
Подо мной арба — телега,
А за мной идёт толпа.

Не свернуть себе бы шею,
Глядя долго на восток,
А в толпе той ворожея,
Та, что плюнула в песок.

Ничего-то не имея,
Кроме чёрного носка,
Шла за мною ворожея
С горстью серого песка.

Вот и речка Переплюйка,
Жёлто-красные кусты.
И песка тянулась струйка
От ладони до воды.

У меня ослабла жила,
Развалился туесок,
Ну, зачем наворожила
Ты мне этот длинный срок?

Если и не будет смерти,-
Будет смертная тоска.
От ладони и до тверди,
Струйка пыльного песка.

В этой пыльной круговерти
Счастья нет и нет беды.
От ладони и до тверди,
От ладони до воды.

4. Дожди заморосили

Веточки повисли,
Осень на дворе,
Огурцы прокисли
В стареньком ведре.

За окошком птичка,
Подгнившая ботва.
Шелестит водичка,
Не варит голова.

Возле стайки — вилы,
В будке — пёс Моряк.
Дожди заморосили,
Не густо, кое-как.

И нет для жизни силы,
Для разговора — слов.
Вошли — и наследили,
Ушли — и нет следов.

5. Дайте мне пройти

Уже не вижу дальше носа,
А сзади — выцветший сатин,
Как прошлое простоволосо,
Там голубцы и георгин.

Там по утрам из пшёнки каша,
Там белят стены раз в году,
Там плачет громко Таня наша,
Там я гнездо в саду найду.

Не надо видеть дальше носа,
Пусть нас заметят за версту.
На запах свежего покоса
По шумной улице пойду.

Иду туда, где кот у блюда,
Где под горой живут кроты,
Ребята, дайте протолкнуться,
Девчата, дайте мне пройти.

6. Я сижу один в квартире

Я сижу один в квартире,
Жалкий, маленький, как гном,
Думаю — ну, как там в мире?
В мире, за моим окном.

Снова смертники в Алжире,
Снова драки под окном,
Я не выйду из квартиры
Даже в ближний гастроном.

Хорошо в моей квартире,
Хорошо, что я, как гном,
Не могу я в вашем мире,
В мире за моим окном.

Позвоню я бабе Ире:
«Как дела?», «Да так, *ничё*», —
Вот и всё, что в вашем мире
Интересно мне ещё.

Мне милей всего квартира,
Если солнышко — балкон,
А когда угаснет Ира,
Отключу свой телефон.

7. Сосед, что жил напротив нас

Он умирал от силикоза,
Сосед, что жил напротив нас,
В его дворе на холм навоза
Петух взошёл, как на Парнас.

Он голосил и надрывался-
Предвестник, яростный пророк,
А рядышком пацан качался —
Сынок соседа, мой дружок.

Его тревожила заноза,
Он был малыш и дуралей.
Сосед умрёт от силикоза,
Затем поминки, сорок дней.

Ну, а пока — бельё сушилось,
И лишь потом придёт народ,
Никто не спросит — что случилось?
Все знали — всё равно умрёт.

На пятке зажила заноза,
Когда сосед навек угас,
И во дворе на холм навоза
Петух взошёл, как на Парнас.

8. На веранде

Вот и дождик мелкий-мелкий
Поспешил с небес.
На веранде две тарелки,
За верандой — лес.
На крылечке мокнут стельки
И табак «Памир»,
Затуманил дождик мелкий
Этот божий мир.

Не шумите, не бегите
Мой табак спасать.
Там повисла на раките
Капель тёплых рать.
Вот сейчас затихнут стрелки
И пойдут назад,
Это дождик мелкий-мелкий
Время двинул вспять.
На веранде две тарелки,
Стельки на крыльце,
Хорошо, коль дождик мелкий
К нам придёт в конце.
Задрожала мелко-мелко
Стрелок старых жечь.
Ну, пойдём играть в горелки,
Нам уже по шесть.

Александр РАЙЗЕР

/ Берлин /



Родился в 1962 году в Омской области. После окончания факультета журналистики Дальневосточного государственного университета работал в различных СМИ Приморья. Два года был редактором молодежного литературного альманаха «Голос». В Германии с 1996 года. Член Союза писателей и Союза журналистов Германии.

МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши... смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по тебе.

Джон Донн

Он уже некоторое время лежал на спине, широко раскинув руки, подставляя весеннему солнцу свое изуродованное, небритое лицо. После холода зимы, после пронизывающих насквозь ветров оно казалось каким-то по-особому теплым и ласковым. Трава еще не пробилась сквозь прошлогоднюю листву, но земля на поверхности уже прогрелась под ним и не холодила снизу. Снегов же в этих краях не бывает даже зимой, их сразу сдувают в море злые ветры.

Отгородившись от мира аккуратно подстриженными кустами вдоль аллеи, в дальнем углу затерянного среди многоэтажек сквера, он лежал в солнечной тишине и в каком-то сладостном полусне-полуяви видел себя опять, как в детстве, бегущим по краю извилистой теплой речки. Где-то там, за изгибом основного рукава, на прокаленном солнцем песке остались его сверстники-друзья, по-взрослому зло режущиеся в карты, а он, переполняемый счастливым чувством силы своих молодых ног, мчался, осыпаясь миллиардами брызг, по самой кромке воды и суши.

Он лежал под этим первым мартовским солнцем, счастливый и беспечный, каким уже давно не был, совершенно позабыв и о своих вывернутых и раздробленных во время случайного обвала в заброшенной шахте ногах, и о вдавленной грудной клетке, и о до неузнаваемости обезображенном шрамами лице. Сумев позабыть, пусть и ненадолго, обо всем этом, он сейчас чувствовал себя опять тем же 16-летним подростком, юношей, что несется по влажному песку, даже свист ветра в ушах, хотя в реальной жизни ему уже никогда больше не испытать этого удивительного чувства силы и скорости.

Калека очнулся от своих грез как-то сразу, без усилия перейдя к реальности, не испытав при этом никакой досады или раздражения, каким обычно сопровождается возвращение из мира мечтаний. Этот сон приходил часто, и он к нему привык. Заложив руки за голову, калека теперь оставался лежать просто так, сквозь щелочки прищуренных глаз разглядывая бесконечное синее небо, подставив солнцу поудобнее лицо и все так же безмерно радуясь его долгожданному теплу.

Как всегда, именно в это определенное время она вышла на балкон своего четвертого этажа, все такая же красивая, желанная, вышла пропылесосить коврик. У людей была суббота — выходной день. С утра везде убирались в квартирах, вытирали недельную пыль, брились, смотрели телевизор, а то и просто, радуясь ясной погоде, сидели на скамейках у подъездов, переговариваясь и посматривая за резвившейся на детской площадке ребятней. Это для него дни недели давно смешались, похожие, как близнецы, друг на друга, хотя все же и калека где-то в дальних уголках своей памяти всегда помнил, что в нормальной жизни все обстоит совсем по-другому. Он определенно знал и то, что в свой выходной, а он сидел в засаде тут уже не первый раз, она обязательно выйдет на балкон. Ради этого он и приходил сюда. Приходил, чтобы снова увидеть это ставшее ему почти родным лицо, ее такое женственное, гибкое тело, извивающееся вслед за хоботом пылесоса вокруг распластанного на балконной веревке коврика, увидеть ее шелковистые волосы, смугловатые, красивые руки — эту единственно доступную его взору обнаженную часть ее тела. Женщина выходила почти всегда в одном и том же ситцевом в цветочек хааатике без рукавов, но до пояса ее скрывало балконное ограждение. Работала она быстро, ловко, точно кружилась в каком-то плавном танце. И он не успевал толком-то навосхищаться ее красотой, как уже хлопала балконная дверь, и она исчезала за ней.

Калека, как всегда, полежал еще немного в своем укрытии неподвижно, унимая стук своего расшалившегося вдруг сердца, а ему это было более чем вредно, потом как-то сразу обмяк от напряжения, как это и бывает с человеком, достигшим пусть и ненадолго желанной цели, и с тоской осознающим, что до сле-

дующей радости теперь еще, ох, как далеко. С какой-то безнадёжной пустотой в мыслях он перекатился опять на спину и закрыл глаза, пытаясь снова отрешиться от безрадостной действительности. Ему очень хотелось вернуться обратно в свой сон и тем самым спастись от невыносимой, внезапно навалившейся тоски, но спасительный сон уже покинул его.

...Калека знал эту женщину давно, еще с осени, когда однажды случайно забрел сюда в проулок передохнуть на скамейке. Время перевалило уже за полночь, и почти весь город спал. В тот вечер он был даже как бы счастлив, потому что ему повезло. Рядом с ним покоилась большая хозяйственная сетка, туго набитая пустыми бутылками, — ее он только что набрал по потайным закоулкам парка, где любят засиживаться выпивохи. Счастлив потому, что потянут они на хорошую сумму, и ему будет на что жить в ближайшие дни, но еще больше потому, что обошел, досадила в этом деле давним своим недругам-бичам, с недавних пор вдруг объявившим о своей монополии на весь парк. Он со своим здоровьем не мог, конечно, им противостоять, и попадись он им — ему бы несдобровать от этих деградировавших от хронического пьянства существ. Но «хозяева», видно, где-то валялись по подвалам после привычной послеобеденной дозы бормотухи или одеколона, хотя день-то был субботний, народ отдыхал, и потому самый фартовый на бутылки. Именно потому он и рискнул отправиться в ночь — и вот, был с удачей! Завтра с утра ему ни за что бы не уйти на своих больных вывернутых ногах, а тем зверям только дай повод с похмелья на ком злость свою сорвать. Но, рискнув, сегодня он их обошел, поквитался за прошлое, а завтра с утра еще и пойдет взглянуть на растерянные озадаченные физиономии, когда во всех значных местах парка окажется пусто. На всякий случай он предусмотрительно сядет на скамейку у аттракционов: там всегда ходит много народу, и если те что и заподозрят по его самодовольной ухмылке, то все равно не поспеют его тронуть.

Разгоряченный и запыхавшийся от бешеного для него маршброска и недавно миновавшей, такой близкой опасности, он теперь, почти с блаженством вытянув свои вывернутые ноги, счастливо улыбаясь в темноту, отдыхал.

В домах вокруг люди почти везде уже спали, время-то было позднее, лишь в некоторых окнах продолжал гореть свет. Он никуда не торопился и решил еще немного посидеть здесь, наслаждаясь радостью своей удачи, да и теплым вечером. Спешить ему все равно было некуда, в свой необжитой, захламленный подвал он всегда успеет влезть. Хорошего в нем, кроме кем-то выброшенной на свалку железной кровати, было мало чего. Не так-то часто он бывал так вот счастлив, чтобы не насладиться сполна своим чувством. К тому же, он вообще любил стоять под чужими окнами и, вглядываясь в них, мысленно представлять, что там за

ними творится, за теми вот шторами или занавесками, на той вот кухне, у того вон телевизора. Особенно зимой, когда на улице было промозгло и холодно, а в этих квартирах тепло, и люди ходили легко одетые, в одних халатах и рубашках. Он мысленно представлял себя с ними там — где было чисто, тепло, светло и ухоженно, и ему самому от этого становилось как-то теплее и радостнее. Это все было для него как некая недоступная сказка, мечта, в которой уже не будет для него никогда места, в которую ему нет хода, и, может, именно поэтому, а может, и вообще от общечеловеческой тяги к сказкам, он любил наблюдать за этой жизнью, завидовал ей, мечтал о ней.

Вот он месяцами не может выбраться в баню. А одежду свою — засаленную теперь уже стройотрядовскую куртку и брюки, увешанную всю значками и разукрашенную нашивкой, подаренную ему великодушно из окна студенческого общежития, он вообще никогда не стирал. Да и зачем? Кому это нужно? Лично он к грязи привык давно. К ней можно привыкнуть, это еще не самое страшное в жизни, и не к такому привыкает человек. Говорят же, что на Севере люди с рождения не моются, и ничего, живут... Он хорошо мог это понять: где зимой-то помоешься, а уж тем более, постираешься. Что же до того, что выглядит он, мягко говоря, неважно, да еще грязно, так тут все равно этим не поможешь. Что чистый, что в грязи — всем на это все равно наплевать. Все равно он весь изуродован и вызывает не более чем отвращение или жалость. Жалуют его! А зачем ему их жалость? Зачем ему вообще хорошая, чистая одежда, даже квартира, деньги, должность, положение, когда он так и останется для всех калякой, и никакими одеждами это не скроешь. Да будь он хоть из золота, будь он умнее Коперника и Эйнштейна, будь он святым, все равно он не станет равным среди них и будет так же обречен лишь на отвращение из-за своего внешнего вида и всю ту же проклятую жалость с их стороны, как и сейчас. И если ничего в принципе изменить нельзя, тогда зачем эти напрасные усилия, зачем этот самообман? Чтобы утешить себя? Но у него и так хватит сил вытерпеть реальность такой, какая она есть...

Он говорил... говорил, встречался с одним профессором — чистеньким таким, начитанным. Когда-то они вместе лежали в больнице. Тот еще и с горбом был. Встретились потом на улице случайно — пригласил зайти. И что ж... Изю всех сил тянется быть на равных со всеми, даже каблуки носит — при его больных-то вывернутых ногах — чтобы повысить казаться. Хоть и профессор, а глупый... Или просто трус! Все полон каких-то честолюбивых планов и никак не наберется смелости самому себе признаться, что все равно помечен раз и навсегда быть достойным лишь жалости и отвращения. Нобелевскую премию будут вручать, а в душе пожалеют. А завистники своими шепотками, а то и открыто радость подпортят. А может, его женщина полю-

бит — искренне, безумно? Ха-ха! Глупо... Природа, она мудрая старуха, она крепко заложила в человеке биологическую программу любви к особи физически полноценной. Сколь ни пытается отойти от нее человечество, извращаясь всякой чувственной любовью — рано или поздно все это кончается неизбежным крахом. Да еще дорого придется платить за самообман.

«Нет, я предпочитаю оставаться честным перед самим собой. Там, за окнами, у них другой мир, другая жизнь. Меня выбило оттуда навсегда, обратно хода нет, — укреплял он себя самого в такие мгновения в своей вере. — Но это еще не смерть. Я остаюсь жить в своем мире, может, более убогом, страшном, но в моем, в мире, в котором мне жить по силам».

Стоит ему заразиться иллюзиями большого мира, так, как этот профессор, и он бросится доказывать то, чего нет и быть не может — свое равноправие с остальным человечеством, и вся его жизнь уйдет на это глупое доказательство недоказуемого. Нет!

С другой стороны, он осознавал и опасность слишком долгого и пристального углубления в самого себя. Это неизбежно приводило к признанию бессмысленности своего существования. Ведь и сама природа отрицала его. Еще несколько веков назад она раздалась бы с ним быстро посредством холода и голода. Но человек сам теперь воюет с ней, потому в наших современных, обустроенных городах у нее руки коротки достать его. Но бессмысленность существования... Один их тех, с кем он лежал в больничной палате, не выдержал и повесился. Нет, от большого мира все же нельзя отрываться, потому что его внутренний мир был слишком искалечен и обезображен, и слишком неуютен, чтобы долго в нем задерживаться. И потому он с большим миром должен был хотя бы в мечтах поддерживать связь. Поэтому он и любил стоять под окнами. Поэтому и позволял себе иногда мечтать, как сейчас, о той, другой жизни, что была за ними. Он всякий раз как бы самоутверждался, извечный для него вопрос «Быть или не быть?» решался в пользу «Быть».

А окна между тем гасли одно за другим, ведь было уже далеко за полночь. Погрузился в темноту постепенно и дом напротив, под окнами которого он сейчас философствовал. И лишь в одном из них продолжал гореть свет. Его внимание непроизвольно привлекла пляска теней в нем: о чем-то споря, размахивая руками, там то сходились, то расходились тени от фигур мужчины и женщины. Калека уже даже собирался уходить, как пляска неожиданно закончилась, и тут же вслед за этим резко хлопнула дверь подъезда. Почти сразу же откуда-то сверху задребезжали стекла балконной двери освещенной квартиры. Из подъезда выскочил молодой, модно одетый парень и быстро, не оглядываясь, зашагал по аллее сквера. А на балконе появилась молодая женщина. Вглядываясь в темень, она, в тот миг показавшаяся калек такой вдруг романтически прекрасной в полумраке ночи,

умоляюще позвала несколько раз: «Саша, Саша, милый», но, видя, что тот, кому было адресовано ее обращение, даже не обернулся, вдруг замолчала. Вскоре стих за поворотом перестук удаляющихся шагов, а он, невольный свидетель разыгравшейся, как ему показалось, драмы, услышал явственно сверху плач. Приглядевшись — сквозь неплотные шторы пробивался тонкий лучик солнца и освещал часть ее лица — он увидел и поблескивающие дорожки от слез на ее щеках. Плечи как-то страдальчески и беззащитно вздрагивали при каждом новом ее всхлипе, а пальцы и вовсе нервно теребили край балконной двери.

Нестерпимой тоской и печалью повеяло на него от этой плачущей женщины. Он уже и сам теперь почти боролся со слезами, затаившись, не смея и шелохнуться на своей скамейке в тени деревьев. Волну острого и в то же время нежного сострадания всколыхнули в его израненном сердце ее слезы, и внезапное чувство родственной связи с нею охватило его. Калека вообще-то не любил людей, даже презирал их за глупость, сытость, самодовольство, хотя в большей степени оттого, что завидовал им. Не любил, потому что их жизнь была для него уже недоступной, хотя по сути они и были одной крови. Но вот страдания любого из них вызывали в нем почему-то не злорадство, как логичнее всего было бы ожидать, а наоборот, ответное сострадание, порой даже большее, чем величина горя самого пострадавшего. И почти всегда чужие слезы способны были разбудить в нем такую жертвенность, что он готов был отдать тут же самого себя, все, что у него есть, лишь бы страдающему стадо легче. Наверное, потому, что он, как никто другой, знал, что такое настоящее горе и страдание...

Так и теперь он уже готов был даже отдать свою жалкую, никому не нужную жизнь, лишь бы ожила, улыбнулась снова эта красивая женщина. Но что он смог сделать? Как ей помочь? Даже словом утешить, и то не может. Разве что напугать своим видом. Или вызвать отвращение и еще большую жалость, но от этого ведь не станет ей легче, а наоборот, может лишь усилиться боль. Нет сильнее страдания, чем беспомощность в страдании. Единственное, что только ему оставалось, мысленно перебрать слова утешения, которые он ей мог бы сказать, что-бы заговорить ее боль.

Но с тех самых пор он часто заглядывал в этот сквер и подолгу засматривался на эти ставшие ему даже родными окна. Женщина жила теперь одна. Она была молода, красива, но жила одна, своей уединенной жизнью. Лишь старушке-соседке позволялось, как он заметил, временами заглядывать к ней. Вечерами она читала или сидела у телевизора. Часто, особенно в теплые летние вечера, выключив свет, она любила, о чем-то задумавшись, в темноте смотреть из своего отворенного окна на кухню подолгу на бухту и ночной город. Для калеки это было всегда особенно счастливое время. Он мысленно в такие мгновения

как бы вел с ней разговор обо всем, о чем давно уже хотел с кем-то поделиться, но было не с кем. Не с кем и потому, что он жил один, изолировавшись от всех, и оттого, что, пожалуй, с ним никто не захотел бы о том говорить серьезно, из-за его безобразия это, казалось, не имело смысла. С теми же, с кем он повседневно общался: всевозможными бичами и ханыгами, детьми, бездомными собаками — вести об этом разговор было и вовсе бесполезно из-за невладения последними знанием самого предмета.

А был этот мысленный разговор о любви, тема, в общем-то, старая, как мир. Все о той же естественной и высокой человеческой любви между мужчиной и женщиной, чувстве тончайшем и благороднейшем, словами поэта, или, как хотите, словами холодного циника — об инстинкте размножения.

Нет, он и самому себе в этом не признавался, да и не мог себе признаться уже по той простой причине, что вообще-то не знал, что это в самом деле такое. Он, конечно же, тоже слышал о любви, о ее силе. Когда-то в больнице, чтобы сбежать от своего горя, даже зачитывался книгами о ней. Но в них она была обозначена как-то уж очень витиевато и непонятно, а ему откуда в шестнадцать лет было знать ее, в шестнадцать лет, когда он попал под обвал в этом проклятом заброшенном руднике. Хотя ее первый отголосок, этого незнакомого, неизведанного до сих пор чувства, он испытал еще в ту самую первую ночь. Потом этот слабый импульс рос, все усиливался, превращаясь уже в чувство, пусть и не осознанное, не понятое им, которое уже просто гнало его сюда, под эти окна, наконец, овладев им окончательно и полностью, не отпуская его уже в любое время суток — с ним он ложился спать, с ним просыпался поутру...

На первых порах свою тягу к бдению под ее окнами он объяснял себе лишь своим состраданием, потом просто любопытством. И даже то, что он бывал счастлив от одного того, что смог ее увидеть в окне, это чувство, которое так часто описывалось в тех же когда-то прочитанных книгах, да и другие, столь похожие отличительные признаки — все это он просто еще и боялся объяснить любовью. И прежде всего потому, что уже сама мысль о возможности такого казалась ему сверхкощунственной. Он ведь такая жаба по сравнению с ней, урод... осмелился... А она ведь так прекрасна, так красива... Даже допустить мысль об этом казалось ему чуть ли не святотатством. Ему казалось, что эту мысль тут же подслушают и донесут ей. И становилось мучительно стыдно за то, что он оскорбляет ее такими мыслями.

Да она же попросту засмеет его! О, этот смех, его он боялся больше всего, он хлестал, как нагайкой по лицу. Он часто слышал за спиной, как смеялись над тем, как он ковыляет...

Но все же, сколько он ни увиливал от признания очевидного, все же факт оставался фактом — естество брало свое, и его затягивало все глубже и глубже в губительные для него любовные се-

ти. Он чувствовал это, и потому вскоре нашел другое себе оправдание. Вдруг однажды ему подумалось, что он имеет право любить ее просто так, без претензий на взаимность, как, скажем, влюбляются в киноактрис по фотокарточкам. Так влюбляются безнадежно в незнакомок, влюбляются, как в мечту об идеальной женщине, что где-то в глубине живет, наверное, всю жизнь в каждом мужчине. Его любовь будет еще чище, ибо в нем она не вызывает никаких запретных желаний, уж этого он, как в компенсации за свою дерзость, себе не позволит.

Но в тот вечер он нарушил данный накануне обет. Ворочаясь на своей старой, подобранной в металлоломе скрипучей кровати, кутаясь от осеннего холода в ворох тряпья около коллектора теплотрассы, он вдруг, сам того не заметив, принялся мечтать о ней как о женщине. Сперва он явственно представил себе ее нежность, будто она сама находилась с ним рядом, он чувствовал даже щекотливое прикосновение к лицу ее шелковых волос. Теплая, согревающая волна пошла по всему его телу — это чаще забилося сердце. Как бы из темноты дразняще показалась пухлая линия ее губ, таких мягких, тонких, и вообще, он ощутил под собой всю сладостную упругость ее тела, и все попало в каком-то сумасшедшем счастливом кружении с безмерной радостью в конце...

Потом ему было мучительно стыдно за свое безобразие и бесстыдство. Он смог себя успокоить лишь тем, что она никогда так ничего и не узнает об этом. Не Бог же его выдаст, если он вообще есть, этот Бог?

И потом, ведь калека был молод, ему недавно исполнилось только двадцать, и хотя обезобразило его еще до того, как он почувствовал в себе мужчину, несмотря на все его уродство, он все же оставался физиологически нормальным человеком со своей юношеской сексуальностью. В конце концов, это должно было случиться с его любовью. Тем более что красоту он чувствовал острее, чем нормальный человек, природа подготовила таким людям еще одну ужасную ловушку. Какая невыносимая мука любить так, как могут любить красоту уроды и калеки — до самопожертвования, до самозабвения, до безумства, пусть порой и без крошечной надежды на взаимность...

А женщина, меж тем, грустила по вечерам одна, разрывая своей печалью его несчастное сердце. Теперь, с приходом весны, становилось опять тепло по вечерам, и она чаще засиживалась у окна. И все чаще мысли бедного калеки вертелись вокруг одного и того же вопроса — как вывести ее из этого состояния. Порой ему просто хотелось умереть от своего бессилия. Как никогда прежде, он ненавидел теперь свое уродство. Пока однажды его просто не осенило. Вернее, одна песня подсказала, тогда ведь из каждого окна звучала популярная в те годы песня о прекрасной любви и миллионе алых роз.

...Калека шевельнулся, отходя от своей полудремы, и, часто-часто заморгал от спящего солнца, принялся сквозь узкие щелочки глаз изучать окружающий его мир. Но что-то для себя решив, он не стал, как обычно, продевать блаженство сна, а вдруг, резко повернувшись на живот, неуклюже подтянул к нему свои уродливые ноги и с усилием встал на четвереньки, затем как-то перекошенно на один бок он стал распрямляться в полный рост, выправляя равновесие. Смешно и решительно он завываял своей странной танцующей походкой по аллее. Может, впервые за несколько последних лет у него появилась цель, какая-то цель. Он давно уже никуда не спешил, не стремился к чему-то, а плыл себе по течению времени в каком-то затянувшемся однообразном сером полусне-полуяви. Конечно, у него были кое-какие заботы — что достать поесть, где переночевать. Иногда он увлекался и кое-чем более существенным, той же войной с бичами, например. Год назад он неожиданно заболел вдруг рыбалкой и, как сумасшедший, был даже озадачен какое-то время поиском удочек и крючков. Это, пожалуй, было пиком страстей всех этих лет. А в остальное время ковылял себе потихонечку по улицам, ко всему безучастный, абсолютно без каких-либо желаний и устремлений, А ведь когда-то, в той своей первой жизни, он был шумным и увлекающимся подростком. Но беда как-то придавила все живое в его характере, искалечила не только внешне, но и деформировала душу.

Однако теперь, торопливо вышагивая к ее дому, он вдруг ощутил в себе могучий, ранее неведомый запас энергии, который будоражил его всего, концентрировал волю для достижения конечной цели так, что это новое состояние даже немного пугало его. Видно, годами скапливалась энергия в нем, как в конденсаторе, а достигнув какого-то критического уровня, встала на боевой взвод и готова была теперь ужалить мощным разрядом при первой необходимости.

Чтобы исполнить свой план, ему еще вчера нужно было достать денег, много, по его представлениям, денег. Он только и думал, как их достать, хотя был у него в запасе один способ — он ведь всегда в запасе у всех нищих, бродяг и калек, хотя он лично еще никогда до него опускался. Он ведь был молод и горд, этот калека, и презирал этот отринувший его мир, способный видеть в нем лишь калеку, а не равного им человека. Он всегда гордился своей независимостью от этого жестокого человеческого мира, чтобы идти к нему и просить милостыню. И вот теперь, к сожалению, он ничего другого так и не смог придумать. В другое время он, пожалуй бы, и не решился на такой позор. Как после этого было ему пройти по улице, когда все его узнавали бы и говорили вслед, что видели этого урода просившим подавание. А сегодня вот с утра он полдня отсидел на ступенях подземного перехода, собирая милостыню, и вчера там сидел, и позавчера. Да-да, это

был он, оголивший даже для наглядности самые страшные шрамы на ногах и животе, да-да, это перед ним лежал картуз, в который эти самодовольные, презирающие его за уродство люди, считающие его существом на порядок ниже их, бросали свои проклятые рваные бумажки. О, какой это был позор, какой стыд в его двадцать лет! Он даже не предполагал, когда решился на это, что это будет так мучительно. И хотя опытные попрошайки учили его, что при этом надо закрыть глаза, смотреть куда-то вниз, что так легче переносить это мучительное унижение, он не последовал их совету. Его что-то тянуло неизменно после каждой новой оплеухи в виде брошенной купюры или монеты обязательно посмотреть в глаза подавшему ему человеку, чтобы, сгорая от стыда, до предела натянутыми нервами прочувствовать всю низость своего падения в его глазах.

Но теперь — все! Теперь все было позади. Он уже забыл все, — заговаривал он себя сейчас, спасаясь от своих воспоминаний. Он смог набрать-таки необходимую сумму и истратит ее на благородное дело. Он себе не возьмет ни копейки из этих денег. Все! Теперь дело осталось за немногим — доковывать до ее дома и выполнить то, что он задумал.

Он, конечно же, не разбирался в цветах, откуда, он ни разу никому их не дарил и, конечно же, не знал, что можно и нужно из цветов дарить любимой женщине. Ему это незачем было знать до последнего времени. Но ему для исполнения своего плана требовались цветы, большой букет. Когда-то он об этом читал в книгах, а теперь удачно так вспомнил об этом. Да-да, его план был примитивно прост и неоригинален, хотя всем влюбленным кажется всегда, что все, что они делают, человечество делает в первый раз.

И сегодня, после обеда доковывав до цветочных рядов, калека был вынужден решить еще одну нелегкую для себя задачу. Что купить, к тому времени было уже решено, ведь весь мир, казалось, пел тогда этот «миллион, миллион, миллион алых роз», но куда сложнее было разрешить вопрос, как их купить. Торговки, эти злые на язычок бабы, непременно засмеяли бы его, попроси он сам у них букет. Для кого? А не влюбился ли? — пошли бы вопросы. И покупатели, те тоже не прочь будут к ним присоединиться со своими едкими насмешками, к которым по той же самой причине не обратившись с просьбой помочь ему с покупкой. И кто знает, чем бы закончилось это его топтание у цветочных рядов, если бы одна из цветочниц, старушенция, видно, вспомнив о христианской своей душе, сама не поманила его к себе, пытаясь облагодетельствовать его рваной денежной своей бумажкой. Пусть она долго потом не могла взять в толк из его путаного шепота, что ему все же требуется, хоть и разворчалась потом про себя, кропотливо пересчитывая вываленную перед ней денежную

мелочь, но завернула ему все же целых пять штук красивейших алых роз в хрустящий целлофан, а сверху, будто отгадывая его желание, еще и обернула газеткой.

Все, главные приготовления были позади, теперь перед вышагивающим к дому калекой со всей остротой стоял один самый главный вопрос — как их передать ей. Не могло быть и речи, чтобы вручить их лично. И даже с кем-то передать не представлялось возможным. Любой взрослый наверняка поднимет его на смех с его ребячеством, начнет допытываться, что да как. А ребята сразу приметя его дразнить, а потом, если и согласятся выполнить его поручение, где гарантия, что они донесут его букет? Он-то их потом при всем своем желании не догонит, решит они свистнуть цветы. Да и сболтнуть могут, если что, кто букет передал, что вообще должно быть исключено.

Единственный выход, к которому он после долгих размышлений наконец-то пришел, — подложить букет под дверь, позвонить, а самому быстро исчезнуть. Но и это было для него очень большой проблемой при его-то ногах. Поэтому он какое-то время сегодня после обеда провел за тем, что зашел в ближайшую пятиэтажку и немного потренировался в сбегании по лестнице. Как мог быстрее, приковылял в первый раз, но все равно получилось катастрофически медленно. Он попробовал еще несколько раз — результат оставался таким же плачевным, с него сходило семь потов, но дальше одной лестничной площадки ему отковылять все никак не удавалось. Впрочем, выбора у него не было, но из-за этого он волновался теперь немного.

И хотя ничего криминального он не замышлял, но сердце его уже билось так часто, будто собиралось выпрыгнуть из груди, будто он совершил бог весть что ужасное. Вообще ему казалось, что все вокруг знают, зачем он здесь, догадываются о его замыслах и что он несет в своем пакете, наблюдают за ним, посмеиваются за своими занавесками. И больше всего его страшила и вовсе нелепая мысль, что и она уже обо всем догадывается, и от этого его бросало то в холод, то в жар. Ему хотелось тут же сбежать, хотя он понимал, что все это глупо и что, даже сбежав, он все равно вернется сюда.

Осознав эту фатальную неизбежность, он почувствовал себя как бы уверенней. И страх от него отступил, вернее, был подавлен на время. Калеке удалось доказать себе то, что он собрался ведь сделать хорошее и благородное дело. Продолжало волновать его только, успеет ли он сбежать вовремя или нет. И вообще, решится ли она открыть на звонок кому-то дверь. И он от последней мысли вдруг заторопился, засобирался. Прячась, воровато озираясь, он прокрался уже к углу ее дома, потом вдоль стены сквозь заросли кустов к двери подъезда. По лестнице он тоже поднимется, прислушиваясь настороженно ко всякому шороху и скрипу. Через вечность, как ему показалось, он добрался наконец

до столь ему уже знакомой двери. Он ведь не раз уже приходил сюда и простаивал под ней подолгу, делая вид, что отдыхает просто после подъема.

Калека настороженно теперь прислушался — но все везде, казалось, было тихо и спокойно. Из квартиры напротив доносились негромкая музыка, там, видно, работал телевизор, где-то этажом выше что-то передвигали тяжелое. Он постоял немного, прислушиваясь и унимая стук своего опять разволновавшегося сердца, затем тихо и осторожно подошел вплотную к ее двери. И снова застыл в настороженном ожидании, готовый в любую минуту сорваться вниз по лестнице. Все оставалось по-прежнему спокойно. Тогда аккуратно, стараясь не шелестеть газетой, освободил букет и быстро и ловко приладил его к дверной ручке.

«Все, вот и все», — вместе со вздохом облегчения подумал он, и вдруг его почти что разбил паралич страха от мысли, что кого-то нелегкая может вынести и застукают его прямо на месте преступления. Лишь на секунду он вдавил пуговку звонка, успев все же услышать где-то за дверью его трель, и опрометью бросился вниз, даже трель уже слыша в движении, летя во всю свою возможную прыть вниз по ступенькам. Все в нем сконцентрировалось для достижения одной-единственной цели — долететь до первого этажа как можно быстрее, и единственное, на что он реагировал, что его еще смогло удивить, так это то, как это быстро у него в этот раз получалось. Там, на первом этаже, была открыта дверь в подвал, там было его спасение.

И он уже почти достиг своего убежища, даже успел завернуть на последний пролет лестницы, ведущей вниз, как за его спиной предательски скрипнула входная дверь и кто-то, войдя в подъезд опознал его.

— Украл что, окаянный? — только и успел он услышать голос всплеснувшей руками бабушки-соседки, все же заметившей, как он поспешно и воровато прошмыгнул в подвальную темноту.

Уже оттуда, из этой темноты, он и слышал, вслед за зацокавшими вверх шагами старушки, где-то там наверху скрипнувшую дверь и ее голос, который озабоченно спросил:

— Кто это там, тетя Даш?

— Да этот калека, кривой. Ну, помнишь, смеялись мы, как он от собаки улепетывал. Вечно он под окнами торчит...

— Страшный такой? — наверху опять послышались шаги, затем растерянный ее голос: — Цветы кто-то оставил! Да букет-то какой красивый! Гляди, тетя Даш. Я слышу: кто-то вроде как позвонил, жду, может, ослышалась. Сашка же мой сегодня из рейса возвращается. Не, ну кто мог цветы оставить?..

Старушка, видно, доковыляла до своего этажа, звук шагов ее затих.

— А хорошие розы! Может, случайно кто? А этот кривой, наверно, собирался свистнуть.

— Теть Даш, ты возьми их себе. Бери, бери же. Мой-то дурак ревнивый, четыре месяца ведь как не был дома, любовников начнет искать.

— Спасибо, Наташенька. Я уж заходить к вам не буду, мешать молодым.

— Вы завтра заходите, возвращение праздновать будем.

Наверху хлопнули двери, и в подъезде стало опять тихо. А в подвале плакал калека, беззвучно, чтобы не привлечь внимания, глотая слезы и подавляя в себе рыдания. По-мужски скупые, они долго блестели на его ресницах, затем медленно скатывались по его изуродованным, давно не бритым щекам. Нет, он не знал, о чем он плакал конкретно. Оттого ли, что его назвали вором, или что к женщине возвращался муж. Но что-то страшно сдавило ему сердце, так стало горько и обидно, такая безысходность и горе вдруг навалились на него, что уже никак невозможно было сдерживать слез.

А через полчаса, ежась от надвигающейся ночной сырости, он одиноко поковылял по дальней аллее парка куда-то в ночной сумрак засыпающего города.



Виктор ШААФ

/ Берлин /

Родился в 1950 г. в Нижнем Тагиле. Детские годы провёл в отдалённом таёжном посёлке Северка. Окончил филологический факультет Нижнетагильского пединститута, после окончания которого работал учителем русского языка и литературы, директором школ в Свердловской и Донецкой областях. В Германию переехал в конце 90-х годов.

КАРТИНКА ИЗ ПРОШЛОГО

Ясная, долгая память
Синему небу под стать:
Хочется падать и падать —
Дна всё равно не достать.

Будни советского быта:
Двор, домино перестук,
Рядом старушки открыто
Судят о жизни вокруг.

Сидя весь день у подъезда,
Речи ведут не к добру:
Всё, что ещё неизвестно,
Станет известно двору.

Вот мы проходим с Наташкой
В этот невзрачный подъезд,
Словно дорогою тяжкой
Всех женихов и невест.

Мы не привыкли к вниманью —
Страх наполняет и грусть...
Голову я поднимаю:
— Ну же, Наташка, не трусь,

Мы ведь любовь не украли...
Хоть наши щёки горят,
Словно в кино на экране,
Пусть на неё поглядят.

Повод дадим к разговорам,
Вспыхнет всюю болтовня —
Станем в масштабе дворовом
Главною темою дня.

Всё это нас окружало,
Было стихией родной —
Быт заводского квартала,
Дымный район Тагилстрой.

Жизнь как в огромной общаге —
Шум и привычный бедлам,
Плещутся красные флаги,
Лозунги вместо реклам...

Всё ведь завязано в узел,
Как тут ни дёргай, ни рви,
Грусть о Советском Союзе —
С грустью о первой любви...

НА МОГИЛЕ ОТЦА

Вот опять я стою над могилой отца
И без слов замираю от скорби,
А на сердце подавленном тяжесть свинца,
Словно пуля застряла в аорте.

Словно в трудный момент не хватило мне сил
И вины не изжить мне в итоге,
Словно с боем отца на себе выносил
И не смог — подкосились ноги.

Потому не забыть тот берлинский перрон,
Что не стал он дорогой к спасенью:
Там издал мой отец полухрип-полустон
И упал на желанную землю.

Вот так встречу ему подарила судьба —
Всё сказалось в отчаянном стоне...
Капли пота скатились с холодного лба
И оставили след на перроне.

Над могилой простой дать какой мне отчёт,
 Чтобы вытравить горечь осадка?
 Что устроилась жизнь и спокойно течёт,
 Хоть порою бывает несладко?

Что по умершим скорбь тяжелее в душе,
 Когда в прессе раздастся, как выстрел,
 (Это кто-то циничный придумал уже)
 Бессердечное: вурстаусзидлер!

Журналист-щелкопёр и политик борзой,
 Депутат-рутинёр в бундестаге,
 Сколько можно колоть нам глаза колбасой,
 Ради этого, мол, все антраги.

Нам поставить на лбу отщепенцев печать
 И в балласт записать нас не прочь вы,
 Но отцу моему стало вдруг не хватать
 Ощущенья народа и почвы.

Видно, мучил его этот в жизни пробел,
 Как слова позабытые в песне.
 (Кстати, он колбасы в эти годы не ел —
 Так его одолели болезни.)

Бывший мученик-зек, уцелевший изгой,
 Он слышал не голос расчёта,
 А пронзившее острой, щемящей тоской
 Неподвластное разуму что-то.

И когда по страницам, проворно шурша,
 Нас марают порой без разбора,
 Его полная слёз и страданий душа
 Вопиет из небесного хора.

МОЙ НАРОД

Всё, что было с народом, то было со мной:
 Обделённый судьбой и законом,
 Это я был изгоем, валялся больной
 По товарным продутым вагонам.

И меня добивали голодным пайком,
 То морозом морили, то зноем,
 Обращались со мной, как со смертным врагом,
 И водили пять лет под конвоем.

И безмолвья печать приложили к устам,
Чтоб язык онемел мой исконный.
Это я пробивался к духовным пластам,
Прозябать и терпеть обречённый.

Не сломился твой дух, благонравный народ,
Даже в муках голодного мора.
Я впитал твою боль, твои слёзы и пот
И сдержать не могу их напора.

Неуёмный в труде, всеумелец-мастак,
Ты не ведал покоя и неги,
И, как втоптаный знак, в самых диких местах
Снова корни пускал и побег.

Был ты малою частью, диаспорой — но
Ведь не стёрлись духовные вежи...
И осело в крови то, что богом дано,
Став глубинною сутью навеки.

Был подсказан финал, видно, жизнью самой,
Когда ты на большом переломе
Выбрал всё-таки путь возвращенья домой,
Хоть и много чужих в этом доме.

Сколько можно копить боль и слёзы в очах
И плутать по холодным потёмкам?
Ты вернулся не зря, разведи свой очаг —
Пусть огонь его светит потомкам!



Игорь ШЕНФЕЛЬД

/ Кобленц, /

Родился в 1950 году в Брянской области в немецкой семье. В 1967 году поступил в педагогический институт им. Герцена в Ленинграде. В 1972 году был направлен на работу в качестве учителя физики в республику Замбия. В 1975 году вернулся в Ленинград. Работал в средней школе. В 1977 г. переехал в Брянск, был научным сотрудником Брянского Технологического института. С 1997 году живет в ФРГ. В журнале «Наш Современник» в 1981 год опубликовались его очерки под названием «Дети Замбии». Автор романа «Исход», готовящийся к публикации в новой редакции под названием «Дороги Августа».

ДОРОГИ АВГУСТА

Повесть о безумном веке

фрагмент

*Памяти моих родителей —
бывших узников сталинской трудармии — посвящается*

ЧАСТЬ I. ВРАГИ НАРОДА

*Бегите из рая, таежные черти,
Тут райские кущи из елей и шишек,
Собаки поют серенады о смерти
И ангелы светят прожектором с вышек.*

*Бегите из рая, несчастные черти,
Бегите на нижние уровни ада:
Там встретят вас тоже цепями и плетью,
Но будут, хотя бы, вам искренне рады...*

Адик Дорн (из «Песен неволи»)

ВОРОТА НА МОСКВУ

Клепп был плотный, мордастый и наглый. Петка, наоборот, тощий и временами почти стеснительный, а также довольно-таки бестолковый. Петка, например, никак не мог взять в толк и

охватить убеждением тот факт, что стоящий перед ним Якоб Шроттке, задумчиво ковыряющий в носу, разглядывая винтовку Петки — это не просто трехлетний ребенок, но махровый немецкий диверсант, открывший Гитлеру ворота на Москву с восточной стороны. Это не умещалось у Петки в голове. Мать Якоба, тщедушная Агнес, та — еще куда ни шло: могла и попытаться открыть эти самые неведомые ворота, но и то, по мнению Петки, вряд ли осилила бы сдвинуть их с места — особенно под пристальным наблюдением целой доблестной армии НКВД, одним из воинов которой был и сам Петка. Сам себя Петка считал отличным солдатом «ЧеКа» — передового отряда Партии. Была, правда, у него одна слабость, которую он посылно скрывал: постоянные сомнения, изматывавшие его психику. Эти сомнения касались всего подряд. Чистить или не чистить сегодня сапоги? Здороваться или не здороваться с Евграфовым, которого вчера комсомольцы взвода прокатили в стенгазете? Написать или не написать своим в деревню про то, что ему со следующего месяца будут платить на пятнадцать рублей больше? Ну, и так далее. Вот и теперь Петка отводил глаза, не выдерживая просящих, а, может быть, и просто вопрошающих взглядов своих пленников, в частности — маленького Якоба, невинно прикидывающегося трехлетним ребенком, которому, может быть, и не три годика вовсе, а все тридцать три, и он на самом деле карлик, например, посланный сюда Гитлером под видом малого ребенка? И вообще: чего они все время вопрошают, сволочи? Они ждут от него, простого солдата, ответов на свои вопросы? Так он и сам ничего не знает толком, кроме того, что они, все эти вопрошающие немцы, есть враги народа. А он, Петка — солдат, который их стережет, обыкновенный красноармеец с тремя классами послереволюционного, деревенского образования, но зато с властью на кончике штыка, размеры которой все еще пугают его самого, хотя он уже и второй год как служит в энкавэдэ. Ему приказали сопровождать этих опаснейших преступников: народ-диверсант, задумавший ударить свою Родину ножом в спину — он их и сопровождает. Все, точка. Отвечать на их вопросы — не его ума дело!

А пока Петка твердо знал лишь одно: этот подлый народ был недавно разоблачен Великим Сталиным, автономная республика этих предателей отменена и распущена, и ему, Петке лично, вместе с другими доблестными чекистами поручено доставить врагов по назначению куда-нибудь подальше к черту на рога, откуда они не смогут сигнализировать Гитлеру: например, вот сюда вот, в эту вот тоскливую степь, где их высадил посреди ночи. Удивительно, что Великий Сталин всех их пощадил, этих немцев, и вместо того, чтобы приказать их расстрелять всех до единого или развесить по всем столбам их предательской республики, он просто отправил их за счет государства в Сибирь и в Азию — да еще и со справками об изъятом имуществе, и с вещами, и с запасом еды, а не как других — тех же кубанских кулаков, к примеру,

которых выгнали из их домов и отправили в леса и степи в одних портках: валить деревья и строить тюрьмы для следующих волн врагов народа. Вот и возись теперь с этими бестолковыми немцами, которым кричишь «Пошолнах!», а они отвечают «Вибитте» и хлопают глазами. Но Сталину, конечно, видней. Сталин — величайший из всех живущих и уже умерших мудрецов! Это Петка знал твердо, и это было единственное, в чем он не сомневался ни секунды, потому что даже короткая секунда такого рода сомнения могла стоить ему жизни: эту истину Петка уже успел постигнуть за время своей недолгой службы трудовому народу в рядах энкавэдэ. Поэтому — прочь сомнения и на сей раз: если великий Сталин сказал, что трехлетний Якоб Шроттке — диверсант, значит, он диверсант и есть. И винтовку он рассматривает, наверно, тоже с сугубо диверсантской точки зрения, изучает конструкцию затвора, например, чтобы сообщить потом своим гитлеровцам. Потому что великий Сталин никогда не ошибается.

И убедившись окончательно, что трехлетний Якоб — враг народа, Петка гнал его от себя грубым словом, хотя и не бил: в конце концов, Петка родился в деревне, где к детям и к скоту приучали относиться бережно, именно от них зависело будущее. Но то было в прошлом. Теперь, при советской власти, все устроено иначе, знал Петка: при советской власти все зависят только от советского, социалистического государства, от родной Партии и от товарища Сталина, который является для этого государства и рулевым, и капитаном, и судьей, и прокурором, и беспощадно карающим мечом возмездия одновременно. Все это, и многое другое разъяснял Петке в том числе и его друг Клепп. Это был его старший, более опытный товарищ, прошедший огонь и воду, и даже трубы — не медные, правда, а простые, водопроводные, которыми Клепп был бит, когда арестованные взломали автозак и сбежали. С тех пор Клепп был всегда начеку, и тому же самому — а именно: быть всегда начеку — учил и своего подчиненного Петку.

Враг народа Якоб убегал от Петки без слез. Плакать в эшелоне разучились все — даже дети: это было и бессмысленно, и опасно. И вообще плачут, чтобы стало легче или чтобы чего-нибудь добиться. Но легче стать все равно не могло, а добиться можно было лишь ареста и снятия с поезда. Еще плачут от обиды. Но это с непривычки только, когда обиды — в новинку. А еще плачут со страху, но и страха больше не было. То есть, он был, но хронический, привычный — он застыл в костях и никого больше не содрогал. Все силы тела были сосредоточены только на одном: выжить. Слезы тут не помогали: они лишь вымывали соль из организма, которую следовало беречь, а потому были недопустимы. То есть, их просто не было. На это обстоятельство внимание Петки обратил Клепп: совсем не плачут, сволочи, потому что закаленные лично Гитлером, потому и враги. А с врагами нужно поступать по-вражески!

Юный враг Якоб, отосланный по-русски к такой-то матери, не понимая русского языка, догадался, тем не менее, детской интуицией своей, что гонят его вовсе не к собственной маме, а непонятно куда. Он отошел в сторону и рисовал теперь палочкой большие круги на земле. Возможно, это были опознавательные знаки для гитлеровских самолетов. Но если бы Якоба спросили сейчас, что он рисует, то он скорей всего издал бы враждебный Петке звук «Vrot». Хотя слово «хлеб» маленький Якоб умел уже произносить и по-русски — беда является лучшим учителем словесности. Но по поволжской привычке он произнес бы все-таки, пожалуй, на поволжском диалекте слово «Прот».

На немецкий, поволжский лад звали переселенцы и своих конвоиров — Глеба и Петьку: Клепп и Петка. Клеппа не любили: он бесцеремонно брал все, что хотел. Он всегда хотел жрать, а поскольку довольствие для конвоя отсутствовало с момента выгрузки в степь, то он и брал сам. А чего дипломатничать с врагами? Их сам Сталин наказал, а нам, маленьким исполнителям воли великого вождя, и сам Бог велел, чтобы им это наказание медом не казалось. И пшеном — тоже. И картофелем. И кукурузными лепешками. И Клепп приходил и брал, что ему надо: одеяло, хлеб, даже сало или шмалец — если у кого подобное сокровище еще обнаруживалось в глубоко значенных запасах.

Петку, наоборот, иногда почти любили: во-первых, он был тоже крестьянин — это было написано у него на лбу. Во-вторых, у Петки была совесть: он голодал, но ничего не брал сам — только стоял и сглатывал, пока ему не давали поесть. Петка даже штык от винтовки одолжил как-то однажды Аугусту Бауэру, чтобы тот мог выкопать землянку. После чего получил от Клеппа строжайший выговор с последним предупреждением и спешно забрал штык назад. Но Аугуст уже успел к этому времени пробить полметра самого твердого слоя и дальше копал уже разными металлическими предметами из домашнего скарба и выгребал грунт руками.

Ох уж этот Клепп. Однако терпели и Клеппа. Во-первых — деваться все равно было некуда, а во-вторых: «Все-таки, эти двое — они оба представители государства, — толковали депортированные, — и даже хорошо, что они нас охраняют: на нас никто не нападет, это во-первых, и никто не скажет при таких авторитетных государственных свидетелях, что мы, немцы, тут, в степи, опять ЭТОМУ ворота открываем: это уже во-вторых» (слов «Hitler» или «Stalin» немцы старались не произносить, чтобы у «представителей государства» не возникло ненужных подозрений о диверсионномговоре).

Петка и Клепп — союз революционного рабочего класса и трудового крестьянства, две могучие силы, слившиеся в передовой отряд под названием «ЧеКа», чтобы щитом и мечом пробить для народа дорогу к светлому будущему, к коммунизму. Здесь, в степи, вместе с депортируемыми, они тоже бились за светлое бу-

дущее, и эту истину Клепп постоянно вдалбливал бестолковому Петке. «Магнитная стрелка партийной сознательности не должна затупиться у чекиста ни при каких жалостных обстоятельствах, — говорил он, — а не то тебе конец, Петька». Петка согласно кивал, хотя про магнитную стрелку соображал туго: где она располагается и как проверить ее на остроту заточки, но ничего не спрашивал, чтобы не сойти за полного придурка в глазах Клеппа. Глядя на этих двух чекистских воинов, становилось до наглядности понятно, почему в революции победили именно большевики, а все остальные — эсеры, народники, кадеты и прочие горлопаны — сошли с круга. Слезливые горлопаны сошли с круга потому, что слишком настырно протягивали к народу свои добрые руки, что-то постоянно суля и предлагая ему. Русский народ, по природной доверчивости своей вечно надуваемый со всех сторон, научился за тысячелетия осторожности: чем больше к нему лезут с добрыми руками, тем больше он опасается. Поэтому народ не пошел за эсерами-кадетами-народниками и прочими горлопанями. Он, на самом деле, за большевиками тоже не пошел, однако большевики поступили принципиально иначе в сравнении с прочей революционной нечистью: они никому рук протягивать не стали, они просто явились с наганами, перестреляли кадетов-народников-эсеров и прочих конкурентов и взяли себе все целиком и разом. Взяли в рабство в том числе и сам народ и объявили его объектом грандиозного социального переустройства. Взяли они и то, что нашли у народа по сусекам, коробам, на печи и под лавкой, и в сарае, и в подвале, и в хлеву; и из буфета-горки тоже все вытрясли, вымели все под метелку, короче. И ограбленный, враз до нуля обнищавший народ просто-напросто вынужден был немедленно встать к большевикам в очередь за миской каши да еще и с благодарностью за то, что ему позволяют выжить. А большевики распределяли эту кашу по своему усмотрению, оставляя за собой право попенять крестьянину за дармоедство. Большевики были мудры, как сам сатана, и стали через это сильными, как миллион Клеппов. Они пасли свой народ, как муравьи пасут тлю, питались от народа, сортировали его по своему усмотрению и расчетливо, со знанием дела расстреливали. Народ относился к расстрелам не совсем равнодушно — на что и был расчет! — и вот уже в массах осиротелых родственников зарождались новые потенциальные враги, и как круговорот воды в природе ежесекундно питает жизнь на земле, так круговорот врагов в народе давал советской власти бесплатную рабочую силу на строительство коммунизма — самого светлого будущего в истории человечества. Это должно было быть такое будущее, какое человечеству еще не снилось...

Об этом светлом будущем, какое немцам еще и не снилось, Клепп, построив немцев в шеренги, проводил с ними иногда яркие агитпропаганды: без всяких инструкций, от себя лично, от

имени своего собственного, революционно бьющегося сердца (этим прежние коммунисты отличались от последующих поколений, живущих только умом и расчетом, но уже не сердцем). Немцы ничего не понимали из речей Клеппа, но со всем соглашались — лишь бы разойтись поскорей: на ветру стоять было холодно. Как правило, агитбеседы заканчивались «обходом». При обходах Клеппу положено было давать еду. Это называлось «продналогом в пользу представителей государства»: штука, хорошо известная немцам и по Поволжью. Поэтому давали — кто со вздохом, а кто и со слезами.

Да, немцы кормили вечно голодных Петку и Клеппа. Но и конвоиры оказались нужны переселенцам. Именно они, как официальные представители государства, наладили контакт с «большой землей». Конечно, сделали они это не ради спасения немцев, но лишь ради собственного выживания, потому что на носу была зима, а пост не бросить, а выжить на морозе в степи по стойке «смирно» невозможно, как невозможно выжить и бегая кругами вокруг этого проклятого лагеря прикинувшихся советским народом немецких диверсантов — уже вовсю кашляющих, уже вырванных голыми руками первую могилу поблизости; диверсанты, как оказалось, вовсе не отличались могучим здоровьем: тут Гитлер просчитался, сволочь, и пособиями его дожи как мухи. Но и Петка, и Клепп отлично понимали: когда у этих вражин кончится еда — тогда и им, доблестным представителям славной армии НКВД наступит, заодно, тот самый знаменитый «Гитлер — кагут». И вот старший по званию Клепп двинулся по шпалам в сторону северного горизонта в поисках довольствия и дальнейших распоряжений.

В его отсутствие Петка снова дал свой штык Аугусту, а мать Аугуста Петке — тарелку гороховой каши, хотя сушеный горох уже был на вес золота, и как пережить зиму — никто не знал. А уже висел по утрам на стывших ковьях колючий иней и звенел на морозе от прикосновений и сам по себе, и звон этот был пронзительно тонок и недобр. Зато работа по вкапыванию в землю пошла быстрее, гораздо быстрее. Кстати сказать, та яма, которую Аугуст уже успел вырыть, пошла на упомянутую могилу: не мог Аугуст отказать односельчанам, соседям по улице, семье Циммеров, с которыми прожил и проработал рядом всю свою жизнь; у тех к общей беде добавилось личное горе — умер трехмесячный ребенок, а на следующий день добавились еще и Липперты, у которых умерла бабушка. Так и похоронили ребеночка на груди чужой бабушки, завернув обоих в кем-то пожертвованную холстину. Получилась мертвая связь поколений по-советски. Но избави Бог: Аугуст этого даже у себя «дома», в шалааше из ковьельных снопов не осмеливался проговорить: только подумал. Он и раньше любил иногда поразмышлять об устройстве мира и предназначении человека в нем.

Так вот: теперь, когда осень уже надвинулась вплотную и стало ясно, что ковыль от зимы не защитит, нужно было торопиться изо всех сил. Прежде всего из-за отца. Отец все время мерз, и опухлость его не спадала: сердце недокачивало и болело. Ночами он тихо стонал и боялся умереть. Днем почему-то не боялся. Аугуст копал теперь все время, без перерывов, даже ночью, если сил хватало. После того, как Клепп отбыл на север и никто не верил, что он вернется, и после того, как Петка дал Аугусту штык, работа стала продвигаться быстро. Правда, теперь уже не там, где вначале, возле путей, но подалее, примерно в километре от железной дороги — там, где горбатились холмики и тянулась куда-то балочка с ручьем. Ручей был едва жив, но все-таки это была вода, а значит — жизнь. Надолго ли? — это отдельный вопрос. Холмики — это было просто везенье, которое в данной ситуации можно было считать за счастье: под такой холмик можно было подкопаться, и он создавал естественную, непротекающую крышу; и можно было пробить косо дыру для дыма, и занавесить вход ватным одеялом; и насобирать побольше ковыля на зиму: еще целый стог можно было успеть насобирать. И тогда зима, глядишь, и помилует. Как быть с едой, когда кончатся запасы — об этом пока думать не хотелось: надо было просто рыть, а не рассуждать. И Аугуст рыл. Мужчины из других семей уже стояли в очереди за штыком, и Петка перестал голодать и стесняться: он теперь, в отсутствие Клеппа, ходил петушком и даже покрикивал. Поскольку делать ему было абсолютно нечего, то он принялся обучать немецких переселенцев русскому мату. Они повторяли за ним, а он заливался на всю степь жеребьячьим хохотом, а иногда даже падал на спину и дрыгал ногами, а затем бегал вокруг «лагеря» и произносил эти же свои ругательства, но уже с немецким акцентом, отчего распялял себя и гоготал еще громче. Немцы смеялись с ним вместе и говорили друг другу тихонько: «Ober konz vorükt isch toch tiser». Хорошо, что Петка ни слова не понимал по-немецки, волжского диалекта русских немцев — тем более, а то бы он показал им «конц форюкт», то есть — «совсем чокнутый». Он бы и штык у них отобрал немедленно, и в город ушел бы от них сгоряча: пускай сами подыхают без него!

Но Петка не понимал ни хрена и веселился уже с утра, когда на его «гут морген» ему отвечали его же русскими, выученными вчера словами. «Ну, немчура! — вопил он в восторге, — ну, босота саратовская! Ничё не умеют!». На радостях он даже позволил своим подконвойным перебраться поближе к холмам, поскольку сказано было при отправке эшелона: «на свободное поселение». Это означает: хочешь — у рельсов, а хочешь — у холмов. Зачем-то великий Сталин дал своим врагам такую вот обширную свободу передвижений. Но Сталину видней, Сталин сверху видит все! И Петка отправился охранять порученных ему депортированных к холмам. Ему было все равно, где их вражеским душам поддыхать милей: у холмов или возле рельсов!

А жизнь, между тем, полна сюрпризов, и многие из них возникают на физиологической основе, а не на идеологической. Так вот: в семье у Элендорфов была девочка Эмма, и Петка в нее влюбился от нечего делать. Эмме было всего пятнадцать лет, и она не знала еще, как себя нужно вести, когда тебя пытаются обнять полномочный представитель НКВД при исполнении. Она стала вырываться и поцарапала представителю НКВД глаз до самой ноздри. А мать Эммы ударила к тому же Петку сзади ведром по голове. Это был бунт, и ради усмирения его Петке нужно было полноценное вооружение. Поэтому он забрал у Аугуста свой штык, приладил его опять к винтовке и распорядился почти готовую землянку отвести под тюрьму, в которую и посадил под арест строптивую Эмму. С матери девочки он потребовал — до суда! — подписку о невыезде, однако не на чем было ее составить, и она была сделана в устной форме. Депортированное в степь немецкое население отреагировало на эту меру воздействия, по мнению Петки, с большим пониманием и даже покивало-покачало головами, произнося все то же свое: «конц пшоерт истер шайскера квора» (что в переводе с диалекта означало: «совершенно спятил этот засранец»), что Петка интерпретировал, однако, как «так ей и надо». «Конечно, так ей и надо!», — согласился с немцами Петка: «потому что власть есть власть, и энкавэдэ — это вам, гансы, не палец в жопе, но карающий меч революции в крепких ножнах, который можно быстро достать из ножен и сделать того самое: чик-чирик и гитлер-капут. Всем понятно?». Про «капут» всем было хорошо понятно, и депортированные дружно закивали.

«Их можно даже постепенно того: перевоспитать тут в степи», — подумал удовлетворенный Петка, обдавшись жаром от мысли, до какой же крайней степени всегда прав товарищ Сталин, и направился в новую землянку-тюрьму перевоспитывать хотя бы эту глупую Эмму для начала.

Однако персональной педагогике Петки не суждено было осуществиться. Снаружи раздались крики, и Петка, с раздражением выглянув из «тюрьмы», увидел с высоты холма приближающуюся с севера, дымящую до небес дрезину, на которой помимо наваленных разнообразных предметов находились двое: ярко выраженный Клепш и посторонний машинист — железно-дорожный красноармеец. Клепш махал издали: всем — сюда. Побежали к дрезине — разгружать. Разгрузили быстро, и красноармеец, стуча железными колесами, умчался обратно на север, быстро скрываясь из вида в синем дыму прогоревшего мотора.

Возвращению Клепша депортированные обрадовались больше, чем доставке на Большую землю с Северного полюса героев-челюскинцев, хотя радовались и не столь бурно. «Шау маль: унзер тайфаль иш витер та» («глядите-ка, наш черт обратно тут»), — говорили они друг другу, с нетерпением ожидая, что сообщит им их «тайфаль», и что будет дальше.

А дальше было вот что: началась новая глава в истории покорения Казахстана немцами Поволжья из села Елшанка (сами немцы называли свое село „Husaren“). Историчность возвращения Клеппа состояла в том, что Клепп привез продукты питания: муку, картошку и соль (правда, только для представителей власти, но и это уже было хорошо: это позволяло переселенцам отныне намного точнее планировать расход оставшейся еды). Привез Клепп еще и керосинку с керосином, что сделало охрану — благодаря горячей пище — куда более снисходительной к нуждам народа. Но самое главное и основное: Клепп привез инструменты — лопаты, ломы и зачем-то грабли для сена. С приездом Клеппа прояснилось кое-что и относительно статуса ковильных переселенцев, сброшенных в этом месте с поезда. Оказывается, их высадили в чистом поле по вине пьяного начальника поезда, который, якобы, лишь в конце пути обнаружил, что к эшелону пристегнут лишний вагон.

На самом деле все было не так: выяснилось, что бессовестный негодяй сделал это нарочно, для того, чтобы получить лишние деньги и продукты питания в качестве довольствия на сопровождающих: вагон был, по сути дела, украден им у другого состава (так установило следствие в результате жалобы деятельного Клеппа). Весь состав должны были в конце пути встречать местные власти и распределять депортированных по домам и по рабочим местам. А негодяй-начальник поезда, чтобы его подлый мухлёр не всплыл на поверхность, взял и сбросил, не доезжая до конечной станции, сорок лишних душ в степи в надежде, что авось они передохнут за зиму, и все быльем порастет. И если бы Клепп не появился в городском управлении НКВД с требованием довольствия на степное содержание охраны, то все так и осталось бы шито-крыто, и сошло бы с рук подлецу. Но теперь вина его полностью доказана, и коварный начальник поезда Жмыхов уже расстрелян, официально сообщил депортированным Клепп. Еще он рассказал немцам, что начальник поезда пытался все свалить на составителя эшелонов, но фокус этот у него не прошел; хотя на всякий случай составителя эшелонов тоже осудили и отправили на фронт, в штрафной батальон: уж там он много не напутает больше.

— Вот, граждане немцы: вы все являетесь теперь историческими свидетелями того, до какой высокой степени справедлива Партия к своему народу: никому она не позволит пропасть зря. Для этого она вооружена своим лучшим, недремлющим оком по имени Энкавэдэ, мимо которого никакая вражеская мышь не прошмыгнет, не то что какой-нибудь сраный начальник поезда или составитель поездов, или... — Клепп сделал многозначительную, педагогическую паузу, — ...или лазутчики германского фашизма. А также дезертиры! Всем понятно?

Всем было понятно, что Клепп о чем-то спрашивает, и что нужно соглашаться, и все дружно закивали. Но вот только все хотели еще знать, что с ними дальше будет — теперь, когда ошибка обнаружена. Будут ли их еще встречать по разнарядке, расселять по теплым домам, учитывать «Kwitanzeln», выдавать коров взамен отобранных, и так далее? Будет это все в ближайшем будущем? Аугуст, от лица общества, кое-как перевел вопрос.

— Начальник Энкавэдэ просил передать вам, чтобы все вы до последующих распоряжений сохраняли полное спокойствие и веру в мудрость Партии, которая никогда не оставит свой народ в беде — даже если этот народ совершил такое тяжкое преступление как вы, — ответил на этот вопрос Клепп. — Каждый в нашей рабоче-крестьянской стране имеет право на преступление и наказание, и ничего страшного в этом нет: нужно только потом достойно исправиться на благо Родины, и не пытаться никуда сбежать. За дезертирство и за попытки вступить в преступные связи с врагами Отечества — расстрел на месте! Это нужно помнить каждому гражданину страны днем и ночью! Ясно?

Переселенцы понятливо покивали снова, и принялись дружно окапываться — «до последующих распоряжений». Клепп с Петкой были довольны результатом командировки старшего. Ведь, кроме всего прочего Клепп привез с собой, оказывается, еще и огромную бутылку самогона.

Что ж, все было плохо, но все равно не хуже смерти... Ждать, так ждать. Люди даже улыбаться стали снова: лопаты! Лопаты — это было спасение. Удивительно, но факт: ни один из немцев не догадался прихватить с собой из дома лопату. За это тупоумие Клепп с Петкой уже неоднократно пеняли им в матерной форме: «Нет, ну ты глянь на этих гансов, — издевались они, — будильник взять в дорогу не забыли, чтоб на тот свет не опоздать, а обыкновенную лопату — себе же могилу вырыть! — забыли: ну не придурки ли? Не-ет, Петька, таких-то дураков мы к весне точно расколошматим! Если уж эти, советские немцы, которые почти что наши и советское радио с детства слушают, такими остолопами выросли, то чего уж тогда говорить про тех, гитлеровских фашистов. Конечно, мы их в два счета побьем скоро, дурных таких... «Хенде хох! Гитлер капут!» — кричал Клепп Петке, и тот, подняв руки вверх, убежал в степь, время от времени падая для достоверности. Это они такие агитспектакли устраивали со скуки. Все осторожно смеялись, а Петка и Клепп, складываясь пополам, хохотали еще подня потом.

Но все это ладно: будни жизни. Главное — появились лопаты. За них, за эти лопаты, а также за то, что они теперь жрали свое, а не чужое, Клеппу с Петкой простили все и даже полюбили их, как неизбежное и неотделимое от действительности зло, которое — как подсказывал совокупный опыт жизни — все равно ведь должно в какой-нибудь форме да существовать,

правильно? Так лучше уж, чтобы оно существовало в форме Петки и Клеппа: в форме, привычки и закидоны которой уже предельно хорошо изучены.

Как же все-таки незаметно смещается под влиянием обстоятельств шкала моральных ценностей человека и вся система его мировосприятия! Еще и месяца не прошло от начала мучений несчастных изгоев, но уже относился бездомный народ к Клеппу с Петкой — своим мучителям — как к истинным и непререкаемым вождям своим и благодетелям всей поволжской немецкой нации, а эти драные энкавэдэшные менты принимали все это как должное. Их легко избрали бы сейчас всеобщим голосованием в какой-нибудь горсовет, если бы подобная разлюли-дуристика была возможна в те строгие времена. Каждый день в своих конвоирах жители нор находили все больше положительных качеств, и дело до того дошло даже, что в рябом и конопатом Петке кто-то из депортированных отметил скрытую красоту души, а Клепп и вовсе оказался кому-то истинным Зигфридом, который обязательно должен понимать по-немецки. Иные депортанты — особенно неокрепшие еще сердцем гражданочки типа юной Эммы — вполне готовы были вступить с конвоирами в сердечный и даже еще более тесный контакт: совершенно добровольно, причем.

«И ничего тут не поделаешь, потому что жизнь есть жизнь: она состоит из страстей и желаний, и из жадности жизни, и все это двигает вперед эволюцию людей, — печально размышляла Аугуст Бауэр, — а рабы всегда будут восторгаться своими мучителями, покуда кто-нибудь не надоумит их, что господ можно не только любить, но и резать, и покажет пример. И тогда происходит революция, и все переворачивается вверх ногами, в результате чего становится понятным, как хорошо было до революции и без нее, и бывших тиранов своих память народная начинает переплавлять в народных героев, а новые тираны создают себе новых рабов, и все начинается сначала».

Кое в чем Аугуст оказался прав: много-много лет спустя, когда уже с безопасного отдаления сорваны будут все маски с сатрапов и насильников прошлого, и сами сатрапы будут названы по именам и развенчаны, все еще найдутся сотни и тысячи безумных — в том числе и из бывших отверженных, депортированных, интернированных, опущенных и раздавленных, которые будут шагать с красными, кровавыми, вовек не просыхающими знаменами и воспевать раздавивший их режим. Мало того: яростно, с пеной у рта будут кидаться отдельные престарелые свидетели сталинского, ГУЛАГовского социализма на хулителей сталинизма, ностальгически воя о том образцовом порядке, о тех благословенных временах, когда девизом жизни был лозунг: «Шаг вправо, шаг влево: конвой стреляет без предупреждения...».

Но то будет еще нескоро. А пока в казахской степи, возле железной дороги началось дружное социалистическое строитель-

ство: сначала — миром — возводилась официальная землянка для представителей власти, а потом уже, в индивидуальном исполнении — остальные жилища для невольных степных поселенцев. Если бы тогда существовало уже в культуре землян понятие «хоббиты», то оно наверняка прижилось бы применительно к депортированным казахским немцам. Возможно, с уточняющими переделками типа: «бедоббиты» или «недоббиты»...

Однажды ехал на низкорослом коньке мимо этой странной холмонорковой Недоббитании старый казах в самодельной островерхой шапке, остановился, не выказывая ни малейшего удивления, постоял немного, понаблюдал за хоббитами, слагая, очевидно, в сердце своем свежую песню о новом проявлении жизни во Вселенной, и ускакал восвояси с этой самой песней на устах. Потом еще несколько раз приезжали другие казахи, напоминающие первого, как родные братья, которые и вели себя очень похоже: стояли долго и задумчиво, а затем срывались и уносились с криком вдаль: то ли с вольной песней в горле, то ли матерились по-казахски в такой художественной форме. Депортированные смотрели вслед казахам с симпатией и завистью: кони и песни были наглядными символами свободы. А сами казахи скакали к себе домой: это было понятно каждому и особенно грустно: у кого-то есть еще дома...

К первому снегу все были уже под землей. И слава Богу! И слава лопатам как мужского, так и женского рода! Ведь в немецком языке штыковая лопата — дер шпатен — имеет мужской род, а совковая — ди шауфель — женский. Клепп, молодчина, привез и тех, и других, так что мужчины и женщины рыли теперь в едином порыве. И не только они: малые дети, не умеющие держать лопату, гребли землю просто ручонками: скорей, скорей, в землю, глубже, скорей, скорей, скорей... И — успели!

С появлением лопатухек можно было не бояться больше, что мертвые останутся лежать на земле непохороненными; теперь даже зимой, даже в лютый мороз их можно было похоронить в землю, по-христиански. Все-таки Клепп молодец. Теперь, благодаря лопатам несчастные депортированные немцы полюбили злого Клеппа не меньше, чем доброго Петку. А к Петке относились вообще как к родному. Потому что Петка влюбился в Эмму Элендорф, а любовь эта оказалась запретной. Запретил ее Клепп. Немцы осуждали Клеппа за гонения любви, но за лопаты ему прощалось и это. А Петке сочувствовали. Все знали о страданиях Эммы, которая своими ушами слышала, как Клепп запретил Петке проявлять чувствительность к врагам народа в любой форме. И хотя очень способная к языкам Эмма поняла не все из ругни Клеппа, но основное она поняла, и это ее возмутило страшно: Клепп втолковывал Петке, что изнасиловать врага народа без любви, по приказу Партии — это можно, но проникать-

ся нежными чувствами сердца по отношению ко врагу — это совершенно недопустимое, антипартийное безобразие. «Потому что любые сношения с врагом бросают тень на результаты всей Великой Октябрьской Социалистической Революции, — кричал Клепш, — потому что от врага народа может родиться только еще один враг народа: понимаешь ли ты это, деревянная твоя голова? Это же чистой воды диверсия! Тем более что на этой скользкой почве нездоровой похоти на тебя было совершено покушение. Ведь это не тебя лично, Петьку Петухова ударили по башке, баран ты безмозглый, а это самую советскую власть в твоём полномочном лице представителя карающих Органов грубо оскорбили ведром по голове! Соображать надо, лапоть ты штопаный!»...

Нужно сказать, что семья Элендорфов за нападение на бойца НКВД путем оцарапывания последнего и ударения его ведром по голове отделалась в конце концов относительно легко: Клепш оштрафовал Элендорфов всего лишь на один кусок сала — правда, на последний. Это наказание предупредительное, разъяснил Клепш семье Элендорфов, и по тяжести своей — почти символическое, если учесть, что по Уставу за такое преступление полагается расстрел у входа в землянку без последнего слова и без просмотра приговора в высших инстанциях. Мать Эммы Элендорф очень плакала от радости, что все так хорошо обошлось. Хотя злые языки, которые есть и будут всегда и везде — даже в аду — утверждали, что мать Эммы плачет на самом деле не из-за несостоявшегося расстрела, а по салу. Сама же Эмма была расстроена вдвойне: из-за сала и из-за Петки. Последний ей очень даже нравился, тем более, что других женихов все равно не сыскать было до самого горизонта... Особенно сильно Эмму оскорблял тот вопиющий факт, что как «врага народа» ее изнасиловать разрешается, а любить вне партийной линии — уже нельзя. «Это что же за поганая партийная линия у них в НКВД такая, которая может до крайней степени унижать человеческое достоинство?» — спрашивала себя Эмма. Но, конечно же — спрашивала молча, чтобы лишний раз не получить от матери по губам за свой бойкий, но глупый язык. На уровне Петки она пыталась провести мысль, что согласна отказаться от любви по партийной линии, и пусть он поступит с ней, как с самым наизаклятейшим врагом народа. Но Петка ее не понял или не захотел понять. Он прогнал Эмму прочь от себя со словами: «Иди нахаузо, Эмка, дура, иди цурюк в свой лох нахаузо. Руссиш солдат немец никс либен. Революцион! Гитлер капут! Никс либен врагов!».

Безутешной Эмме оставалось лишь рыдать в своей норе, но она немножко и радовалась одновременно: ведь это ради нее любимый Петка выучил немецкий язык, и какая бы замечательная семья могла бы у них получиться, если бы не эта противная Петкина партия! Ну, почему все так несправедливо устроено на земле? Ну, почему?

Петка подчинился революционной дисциплине и подавил в себе все нежные позывы плоти, чтобы не очутиться однажды вместе с этими неуместными чувствами у суровой, расстрельной стенки — в соответствии с революционным учением Клеппа. Ведь Петка, хотя и был бойцом Энкаведэ, но грозен он был только с лицевой стороны, обращенной к гражданскому населению. Со спины же, за которой скрывался от народа страшный Лаврентий Павлович Берия, маленький Петка был абсолютно незащищен — меньше даже защищен, чем весь остальной советский народ, потому что жалкая, синеватая, хребтистая спина Петки и ему подобных доблестных воинов НКВД была у грозного Лаврентия Павловича на виду постоянно — день и ночь, по праздникам и по выходным — тоже. При этом Петка еще и коммунистом не был: не дорос пока. И, положила руку на любое место тела — не очень стремился дорастать: у его прадеда по материнской линии когда-то, до турецкой войны, было два коня и три коровы, и если все это вскроется однажды в процессе вступления в партию, то для него, разоблаченного буржуазного элемента и лазутчика царизма, наступит кирдык при полной луне — тот самый кирдык, которого так боятся все эти штрафные немцы, предавшие товарища Сталина в самый ответственный момент истории...

Отлученный от любви Петка ходил кругами вокруг охраняемого им объекта — подземного населенного пункта, не нанесенного ни на одну карту мира, и думал в адрес своего старшего боевого товарища и политического учителя Клеппа: «Ну, погоди, паскуда: придет время — ужю поквитаюся я с тобою...»

.....

Эх, лопаты-лопаты: проклятые лопаты, проклятая степь, проклятый Сталин! В схваченную первыми морозами чужеземную глину уложил Аугуст в начале ноября отца своего Карла Карловича Бауэра — героя Первой мировой войны, российского солдата, Георгиевского кавалера с осколком под сердцем и тяжелой контузией головы. Когда их гнали на станцию — уже тогда отца везли на телеге, потому что он начал опухать: от переживаний последних дней осколок двинулся в сторону сердца; отец стонал от боли, сердце его, пугаясь осколка, сжималось и недокачивало, и отец задыхался. Но у него были сильные, крестьянские корни, и он осилил долгий путь в эшелоне, а также первые дни под открытым небом в чужой степи. Но однажды ночью ангел его, видящий эти страдания и страдающий вместе с ним, сжалился над ним и сказал ему: «пора, пошли!» На долю секунды Карл Бауэр ощутил бездонное отчаяние конца, а потом сердце его бросилось, как на амбразуру, на острый осколок и, содрогнувшись на миг от последней земной боли, остановилось навсегда. Он ушел в другие миры. Аугуст же и его родные познали совершенно новую для себя науку беды: горе, оказывается, умеет

парализовать страдание. На большое страдание у них просто не было сил. В них жила тоска, заменяющая страдание, и они таяли сами, не зная, что будет с каждым из них завтра.

Теперь их осталось в норе четверо: сам Аугуст, мать его Амалия Петровна, сестра Беата и младшая сестра матери, тетка Катарина, пришедшая семнадцать лет назад жить к ним в дом в качестве няньки брата Вальтера, да так и оставшаяся при них... Брат Вальтер. Вместе с ним их должно было быть пятеро сейчас. Что же случилось с ним? Жив ли он? Когда они стояли несколько дней на какой-то станции, кажется, она называлась то ли Арысь, то ли Арыся, Вальтер пошел за кипятком и больше не вернулся. Они искали его, и сам Аугуст обежал несколько раз все вокруг, промчался по всем перронам, каждую секунду опасаясь, что поезд уйдет, и он автоматически превратится в дезертира, но Вальтера так и не нашел. Он сообщил о пропаже брата начальнику поезда Жмыхову (немцы называли его «Цмикофф»), но тот лишь цинично предположил: «Может быть, он уже с крыши какого-нибудь дома Гитлеру вашему сигнализирует?». Между тем, поезд тронулся и покатил дальше — в неизвестном направлении, к неизвестной цели.

Горе от депортации померкло от этого страшного события: их маленький Вальтер был всеобщим любимцем, их маленький Вальтер был счастливой, всегда улыбочливой звездочкой в доме, отличником в школе, веселым заводилой во всех делах. Он хотел стать учителем, он как раз окончил школу, готовился к выпускному вечеру, когда началась война; он собирался ехать учиться в Саратов, а, может быть, и в Ленинград: там был педтехникум для ребят из немецкой республики и для других российских немцев — с Кавказа, Крыма, Украины... Вальтер дружил с ребятами из соседнего русского села и прилично говорил по-русски... Теперь для всего вагона он был главным переводчиком и контактным лицом со внешним, их отвергшим миром. И вот, его нет. Ах, Вальтер-Вальтер, милый братик Вальтер: куда же ты пропал, что с тобой сделалось, что стало?

Бесконечно долгими и пустыми были ночи в норе, бесцветно и обреченно ползли в сторону зимы медленные дни этой новой, отверженной жизни. Собирая по степи и стаскивая к землянке вязанки чахлого травяного топлива, поддерживая ночью огонь в «пурчунке» — железной печке-«буржуйке», сварганенной Аугустом из железной бочки, найденной им в овражке недалеко от железнодорожных путей и приспособленной для прогрева их сырой норы, лежа под ватным одеялом, стараясь заснуть, или глядя с высоты холма вдаль, Аугуст все время пытался осмыслить произошедшее с ними — с ним лично и с его народом.

С народом, двести лет назад приехавшим на повозках в Россию по зову царицы Екатерины заселять пустующие земли, чтобы стать щитом между европейской Россией и кочевыми бандами

ми, которые орудовали в те времена в оренбургских степях и даже с правого берега Волги ухитрялись уводить скот, детей и женщин. Долгие месяцы двигались обозы по лоскутной Европе на восток. Кто-то повернул на Кавказ: там тоже было от кого прикрывать грудью Российскую Империю, кто-то осел в Крыму, на месте недавно изгнанных турок, а также на землях Ставрополья. Предки Бауэров — дед прадеда и родня по материнской линии — прибывали в разное время, с разными обозами, и заселяли пустынные берега саратовского Поволжья. Когда все тут было уже занято и земли разобраны и распаханы, новые поселенцы, которые все ехали и ехали, двинулись в глубинку, и так постепенно состоялся немецкий край — немецкая колония. Это была богатая колония в сравнении с окружающим русским крепостным крестьянством. Немцы были свободными поселенцами, они не знали крепостного права. У них был только один повелитель — труд, и они были охвачены единой эпидемией трудолюбия. На двадцать лет с момента прибытия они освобождались от всех и всяческих налогов, и за это время прочно становились на ноги. Они писали в тесную, нашпигованную пограничными столбами Германию, которая и Германией-то тогда еще не называлась, оставшимся родственникам, мечущимся среди княжеских разборок и чужих полей, о вольной и сытной жизни, о плодородных землях, которых «бери — не хочу», об отсутствии налогов, и в результате к земле обетованной, в благословенную Россию устремлялись все новые и новые колонисты, так что скоро немецкое Поволжье превратилось в богатейшую сельскохозяйственную житницу России, а сами немцы стали неотъемлемой частью русского народа. Где-то в семидесятые годы девятнадцатого века немцев уже начали призывать в русскую армию, и они служили так же старательно и аккуратно, как и работали. Из армии они возвращались в Поволжье с русским языком и чувством ответственности за великую Российскую империю, которое завещали и детям своим.

Революцию немцы Поволжья восприняли спокойно, без истерики, но с опаской. Их бы вполне устраивала и дальше власть российских царей, это была лучшая власть, которая выпадала их народу за века. Пропагандисты увещевали: «Радуйтесь, немцы! Ведь наступает власть народа, власть крестьян! Для немецких крестьян это особенная честь, потому что Карл Маркс и Роза Люксембург были наши, немецкие революционеры, и нам всем этот факт зачтется». — «Ну и что? — сомневались скептики, — урожаи от этого удвоятся, что ли, или по четыре теленка у каждой коровы родятся от этого вашего Карла Маркса?». Но тут по сомневающимся скептикам сокрушительный удар нанес вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин: поволжские немецкие колонии были объявлены Автономной Республикой немцев Поволжья. Со столицей в городе Энгельс! С собственным

правительством! С немецкими школами, институтами, заводами, фабриками. И музеями, и театрами, и дворцами культуры — своей, немецко-поволжской культуры, с ее диалектом и ее историей. Скептики заткнулись и с осторожностью приняли Советскую власть в свои сомневающиеся смятенные сердца. Самые умные, однако, все равно роптали: «Это сейчас мы, немцы, любимцы интернационалистов, потому что революция пришла к нам из Германии. Но когда-нибудь об этом забудут, и что тогда? А если мировая революция не состоится? А если с Германией следующая война случится? Что тогда будет с нами, с немцами?». Как в воду смотрели они, умные. Для начала, вслед за гражданской войной разразился страшный голод — знаменитый голод в Поволжье: это в богатейшем-то Поволжье — сельскохозяйственной житнице России! Большевики забрали и съели все, включая семена и племенной скот, и закрома опустели, и поля умерли, и лебеда, запеченная со жмыхом, стала невиданным лакомством, заменившим и хлеб, и все остальное съедобное. Церкви ударили было в набат, но их тут же и заткнули: колокола сорвали, священников изгнали или расстреляли в подвалах ГПУ. Бог в ужасе зажмурил глаза и зажал уши, чтобы не слышать мольбу и вопли протягивающих к Нему руки. Пассивность Бога обошла Поволжскому народу дорого: на степь обрушилась засуха, и голод стал еще ужасней; люди пухли и мерли от голода в своих домах, и на улицах, привалившись к заборам, и в бесплодных полях, из которых исчезли даже суслики, кроты и черви. А ведь суслики были последней надеждой: все остальное уже было съедено. Август этого не помнил — ему было тогда всего-то три годика, но мать рассказывала после, как отец, еще не оправившийся от контузии, уходил, шатаясь, в поля, чтобы поймать хоть одного суслика. В детстве отец был знаменитым суслиководом: его научила этому бабушка. В те времена хлеба стояли богатые, и пирующих сусликов было в избытке. Их было столько, что они наносили ощутимый вред хозяйству, и их полагалось уничтожать. Даже разрядка была: на каждые десять «земельных» душ — тридцать сусликов. За недобор — штраф одна копейка за тушку; за каждого лишнего — копейка премии. Отец весной, в мае, зарабатывал до рубля на сусликах. Это были огромные деньги по тем временам. Но теперь, во время голода в Поволжье, даже отец возвращался пустым, напрасно потратив силы. Многие кинулись спасаться на юг: в Крым и среднюю Азию. Уехали, чтобы спастись от голодной смерти, и трое братьев отца: с семьями и скарбом, уехали и больше не вернулись. От голодной смерти они почти уже спаслись, но в пути их настигла другая беда: тиф. На станции Джанкой перед самым Крымом их всех сняли с поезда; а уже на следующую ночь все восемнадцать душ, включая малых детей, отправились с отчетом о прожитой жизни к Создателю.

Всю большую семью и еще человек тридцать посторонних покойников закопали в одной братской яме, пересыпав хлоркой. Над ямой не оставили даже опознавательного столбика: некому было возиться. Это было первым приветом Советской власти своему трудовому народу. Из этого очередного испытания выжившие люди вышли, как утверждала официальная идеология, еще более закаленными. В частности, выжили Карл Бауэр и его семья. Закалились ли они голодом — сказать трудно. Но они как-то выжили: перележали, переползали. Аугуст о том ужасном времени ничего не помнил, за исключением птички, которую ловили во дворе; она была с поломанным крылом и никак не могла взлететь, поэтому ее поймали. Аугуст помнил, как все радовались, когда кто-то держал ее в руке. И еще он помнил, как страшно свисала у птички головка: птичка была мертвая, а Аугуст обязательно хотел, чтобы она летала дальше, и плакал. А все смеялись вокруг и называли его дурачком. Из птички сварили суп. Этот спасительный суп ел, наверное, и маленький Аугуст, раз он остался жив. Но супа из птички он уже не помнил: только саму птичку. Про суп из птички, которая спасла всем жизнь, ему много позже расскажет мать, вспоминая те кошмарные дни.

Голод минул, уполовинив село, и пришли времена облегчения: опять появились коровки, и в полях все росло, как прежде. По домам ходили, правда, комиссары с тетрадками, но семян все равно хватало, чтобы засадить поля заново. После сдачи мяса и яиц продуктов хватало на раз в день поесть самим. Пропагандисты торжествовали: ну, видали? Кто был прав? Рай постепенно наступает-таки, или опять кто-нибудь вздумает возражать? Но скептики и умные стали теперь гораздо осторожнее и возражать не собирались; они просто слегка качали головами, и в глазах их читалось: «Поживем — увидим, погодить надо — еще дождемся...».

Погодили и дождались коллективизации. И сопутствующего этому процессу раскулачивания. Что ж, коллективизация — так коллективизация. Дисциплинированные, законопослушные, организованные, обязательные немцы в тридцатом году осуществили у себя в Поволжье сплошную коллективизацию первыми в стране — по всем кантонам, без бунтов и восстаний, строго по инструкциям представителей Партии в кожаных и с наганами. Немцам коллективизация не нравилась, конечно, как и всем нормальным крестьянствующим людям, но им сказали «надо», и они послушно выполнили установку властей: немцы привыкли верить властям. И когда им объявили, что среди них есть кулаки, то они стали удивленно озираться и искать признаки этих самых зловредных кулаков, разглядывая прежде всего свои собственные натруженные руки, которые, даже сжатые в кулак, ничего особенно враждебного собой не представляли, да и были все бо-

лее или менее одинаковые: который настоящий «Кулак», а который не настоящий — и не разберешь. Но им сказали: не беспокойтесь, дорогие немецкие товарищи. Партия сама укажет вам, которые из вас кулаки. И немцы успокоились, не веря, что партия сможет когда-нибудь разобраться в столь сложном вопросе. И действительно, трудность состояла в том, что для списка кулаков в немецкой республике годился при необходимости любой крестьянин, потому что у каждого было — до голодомора, во всяком случае — по несколько коров, да маслобойка, да веялка, да царские червонцы про черный день. Однако, задавали себе резонный вопрос немцы, выслать на стройки социализма всех поголовно — кто же будет тогда страну кормить? Ведь немецкое Поволжье все еще оставалось главным продовольственным арсеналом государства. Так кого назначить кулаком? Нерешаемая задача. Но наивные немцы тогда еще не в полной мере осознавали, что для коммунистической партии нерешаемых задач не бывает. Партия решила и эту. Власть Поволжья, в составе которой было много коммунистов-немцев, подошла к проблеме с умом: в первую очередь в кулаки записали не самых имущих, а самых говорливых, которые каркали; следом уже — селян побогаче, имевших много завистников вокруг. Пропагандисты доказывали: «Смотрите, товарищи, насколько все справедливо складывается: Советская власть помогает нам, немцам, очиститься от болтунов и толстосумов, из-за которых нам всем непосильные продналоги нахлобучивают. А теперь вон как всё здорово получилось: забрали богачеев наших вместе с их продуктами, продукты в план продналога вписали — вот и выполнил наш кантон одним махом план госзаготовок на целый квартал вперед. И государству хорошо, и нам сразу легче дышать стало!». И все изображали улыбку, прикидывали, кому быть следующим «богачеем» на очереди, и торопились спрятать от посторонних глаз последние признаки процветания: швейные машинки, ручные сепараторы и даже лагунные тазы для варки варенья. Заман Линкер, например, закопал в саду часы с кукушкой. Изготовленные при царизме, они куковали о старом времени, и советская власть могла к этому безжалостно придираться.

Если в былые времена бедняки имели привычку сидеть на лавочке перед своими домами и ковырять палочкой в зубах, делая вид, что они только что ели мясо, то теперь безопасней стало ходить слегка оборванным и жаловаться на хроническое недоедание. Из месяца в месяц эти жалобы становились все искренней и честней, однако «богачеев» в «кулацких списках» плодились тем не менее по нарастающей. Раскулачивали под занавес всей этой кампании уже всех подряд, так что к тридцать второму году — началу следующего страшного голодомора в стране — кулаков в Поволжье больше не оставалось. Разве что совсем уже экзотических кулаков, прикидывающихся голодными, отлавливали по ут-

лам, чтобы оправдать существование недремлющих органов. Так, одного из таких хронически недоедающих немцев, Зайберга Вальдемара раскулачили за новые сапоги на ногах, а его двоюродного брата — Зайберга Клауса — через пару месяцев арестовали уже за старые сапоги: просто за то, что была их у него на ногах комплектная пара, в отличие, например, от одноногого инвалида мировой войны Кайзера Вильгельма, имевшего лишь один сапог, или от тех же пролетариев братской Монголии, с трудом вышедших недавно из-под тысячелетнего гнета феодализма и не имеющих в результате вообще во что обуться. Так что по окончании строгого следствия по «сапожному делу», с сопутствующими вопросами и мордобитием, потопали оба брата в сторону восходящего солнца — туда, где руду добывают — в четыре босые ноги. А вслед за ними шкандыбал на костылях и одноногий Кайзер: за то, что на портрет царя Николая помолился, когда к нему пришли с проверкой его материального положения. Потом уже разобрались, что то был не царь-кровопийца вовсе, а портрет родного дедушки Кайзера в унтер-офицерской форме. Но не возвращать же инвалида с этапа, когда он уже триста пятьдесят миль отшагал с таким трудом. Из соображений гуманности развернули тогда старого Кайзера с восточного направления на северное (туда маршрут короче по карте), и пошагал Вильгельм Кайзер уже к Белому морю. Там его одноногий след оборвался навсегда...

Аугуст время от времени поднимался с ковальной лежанки, чтобы подложить в бочку сухой травы: уж больно быстро она выгорала. Когда выгорит вся — что тогда? Степь уже накрыло снегом, и там, снаружи, гуляли метели в обнимку с морозами. Было безысходно пусто на сердце, и мысль о том, что всего лишь два месяца тому назад еще была жизнь, была родина, и все были живы, казалась сказочной, совершенно неправдоподобной. Да, конечно: все это было когда-то, но тысячу лет назад, наверное, и с кем-то другим, не с ними...

Но упрямая память все подсовывала картины из прошлого — сказочные или реальные — какая разница? И с этими картинами в сердце Аугуст засыпал, уходя в них далеко-далеко и не желая возвращаться...

Но являлись и другие картины, от которых хотелось бежать, но убежать было невозможно; чтобы отделаться от них хотя бы на время, их следовало просто пережить заново: это Аугуст уже знал на горьком опыте долгих бессонных ночей.

Так, например, приходили воспоминания о начале войны: то объявление по радио, общий ужас, общая растерянность — как предчувствие конца. Потом эта жуткая, могучая, гипнотизирующая песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!...», от которой кровь останавливалась в теле. Что могло быть страшней этого? Оказалось: могло быть еще страшней! Тогда, в конце августа...

Как все это было? Кончалось лето. Уже всюю шла война, и всем немцам в Поволжье было страшно и тревожно. Так же тревожно, как всем советским людям, но и еще немного больше. Потому что в соседних русских селах уже с конца июня шла тотальная мобилизация, а в немецких — нет, хотя в немреспублике воинская обязанность была общесоветской, такой же, как везде. А тут вдруг — тишина. Это было непонятно, это пугало. «Война с фашистской Германией? Ну и что? А мы-то тут при чем? Мы же не виноваты, что мы тоже немецкий язык знаем. Как раз наоборот: мы больше других можем пользы принести на фронте: переводчиками, пропагандистами, агитаторами», — рассуждали немцы по вечерам. Знающие люди сообщали, что более шестидесяти тысяч поволжских немцев из числа призванных в армию до войны уже вовсю воюют. Уже есть орденосы. Но добровольцы продолжали возвращаться с призывных пунктов с тревожной вестью: «Немцев не берут!» Почему не берут? Им на этот вопрос никто ответить не мог. И все понимали: что-то не так: что-то где-то происходит грозное и опасное. Прошел слух, что органы НКВД выявили шпионскую группу на территории немецкой автономии, состоящую из местных, немецких фашистов. «Откуда могли тут взяться фашисты? — недоумевали жители, — когда мы все друг друга знаем...» Но слухи такого рода расплозились и крепили, и обрастали диковинными подробностями. Однажды все собрались вечером в клубе — сами собрались, спонтанно, без приглашения, без повестки дня: люди просто хотели пообщаться, поговорить, обсудить пугающую ситуацию, обменяться мыслями и тревогами, возможно, найти сообща какие-то объяснения происходящему. Пришел и председатель — как же без него решать проблемы, если он главный мозг колхоза? Киндер долго слушал людской встревоженный базар, а потом сказал: «Нас не трогают и не призывают, потому что на нас возложена в связи с войной особенно ответственная миссия: кормить фронт, кормить страну. Гитлеровцы идут с запада и разоряют земли, уголья Украины и Белоруссии. Кому страну кормить? Только нам! Государству отлично известно, как хорошо мы трудимся, какие высокие показатели в заготовке сельхозпродуктов всегда демонстрировали — практически независимо от погоды; вот поэтому государство и возлагает на нашу Немреспублику основную надежду в деле снабжения армии продовольствием. И мы не подведем!» Ах, как все сразу просто и понятно объяснилось! Какой же умница все-таки этот наш Вилли Киндер, какая голова! «И еще одна причина есть, — добавил умница-председатель, — зачем, спрашивается, лучших крестьян отрывать от производства, если Красная армия еще до Нового года перейдет в контрнаступление и разгромит гитлеровцев? Для этого в Сибири уже готовится колоссальный ударный потенциал с новейшим оружием. Мы, крестьяне, бауэры, пока просто не нужны армии — что же: пугаться у них под ногами и

мешать только? У нас — посмотрите какие урожаи поспевают этим летом. Все собрать до последнего зернышка, до последнего клубенька — вот наша святая задача!» — «Ах, молодец, Киндер! — радовались колхозники. — Но почему все это держится в такой тайне?» — «Чтобы фашисты не догадались и не ударили десантом с востока, не пожгли и наших полей заодно!» — догадался кто-то, развивая вширь и вглубь спасительную теорию мудрого председателя Вильгельма Киндера.

С каким же воодушевлением все расходились по домам в тот вечер! Красная Армия скоро разобьет врага! Соберем весь урожай до последнего зернышка! Ах, какой же молодец наш Вили!

И вот, двадцать девятого августа, когда все были в поле, Киндер примчался на взмыленном Зеппе (никто и не подозревал, что старый Зепп все еще умеет так скакать), и никак не мог урезонить коня, и сам не мог некоторое время проговорить ни слова, хрипя и задыхаясь вместе с Зеппом. По растрепанному виду председателя все поняли, что случилась какая-то большая беда. И Киндер лишь добавил всем страха, проговорив, наконец: «Eine schreckliche Nachricht, Genossen: eine Katastrophe ist geschehen!»¹ — и закрыл лицо руками. Кто-то из женщин начал плакать, еще не зная, в чем дело.

— Они взяли Москву? — ахнул кто-то в отчаянье. Но Вильгельм замотал головой, и наступила страшная тишина: если фашисты не взяли Москву, то что может быть еще ужасней? Сталина убили?

Оказалось еще страшней. Оказалось так страшно, что даже не все это осознали сначала, когда Вильгельм все-таки справился со своим волнением и проговорил заплетающимся голосом:

— Нас, немцев Поволжья, объявили врагами. Официально. Вышел Указ об этом. Республика будет ликвидирована. Нас выселяют в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию.

— Кого это — нас? — спросил кто-то, не веря своим ушам.

— Нас всех. Весь народ. Всех до одного. Кто за русскими мужьями или у кого в семье русские жены — могут остаться. Остальные — все.

Колхозники не верили. Что-то этот Вильгельм перепутал, что-то не так понял. Газета-то с Указом на русском языке. Вильгельм Киндер хоть и знал русский, но не настолько хорошо, мог пропустить в Указе что-то главное.

— Вильгельм, не городи чушь! — возразила Алья Кутель, бригадир полеводческой бригады, — как можно выселить целый народ? А дома, а скот, а колхоз? Кто работать будет, кто будет армию кормить? Ведь мы...

Но Киндер махнул на нее рукой, перебил:

¹ Ужасная новость, товарищи: произошла катастрофа.

— Бросайте работу, оставьте все эти помидоры лежать: не до них теперь. Идите домой, собирайтесь. У меня только что был комиссар из НКВД: нам дается сорок восемь часов на сборы. Каждый может взять с собой вещей не больше одной тонны, продовольствием нужно запастись на дорогу не менее чем на месяц. Все, расходитесь по домам... Всему конец: расходитесь, — седые волосы Вильгельма Киндера облепляли горящую на полуденном солнце розовую лысину, и был он похож в тот миг на бога Саваофа из детской книжки, который обнаружил вдруг, что все пропало: ни с твердью земной, ни с синим небом, ни с глухими людьми ничего не получилось! И стало впервые видно колхозникам, что лицо у их строгого, авторитетного Вильгельма старое и серое, а губы — синие, как будто он принял яд из чернильницы, и сам он — разбитый, растерянный старый человек.

Август не послушался и не бросил помидоры: машина, с которой он прибыл, чтобы забрать собранный урожай, была почти уже доверху заставлена ящиками. И что за помидоры это были! На редкость: гладкие, как шелк, сладкие, как сахар и толстые, как монгольские борцы. Ну, как было их бросить такие? И Август дал по газам и покотился назад в село вместе с ценным грузом своим.

— Поставь машину на площади перед правлением, — успел крикнуть ему председатель вслед: пусть все берут на дорогу, если захотят...

Лишь в этот миг упало сердце у Августа, как оборвалось: в этот миг до сознания его дошел смысл объявления Киндера. «Враги!... Мы — враги! Но как такое возможно? Этого не может быть! Где-то произошла чудовищная ошибка! Она скоро прояснится...». Это была страшная правда, весь ужас ее долго еще оставался за пределами понимания: этот яд проникал в мозг медленно, как от гангрены, и от него цепенело тело.

Может быть даже и хорошо, что постижение этой ужасной правды происходило медленно, ибо пережить ее разом было бы вне человеческих возможностей: каждый из тех, кого она коснулась своим черным, ледяным крылом, умер бы на месте, если бы мог представить себе в этот миг свою жизнь и жизнь своих детей на два десятилетия вперед.

Как-то в двадцатые годы в село привозили фильм про монголо-татар. Фильм был на русском языке, большинство ничего не понимало; некоторые селяне полагали, что фильм документальный, сильно всполошились и побежали выяснять у кинооператора, в каком конкретно районе и на какое немецкое село совершили нападение татары. Их интересовало, далеко ли то место от их Елшанки и пришают ли сюда красную армию для охраны села или нужно будет самим как-то обороняться. Потому что сто и сто пятьдесят лет назад оборонялись главным образом сами. Русский кинооператор и сам не всегда знал, про какие места он чего кру-

тит. Он крутил все подряд, и ему было все равно — про «Ленина в Октябре» кино или про монголо-татар в Казани. Да и по-немецки он знал только два слова: «Алес капут!». Их и повторял. И немцы побежали из клуба, чтобы баррикадировать окна в домах, прятать ценности и даже резать скот. На следующий день, когда все прояснилось — держались со смеху за животы и показывали друг на друга пальцами. Что за милая, наивная паника то была в воспоминаниях тех, кто это помнил!

Ну почему, почему не могло и в этот раз все обернуться наутро недоразумением или объясниться ошибкой? Но нет, не было ошибки, и в тот вечер, и всю ночь, и наутро, и весь следующий день крики людей и животных, плач, стоны, мольбы и проклятья металась по селу, от дома к дому, по всем улицам и дворам.

Визжали свиньи, рассчитывавшие еще пожить до октябрьских праздников; лаяли на свои будки и просто так в пространство совершенно сбитые с толку собаки, не понимающие, что стряслось и от кого защищать дворы и хозяев в этом непонятном хаосе; коровье мычанье висело над селом протяжной мольбой, и такой же гул доносился из соседних сел. И беготня, беготня, беготня вокруг. Беготня и плач. Беготня с отчаянными вопросами, обращенными к синему небу и друг к другу: вопросами, не имеющими ответов. Никто ничего толком не знал. Куда поедет? На чем? На повозках? На своих? На армейских? Куда их потом? Коням корм брать? Дрова брать? Ехать семьями или дворами?

Уполномоченные сами ни черта не знали. Они орали в ответ и матерились. Они ходили из дома в дом, делали записи и выдавали Kwitanzen: квитанции за оставляемые постройки, зерно, фураж и скот. «На основании этих квитанций вы можете претендовать на соответствующую компенсацию по прибытии на место назначения», — втемняшивали они ничего не соображающим немцам. Немцы задавали в ответ идиотские вопросы: «На какое место назначения поедет? А что там — другую корову дадут? А какую? — эта-то хорошая! Нам плохую не надо!»...

«Пошли к дьяволу!» — кричали представители НКВД, которым на удои коров было наплевать, которые головой отвечали только за одно: за сроки депортации. До конца сентября в Поволжье не должно было оставаться никаких немцев.

Квитанции второпях выдали не всем, иные их потеряли в суматохе, иные же хранили потом до конца жизни, чтобы либо поплакать над ними когда-нибудь, либо посмеяться — смотря по настроению и состоянию здоровья. «Колхозом, всем колхозом будут вывозить», — заверял людей Вильгельм Киндер, и хотя бы уже одно это было хорошей новостью в разверзшейся бездне несчастья: вместе выживать все же легче: это понимал каждый.

Последние сутки перед отправкой вообще не спали: все собирались в дальнюю, неизвестную дорогу, плакали над каждой оставляемой вещью, доставшейся еще от прадедов. Мудрость,

встроенная в гены, учила быстро: брали крупы, топили шмальц, солили мясо, коптили кур и гусей. Мыло, спички, керосин, одежда — это обязательно. Теплая одежда, обувь — тоже. Дальше — по привязанностям: любимая шифоньерка, фаянсовые слоники на счастье, белая фата из сундука, сам сундук с резьбой, щенок с перебитой лапкой, портреты предков, документы — наградные грамоты, свидетельства, справки, выписки, удостоверения; отец Карл, например, упаковал с документами свое сокровище: унаследованную от деда газету с манифестом царицы Екатерины II от 1763 года: «О дозволении всем иностранцам, в Россию выезжающим, поселяться, в которых губерниях они пожелают, и дарованных им правах».

Тонна набиралась очень быстро. Глупые люди задавали особистам тупые вопросы типа: «А вес телеги входит в тонну? Ответ был всегда один: «Пошли к черту!» Как нетрудно было догадаться — туда они и отправлялись, причем под личным управлением самого главного черта, того самого: Усатого.

— Надолго уезжаем? — это был еще один из глупых вопросов, задаваемых депортируемыми друг другу. Варианты ответов были разные: «До конца войны», «Никто не знает» и «Навсегда». На тех, кто говорил «навсегда», махали руками, как на чумных, и кричали, что это ерунда, что скоро фашистов разобьют, и историческая справедливость будет восстановлена: можно будет в спокойной обстановке разобраться, и при этом обязательно выяснится, что немцы Поволжья никогда не были предателями Родины. И тогда республика будет восстановлена и наступит новая, счастливая жизнь. Но пессимистические настроенные реалисты с безумными глазами каркали свое: «Навсегда, навсегда, навсегда...» Говорят, одного такого нашли застреленным, уже на станции...

Через двое суток, на рассвете обоз двинулся в путь: к Волге, на железнодорожную станцию. Скот, избежавший ножа, был отпущен на волю. Скот про волю ничего не понимал и тоскливо смотрел вслед удаляющемуся обозу. Собаки трусили рядом, разрываемые сомнением: сопровождать хозяев дальше или вернуться и охранять дома? Наиболее глупые трусили рядом до самого города, жалобно посматривая на своих хозяев, чувствуя их великое горе и не понимая его. Самые умные садились у дороги и долго выли, а потом поворачивали обратно: хозяева исчезли, да, но дом-то еще стоит! Кто-то же должен охранять дом!..

Очень страшно было проходить пустые села, вывезенные накануне. Всегда жутко смотреть на растерзанного мертвеца, но еще страшней видеть мертвое село: распахнутые ворота, пустые дворы, беспризорный мусор, играющий с ветром на улицах, безлюдье, безмолвие, в котором внезапный звук от хлопнувшей на ветру ставни заставляет вздрогнуть, как от злой шутки демона. И еще слезы наворачивались от вида беспризорных коров с разду-

тым выменем: они устремлялись навстречу обозу и отчаянно мычали. Их доили наскоро, прямо в пыль, или в ведра — у кого были наготове — и пускали ведра по рукам: пейте, пейте под завязку, люди добрые — когда еще доведется?..

Предсказание Киндера о том, что депортировать будут всем колхозом, не состоялось. Случилось иначе: колхозом ехали только до ближайшей станции; там комплектовали составы по принципу наполнения вагонов, и кто в какой состав и вагон попал, оказалось вопросом случая; соответственно, кого куда какой товарняк унес, останется для многих тайной навсегда, и об этом Аугуст горевал уже тогда, в поезде, в вагоне, куда его второпях затолкали вместе с теми, которые стояли рядом: слава Богу еще, что он попал со своими родными, а не с чужими семьями. В товарных вагонах-пульманах было темно и грязно, но мрак еще того беспросветней застыл в душах людей. Состав долго дергался и грохотал, формируясь, и наконец отправился, мотаясь на стрелках. Все подавлено молчали. И вдруг отчаянный голос в конце вагона крикнул: «Это ненадолго, товарищи! Есть сведения: Гитлера скоро разобьют, и мы вернемся». Судя по голосу, это был немецкий коммунист Фердинанд Балль из соседнего села, который затесался в их вагон случайно, отбитый от семьи в толчее погрузки (вскоре ему удастся добраться до своих: к счастью, семья его ехала в том же составе и в ту же сторону; характерно, что перебраться к семье Баллю помог вовсе не партбилет, который у него тут же и отобрали, а копченый гусь, которого Фердинанд нес на себе, в вещевом мешке, и говорил, что это — на самый черный день. Получилось, что самый черный день настал для него уже в самом начале пути, потому что переселение к семье стоило ему драгоценного гуся. Фердинанд с гусем исчез, и больше Аугуст никогда в жизни про него не слышал). Этот Фердинанд хотя и ушел из их вагона, но успел зажечь своими речами слабый огонек надежды в сердцах несчастных людей: да, конечно — иначе и быть не может: советская армия должна разбить фашистов очень скоро, Сталин во всем разберется и накажет тех, кто сообщил ему провокационные сведения о предательстве поволжских немцев: «Ведь мы — совсем другие немцы, мы свои немцы, родные немцы, мы немцы, которые есть неотъемлемая часть российского народа!» — говорили немцы между собой, — конечно, это была чья-то подлая провокация, и мы скоро вернемся!»

Возможно, то был единственный случай, когда российские немцы испытывали благодарность к коммунисту, подарившему им светлячок надежды. Хотя бы ненадолго.

А набитые под завязку составы с людьми ползли и ползли из Поволжья, отправляясь с разных путей день и ночь, день и ночь, день и ночь. Много позже узнает Аугуст из книг и журналов: триста эшелонов по пятьдесят вагонов, по сорок «гитлеровских пособников» всех возрастов в каждом были отправлены на

три стороны света в течение сентября из бывшей немреспублики Поволжья, упраздненной 7-го сентября 1941 года. К двадцать первому сентября республика немцев Поволжья была пуста. В буквальном смысле слова пуста. Республика-призрак. То есть — уже не республика больше. Просто — призрак. И Лаврентий Павлович Берия отчитался перед Хозяином о проделанной работе досрочно.

Когда-нибудь в будущем Аугуст Бауэр станет собирать документы и анализировать произошедшее с российскими немцами, с их автономной советской республикой. Много интересного откроется ему. Например, очевидным станет «глубокий» замысел авторов депортации, намеревавшихся убить сразу двух зайцев: по их идее, работающие немцы будут все так же бесплатно кормить страну из степей Казахстана, выворачиваясь при этом наизнанку, чтобы доказать, что они — не враги. И пусть только попробуют не вывернуться наизнанку! Между тем их пустующие дома займут эвакуированные из Москвы и Ленинграда, которые придут на все готовое, так что государству не надо будет думать об их обустройстве; эвакуированные, таким образом, и сами выживут под надежными крышами да при горячих печах, и хозяйству немецкому не дадут развалиться, а дальше — видно будет.

Но дальше все получилось не так: расселенные, как попало, по степям, лесам и пустыням, российские немцы просто прекратили свое существование как единый народ, и вместо того, чтобы кормить страну, депортированные сами жили в голодных на хлебниках у тех, к кому их подселили: казахов, узбеков, таджиков и русских, вызывая в тех и сочувствие, и ненависть одновременно. Эвакуированные же в поволжские степи горожане ни бельмеса не соображающие в сельском хозяйстве, и следовавшие за ними волны халявных вселенцев в чужие дома съели все, что еще можно было есть, спалили все, что еще годилось в печку, разбили все, что еще можно было разбить, так что через десяток лет ни одного признака не оставалось, по которому можно было бы опознать в этой некогда процветающей поволжской земле бывшую кормилицу России — немецкую поволжскую республику «русских немцев», или «поволжских немцев» — как они себя называли. Из гениальной идеи получился пшик, годящийся разве что для назидания потомкам. Но вот беда: потомки не любят назиданий и не читают их...

Много мыслей — умных и не очень — прошло через голову Аугуста Бауэра с тех пор. Удивительно, но факт: почти всегда ход мыслей делал разворот и упирался в Сталина — как и у всего остального советского народа, надо полагать, что и не было странным: Сталин затмевал все, включая солнце, его было не обойти и не объехать. Великий Сталин лучше всех разбирался хоть в строении Вселенной, хоть в сортах кильки в море за мысом Канин нос...

Мысли те годились, разумеется, лишь для глубоко личного употребления: делиться ими с посторонними было смертельно опасно. Ибо в сознании Аугуста понятия «Сталин» и «преступление» были одного порядка. При этом Аугуст, как человек достаточно грамотный понимал, что объективно Сталин своими репрессиями, бросив в топку миллионы людей ради индустриализации и вооружения страны, спас советское государство от неминуемого пожирания ее фашистской Германией, за которой куда более хищной тенью уже тогда маячили Соединенные Штаты Америки: главный игрок предстоящего глобального передела мира. Однако, личная обида тех, кого заставили заплатить за это собственными жизнями и поломанными судьбами, да еще и заклеившими при этом убийственным штампом «предатель» и «враг народа» — ослепляющая, затмевающая разум обида и ненависть этих людей все равно оставалась выше, и глубже, и шире всех соображений объективности и исторической целесообразности. Сталин был и навсегда останется врагом российских немцев, и в той мере, в какой Сталин олицетворял собой страну, он делал и ее, страну, врагом российских немцев, которые в результате перестали ощущать разницу между понятиями «государство» и «Отечество». Возможно, в этом и состояла главная трагедия российских немцев, в результате которой они утратили свой этнос, покинув Советский Союз и растворившись в другом, гораздо более мощном, им родственном германском этносе. Россия потеряла в лице российских немцев эталон трудолюбия и самую законопослушную, всегда преданную властям и порядку часть своего народа.

Но тогда, лежа в сырой норе казахской степи, Аугуста терзали горькие мысли более примитивного, приземленного уровня: как пережить эту зиму? И что будет с ними дальше?

.....

Еда у людей стала кончаться в середине ноября. В декабре начался голод. При этом мало у кого осталось и топливо. А зима только-только еще подступала, вся она была еще впереди. Закончился харч и у Петки с Клеппом, но кормить их было нечем, и отобрать что-нибудь съедобное у депортированных стало невозможно: у всех было либо совсем пусто, либо последние припасы прятались на теле. Несколько человек — Альфред Мюллер, два брата Ниренштайн и сумасшедшая Ида Гайзель дезертировали как-то рано утром в сторону Семипалатинска: в этих семьях закончилось все — хоть самих себя ешь. Больше они не вернулись. Позже казахи наши три замороженных трупа, погрызенных волками. Куда девалась Ида — неизвестно. У кого-то из жителей нор появилась навязчивая идея сожрать Клеппа и Петку, как официальных представителей власти, которая обязана заботиться о своих подопечных до самого конца: вот, дескать, и пусть послужат до конца. Другим эта идея показалась привлекательной.

Депортированные, таким образом, начали коллективно «сходить с катушек». Но ведь идеи — они, как семечки от кактуса: лежат и ждут для себя условий...

Не дождавшись пуска своих охранников на корм, двое сельчан умерли от голода: заснули и не проснулись. В них полностью исчерпались все энергетические ресурсы. Депортированные закопали своих покойников поглубже в снег, не проявляя особых эмоций, на которые ни у кого уже не было сил. Лежа на холодных, непрогревающихся подстилках, норушники равнодушно рассуждали на тему, кто может стать следующим и у кого больше шансов выжить в условиях голода: у детей или у взрослых. Однако следующим стал пятнадцатилетний Курт Кляйнерт, и спор об оптимальном возрасте для смерти остался открытым. Курта зарыли в снег рядом с двумя позавчерашними (или вчерашними?). Общее число жертв депортации из высаженного в степь вагона возросло, таким образом, включая сюда отца Аугуста — Карла Бауэра и умерших ранее, в первые дни, бабушку и ребенка — до десяти душ, плюс без вести пропавший по дороге Вальтер: итого одиннадцать человек. Двадцать пять процентов, сказал бы председатель колхоза Вилли Киндер, если бы был сейчас с ними.

Неожиданным образом мертвецы выручили живых. Однажды ночью Клепп услышал возню и визг снаружи, выполз из своей «штабной» норы, и увидел под яркой луной, как волки раскапывают мертвецов. Он открыл стрельбу, Петка присоединился к нему вторым стволом, и воинам удалось завалять двух тощих волков. Их тут же начали свежевать и жарить, и к утру уже съели и обсосали кости. Невероятно, но факт: охранники безропотно делились с врагами народа добытым мясом. То ли рабоче-крестьянская солидарность с «голодными и вшивыми» в них шевельнулась, то ли заподозрили они, что следующими после волков быть им самим. Охранники отлично видели, что у них в подотчете состоят еще тридцать душ, потерявших образ и подобие советского человека до такой степени, что перестали уважать винтовку и клацающий затвор, мало того — их не пугали больше даже такие магические слова как «энкавэдэ» или «растрел»...

На следующий день Клепп и Петка исчезли. Утром выползли из нор, а охраны нет, штабная нора пуста, и две пары следов ведут к горизонту. Жители нор решили: сбежали, сволочи. Но норяне ошиблись: просто под влиянием крайних лишений они утратили к тому времени доверие к советской власти. Они забыли, что советская власть никогда не оставляет своих людей в беде. Впоследствии многим немцам было стыдно за свое неверие, потому что охранники, оказывается, отправились за подмогой.

Доблестные войны НКВД на самом деле вовсе не бросили свой поднадзорный, подземный народ на произвол судьбы, но проспорив между собою долго и яростно на тему, кому идти за помощью, порешили в конце концов идти вместе, опасаясь сви-

репой мести волков. И они ушли, и дошли до города, и даже вернулись через две недели с продуктами питания, но только никого уже не застали в норах. Ни-ко-го! Даже трупов не было под снегом! Только слегка придавленный широким полозом волокуши и припорошенный снегом тракторный след вел сквозь сугробы вдоль железной дороги на юг. Клепп и Петка пошли по этому следу и через день, уже к вечеру, обмороженный Клепп притащил на себе полуживого Петку в казахское селение Сыкбулак. Тут тракторный след обрывался. Двадцать шесть штук уцелевших немцев были здесь, в селе, кое-как рассованные по частным домам. Теперь наступил черед спасать уже обмороженных Петку с Клеппом.

В полной темноте два пожилых казаха разложили петарды на рельсах, и товарняк, летящий в полночь со стороны Семипалатинска, матерясь на шесть голосов — трех солдат сопровождения, машиниста и двух кочегаров — остановился, осыпая степь злыми зелеными искрами из-под колес, и красными — из перегретой топки. Клеппа и Петку сунули в ближайший вагон-теплушку, в котором ехали в бессрочную ссылку несколько отчаянных бессарабских румын, черными пантерами мечущихся от стены к стене пульмана. За короткий путь до станции Чарск они не успели разглядеть в потемках, кого это к ним подложили, и благодаря этому обстоятельству героические бойцы НКВД Клепп и Петка добрались до больницы живыми. Там, по слухам, Петке отрезали обе ноги по колено, и он получил медаль за храбрость. А коммунист Клепп получил даже целый орден за то, что спас Петку. Оба они навсегда выпали из жизни Аугуста. Каждый из них двинулся дальше по собственной спирали судьбы в сторону неизбежного конца, и, наверняка, они давно уже добрались до цели...

Депортированные отогрелись и отошли от смерти в селе Сыкбулак, но содержать их здесь на халяву никто не собирався. Местная власть забила тревогу, и вот прямо из белого неба возникли в селе энкаведэшники в твердых погонах, сделали опись и подробно допросили каждого из спасенных, включая повзрослевшего на полжизни четырехлетнего Якоба, отвечавшего, правда, на все вопросы офицеров только одним, совершенно непонятным криком: «Sükki pilat!». Офицеры, в конце концов, махнули рукой и оставили малыша в покое: все равно ни один из них, кроме «Гитлер капут» ни бельмеса не петрил по-немецки. Самодельные переводчики тоже неуверенно пожимали плечами: диалект, наверно... И всем было невдомек, что маленький Якоб просто начал уже понемножку осваивать русский язык из наиболее употребимого вокруг лексикона.

Лишь под Новый, 1942 год, в канун перехода Красной армии в решительное контрнаступление под Москвой, потерявших в степи депортированных немцев из «лишнего вагона» расселили, наконец, более или менее в соответствии с первоначальным

гениальным замыслом Великого Вождя: по разнарядке, с подселением в семьи, еще осенью предупрежденные о предстоящем уплотнении врагами народа.

Тот факт, что поделят именно врагов народа, никого из уплотняемых хозяев особо не волновал. Подумаешь — враги! Это категория текущая-летучая, как настроение властей: сегодня враг — ты, а завтра — я. Или наоборот. Хозяев больше интересовало, что все эти враги жрать будут. Кормить их никто не собирался. Именно эта проблема составляла центр всех психологических напряжений. Разумеется, открыто разнарядкам никто не сопротивлялся, протесты могли запросто закончиться себе дороже: враги народа были у властей в большом спросе в те времена, ибо на лесоповалах, рудниках и шахтах отчаянно требовались рабочие руки: запасы людских ресурсов тридцать первого — тридцать седьмого годов давно истощились. Так что протест состоял лишь в том, что приезжих встречали хмуро, без цветов. А в циркуляре о переселенцах и не было прописано, что их требуется привечать хлебом-солью и с оркестром. Но бывали и положительные исключения, а именно там, где депортированные прибывали на место назначения строго по графику. Изгнанники привозили с собой продукты питания, и зачастую хозяева жилищ, к которым власти определяли на постой врагов народа, проникались теплыми чувствами к своим постояльцам не за их несчастную судьбу отверженных и гонимых, но исключительно за запахи, исходящие от их кастрюль в первое время после прибытия. С большим наслаждением они улавливали трепетными ноздрями давно забытые, добрые запахи пшенной каши на топленом салце. Это чудо природы — топленое сало — немцы называли своим, волшебным словом «шмальц». О, эти бездомные, бесправные немцы — они понимали толк во вкусных словах и «шмальц» было одним из таких неземных слов — нежным, ласковым, сыто шкворчащим на сковородке, шепчущим-нашептывающим о сказочной, счастливой жизни в сказочной, счастливой стране...

С пассажирами «лишнего вагона» все обошлось более или менее благополучно. Коров переселенцам и прочих компетенций на основании их «Kwitanzen», конечно же, никто выдавать не собирался, но к довольствию депортированных кое-как приставили: все они были закреплены за колхозами, артелями и предприятиями, ходили на работу и зарабатывали кто деньги, а кто и «палочки», по которым кладовщики выдавали потом муку, постное масло, крупу или еще чего-нибудь, например, табак или пустые дубовые бочонки, которые можно было обменять на что-нибудь съедобное. Получателям денег было хуже: деньги еще требовалось ухитриться обменять на продукты питания, а кому они нужны — несъедобные те бумажки? Поисками еды были озабочены все: это была главная проблема жизни. И все радовались, когда удавалось чего-нибудь погрызть. Как радовался, например,

маленький Якоб, когда грыз ствол от яблоньки, заметив на нем следы от заячьих зубов и вполне доверяя заячьему вкусу. Вот только заяц благополучно убежал в степь, а Якоб был отловлен хозяином и больно бит.

С фактом уплотнения хозяева, таким образом, еще кое-как мирились — благодаря продовольственным пайкам переселенцев. Худо было депортированным, если в дом приходила похоронка. Тогда, под поминальную самогонку вспоминалось вдруг иногда несчастным хозяевам, что за стенкой или за занавеской у них живут «оккупанты». Для многих депортированных то были трудные дни — с риском для жизни. Так, например, Фритца Гаттлера, рассказывали очевидцы, две женщины под горячую руку вообще закололи навозными вилами только за имя его и фамилию. С Гаттлером лично Аугуст знаком не был: его родню, жившую за три деревни от Елшанки, знала мать Аугуста. С этой родней Аугуст познакомился на похоронах, потому что его позвали долбить могилу для Фритца: казахи копать могилу для врага народа на всякий случай отказались — «чтобы не прописали нам политические последствия» — как они объяснили.

Впрочем, такого рода трагедии происходили редко. Слава Богу, похоронки в эти широты залетали нечасто: казахов призывали на фронт относительно мало; у них у всех подряд обнаруживалось плоскостопие, это раз, и в пехоту они поэтому не годились; времена же Буденного были позади, да и хлестать казахи умели не так шашкой, как кнутом, а Гитлер кнута не боялся: Гитлер боялся «Катюш», прожекторов и танков «Т-34» — всего того, чем казахи не владели: все-таки они выросли чуть-чуть в стороне от столбовых дорог цивилизации. Это было два. Поэтому пособничество гитлеровским захватчикам казахи припоминали немецким переселенцам относительно редко. Тем более что немцы, верные своим аккуратным генам, традициям и воспитанию, не успев оклематься от голодных обмороков, сразу же хватались за работу — любую: копать, пилить, таскать, грузить, пахать, молотить, ремонтировать, строить и так далее. Причем делали все это хорошо. Русское национальное понятие «тип-ляп» они усваивали с большим трудом. К тому же все немецкие женщины умели шить, вышивать всякое там «мулине»-«ришелье», вязать крючком, спицами, челноком; плести брюссельские скатерти и прясть, а также вязать толстые, теплые носки из собачьей, верблюжьей и козьей шерсти. Все это доставалось — большей частью в уплату за кров и в порядке компенсации за тесноту — хозяевам. Впрочем, на тесноту жаловаться должны были, скорей, коровы, кони и свиньи, у которых под теплым бочком спали многие переселенцы. Хотя, возможно, скот от этого немецкого подселения только выиграл: он был теперь всегда до блеска вычищен и ухожен. Некоторые свиньи не могли взять в толк, почему они стали вдруг такими красивыми, с бантиками на хвосте: работа юного «тиму-

ровца» Якоба и его новых друзей и подружек, в том числе казахских. Но недаром животных называют «бессловесной скотиной»: «спасибо» переселенцы от нее не слышали. Что касается хозяев скотины, то те время от времени предупреждали сарайных подселенцев: «Сымгытрыты ны сыжырыты! Сыкындалым будым!». Был у казахов свой старик-переводчик по кличке Шубултан: когда-то сумасшедший ветер молодости занес его на первую мировую войну и там, в германском плену, он выучил несколько основных немецких фраз. Теперь, по просьбе соплеменников он ходил от сарая к сараю и кричал: «Доч! Никс фрессен!», «Ку никс фрессен, перд никс фрессен, баран никс фрессен!». И оттуда ему вежливо отвечали: «Ja, ja, Genosse Schubultan, schon verstanden: nichts fressen — nur riechen!»¹.

«Рыхен — кырачо!» — соглашался Шубултан: мол, нюхать можете сколько угодно.

И все равно это был прогресс. Потому что жизнь отошла от нулевой точки и балансировала уже на положительной стороне шкалы выживания. С постоянной тенденцией к улучшению. После нескольких последовательных перемещений Аугуст и остаток его семьи вообще оказались в приличных условиях: мать с сестрой остались в Сыкбулаке, и у них была своя боковая комнатка в отдельном домике, где они мыли и чесали шерсть для хозяйки. Тетка Катарина же переселилась к пожилому, одинокому поляку Адаму Сикорскому, пригнанному с западной границы СССР еще в 1939 году и успевшему уже обжиться в степи и даже обзавестись кое-каким хозяйством. Поскольку поляк и сам был врагом народа, то никакого специального протеста по отношению к врагам-немцам он не испытывал, а наоборот, при встрече с Катариной у сельского магазина приложил однажды руку к сердцу и предложил ей дрожащим голосом переехать к нему в избушку на постоянное место жительства. Катарина, не избалованная за жизнь нежными взглядами и дрожащими голосами поклонников, посомневалась немножко, пока стояла в очереди, но когда вышла наружу и увидела, что Сикорский все еще ждет ее, то и согласилась без дальнейших колебаний. У нее в голове не укладывалось, что она, старуха, еще кому-то может быть нужна. Ведь ей было уже целых тридцать шесть лет!..

Свадьбу «молодые» играть не стали, расписываться — тоже: два сорта врагов народа в одной упаковке — это могло выглядеть как заговор со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Свадьбы не было, но пир Адам закатил грандиозный: была самогонка, вареная картошка и квашеная капуста. Больше ничего. Зато много. Аугуст упился с двух стаканов, но еще помнил,

¹ Понятно, понятно, товарищ Шубултан: жрать нельзя — только нюхать.

что доедал третью тарелку картошки, когда вдруг отрубился. Он вел себя, как свинья, конечно, но ничего не мог с собой поделать: он очень хотел есть и никак не мог наесться досыта. Он говорил Сикорскому, что очень любит поляков, и тот ему, кажется, верил, все время подбивал крепкой самогонки и говорил, что все будет хорошо и что Аугуст проживет долго. Уж очень это был добрый поляк — тот Адам Сикорский: Аугуст с тех пор и не встречал таких больше. После войны Адам с Катариной — был слух — подались в Среднюю Азию, и там их след навсегда потерялся, к большому сожалению. Не только Катарина, многие, очень многие — почти все родственники и знакомые — исчезли из жизни Аугуста навсегда после того, как Бауэры покинули волжские берега...

Сам Аугуст поселился в рабочем бараке в соседнем большом селе Чарск, при железнодорожной станции, всего на отдалении десяти километров от матери с сестрой. Здесь, при грузовой станции его поставили работать грузчиком; он таскал мешки и бревна, колол и греб уголь, иногда рабочие чего-то строили, копали, пилили. Аугуст стремительно осваивал русский язык — возможно, потому, что слов требовалось не так много: «да», «нет» и десятка два матерных. Этого запаса с лихвой хватало как на производственный процесс, так и на обсуждение положения дел на фронте — с неизбежным выводом о неотвратимости победы советских войск в самое ближайшее время.

Работали без выходных, но иногда заканчивали пораньше — часа в четыре дня, или под утро: смотря по смене, тогда Аугуст успевал сбежать к своим, проведать, живы ли еще мать с сестрой, и отнести им гостинца: сушеной морковки, мешок угля, пачку денег и даже однажды две банки американской тушенки. Ведь Аугусту теперь платили деньги — это раз, и хотя купить на них было нечего, однако хозяева брали эти деньги охотно. Кое-что на них они приобретали у спекулянтов, рискуя шкуркой, кое-что — у вновь прибывающих, еще неопытных ссыльных, доверяющих по доверенной привычке государственному дензнакам. Помимо этого, был у грузчиков еще один источник обогащения: воровство. Аугуст поневоле обучился этому ремеслу, протестуя всей своей натурой, но иначе было никак: его бы зарезали, если бы он отказался участвовать в дележе или попытался воспрепятствовать воровству. Рисковал он, разумеется, чудовищно: удержи его с той же тушенкой из ящика, сброшенного из вагона на ходу — расстреляли бы на месте без суда и следствия, как мародера. Каждый в бригаде это понимал, поэтому дисциплина труда была здесь железная. Грузчики постоянно перевыполняли нормы, и им выдавали почетные грамоты, отпечатанные на серой обойной бумаге. Однажды в сброшенном наугад ящике обнаружили ордена Боевого красного знамени для фронта, и эта

находка так напугала грузчиков, что они закопали ящик в степи и долго потом не воровали, затаившись в тревожном ожидании следствия и покаявшись друг другу, что никогда не притронутся к зарытому ящику и вообще забудут о его существовании.

Много лет спустя Аугуст случайно встретит на базаре в Павлодаре одного из бывших членов бригады, который торговал мясом кроликов. У него был орден на груди. «Сволочь ты, однако!» — сказал ему Аугуст. Старый коллега, как бы извиняясь, пояснит, что с орденом легче получить на рынке место получше. «А где остальные?» — спросил его Аугуст. «Почти все уже померли, иные — в тюрьме сидят», — неправильно понял его вопрос бывший коллега и предложил: «Хочешь тоже? Мы с Юрцом поделили, у меня их много. Чего ты? Ведь то были героические времена, правильно? Мы пахали, рискуя собственными жизнями, как на фронте? Пахали. Помнишь еще ящики с икрой? Для фронтового начальства. Ага! Это когда детишки в тылу с голодухи пухли. А? Было? А ты говоришь — «орден». Имей в виду: все говно, чего жрать нельзя. А что съел — то обратно в говно превращается. Ну, чё: дать орден-то? Купи кролика...» Но Аугуст лишь махнул рукой и ушел подбрूपздорову, стыдясь собственных воспоминаний.

Но то будет уже совсем другие времена, когда народ привыкнет относиться к орденам с усмешкой и мало кто будет воспринимать их как святыню. Разве что звезды Героя Советского Союза или Героя Соцтруда будут еще котироваться: за сопутствующие блага типа бесплатного проезда в городском автобусе и льготную очередь на предоставление жилья. И еще за эстетику этих медалей: уж очень хорошо они смотрелись на портретах вождей: ярким золотом по черному полю... Лучшие люди страны получат по две, по три звезды Героя, а иные и в больших количествах. Правда, к тому времени уже и над звездами Героев народ начнет посмеиваться, пожимая плечами. Но то будет нескоро.

Трудно жилось Аугусту в Чарске, но он был молод, и каждую кислородинку употреблял ради будущего, а память старая отключать как фактор, мешающий жить, парализующий волю. Он научился жить без мыслей. Или только с минимальными мыслями. Потому что мысли будили отчаянье. А жить с отчаяньем в сердце было тяжело до невозможности. Но жить было нужно: ради будущего. Аугуст не был пессимистом по натуре своей и верил поэтому, что когда закончится война, то они вернуться в свой дом на Волге: мать, сестра, Вальтер, тетка Катарина — все, кто будут живы к тому времени. Поэтому Аугусту обязательно требовалось выжить. А значит, нельзя было думать. Про Вальтера и про отца — в первую оче-

редь. И про дом, и про сталинский указ, и про замерзших в степи. Аугуст бежал к своим или возвращался от них и невнятно бубнил себе под нос: «Да, тяжело. Очень тяжело. А кому живется легко во время войны? Но ведь все постепенно налаживается: наши остановили немцев... тьфу ты, черт, фашистов под Москвой, и даже погнали их уже. Скоро их попрут и попрут без оглядки: глядишь, к весне война и закончится. Все депортированные — уже под крышами, в тепле. Разобьют Гитлера — разберутся и с нами. Указ будет отменен. Все будет хорошо»...

— Vater unser... все будет хорошо, — бормотал на бегу Аугуст, мешая немецкий «Отче наш» с предсказанием Адама Сикорского и с собственной мольбой-надеждой, произносимой теперь уже все чаще на русском языке.

Аугуст вообще становился постепенно русским человеком — не в смысле национальности, а в смысле ощущения причастности к единой беде: много их было в Казахстане, несчастных депортированных немцев Поволжья, но и русских со всей страны было тут не меньше. И не только русских, но и корейцев, греков, венгров, финнов, итальянцев, румын: воистину, огромен и многонационален был народ, объявленный Иосифом Сталиным своим врагом. Не этим ли самым заложил великий Сталин основы истинного интернационализма, при котором бесправные немцы, корейцы, греки, чеченцы, венгры, финны, итальянцы и румыны стали братьями одной, единой беды. Да, это было то самое братство, в котором чеченец без всяких плакатов и призывов стал братом и немцу, и крымскому татарину, и белорусскому поляку.

Когда-нибудь закончится война. Преступления сталинского режима начнут порастать быльем-лебедой, люди по старой русской поговорке «кто старое помянет...» забудут все плохое, а еще потому забудут, что страшное помнить никому не охота. Аугуст тоже захочет все позабыть, но не сможет никогда. Например, не сможет забыть он, как на его народ свалилась трудармия: красивое слово, за которым скрывались все те же лагеря ГУЛАГа: рудники, шахты и лесоповалы, забравшие сотни тысяч жизней российского, немецкого народа. Трудармия стала отдельным миром, отдельной жизнью, отдельной эпохой.

Как забыть, например, такой эпизод из эпохи лесоповального рабства Аугуста: в марте 1943 года их, трудармейцев, по тревоге выстроили однажды посреди ночи на плацу. Долго стояли зеки на ночном ветру, по нарастающей ожидая самого худшего. Затем пополз слух: сейчас будут зачитывать личную телеграмму от Иосифа Виссарионовича Сталина. «Какую еще телеграмму? — тревожно переглядывались зеки, —

всех в расход, что ли?». Но дело оказалось в другом: целый год руководство лагеря не платило трудармейцам формально положенных им денег, отказываясь от них в пользу оборонной промышленности, с тем, чтобы отрапортовать в Москву, Сталину о собранных лагерем средствах для фронта. Это было очень важно для начальства лагерей: лагеря соревновались между собой, кто больше соберет денег. Отчеты о собранных суммах начальники лагерей регулярно телеграфировали молниями в Москву, Берии. Зеков все это интересовало мало: они боролись за каждый конкретный день жизни, их волновали пайки, портянки и делянки. Ценность для них представляли не деньги, но размеры паяк и каждая минута спасительного сна, восстанавливающего силы. И вот поступил ответ из Москвы, и на плацу построили, украв драгоценный сон, едва живых от изнурения трудармейцев. «Может, на фронт пошлют?» — с надеждой спрашивали некоторые в шеренге. «Как же, жди. Всех — в ров», — говорили другие, поопытней.

Между тем начальник лагеря взобрался на помост, освещенный прожекторами с двух сторон, и завизжал простуженным фальцетом:

— Граждане трудармейцы! Для нас всех произошло великое событие для нашего лагеря исторического значения. Этот миг вы все запомните надолго, до конца ваших жизней... «Все! Конец жизней! В ров!» — простонал сосед Аугуста...

— К нам всем и к вам в том числе, граждане трудармейцы, с личной телеграммой обращается товарищ Сталин! — продолжал начальник и на слове «Сталин» голос его от избытка чувств дал «петуха». — Наш великий вождь — Иосиф Виссарионович Сталин! — уточнил он. — Внимание! Я зачитываю:

*«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, собравшим 353783 рубля на строительство танков и 1 миллион 820 тыс. рублей на строительство эскадрильи самолетов **мой братский привет!** Иосиф Сталин».*

Повисла мертвая тишина. И в этой тишине Аугуст, не совладав с разорвавшейся внутри него бомбой, истошно закричал по-русски:

— Засунь себе в жопу твой братский привет, изверг, — (он уже очень прилично говорил по-русски к тому времени).

После этого крика Аугуста сковало параличем: все, теперь конец...

Но никто не отреагировал, никто даже головы не повернул в его сторону. Все замерли.

— Ура! — скомандовал начальник лагеря в ответ на вопль Аугуста.

— Ура, — согласились ошарашенные зеки несколько вразнобой.

— Ура! — грозно завопил начальник.

— Ура! Ура! Ура! — теперь уже дружно взревели колонны.

Только теперь сообразил Аугуст, что смерть прошла мимо: он кричал сердцем, а не вслух. То был всего лишь внутренний крик его души! Он спасен! От радости, что все обошлось, Аугуст заплакал в своей шеренге, растирая слезы кулаками и содрогаясь всем телом. Глядя на него, заплакали рядом с ним и другие зеки. Начальство и охрана восприняли этот плач почти с умилением: как выражение глубочайшей признательности немцев-трудармейцев за слова, которыми удостоил их Великий Отец всех народов: лучший друг всех лесорубов, рудокопов, шпалоукладчиков и всех-всех-всех остальных врагов народа без исключения.



Иван БЕР

/ *Бонн* /

Родился в 1962 году на Алтае, в селе Малиновое озеро. Детство прошло в Киргизии. Последние годы перед переездом в 1989 году в Германию жил в Фергане. Автор сборников стихов на русском и немецком языках.

* * *

А всё, что сказать позабыл сгоряча,
уронит в молчание осень,
как плащ ниспадает с обрыва плеча,
как лодку течение сносит.

Как парк опустел, после лета опять,
как птицы дорогу находят.
Как мы никогда не разучимся ждать
того, кто зачем-то уходит.

И в этом молчанье, где слово есть грех,
где вслух объяснить — ошибиться,
я всё до конца принимаю, и всех:
картины, и звуки, и лица.

Я слово опять позабыть захочу,
чтоб мысли вернуть её песню.
А осень дыханьем задует свечу
заката за кромкою леса.

* * *

Он в гости ко мне зашел
не затем, чтобы пить.
Он в гости ко мне зашел
затем, чтобы петь.

Я мог бы ему,
 конечно, вина налить.
 Он мог бы и до утра
 со мной просидеть.

Мы начали не с того,
 что могло бы быть.
 Мы было хотели начать,
 попытались, но...,
 Видно прошла незаметно младая прыть
 Тихо, спокойно пьем чай
 и глядим в окно.

* * *

Этот сад при дворе — по утрам негромкий,
 Где на мокрой скамейке простудишь бронхи,
 если сядешь и станешь писать балладу,
 не спросив вначале: кому это надо?

Он всегда здесь был — до меня и после —
 он гостей принимал, провожал, и гости
 всякий раз, уходя, уносили с собою
 небольшой кусочек его покоя.

Мы с тобой здесь тоже не раз бродили,
 размышляли о жизни, о Боге или
 просто молча воздух его вдыхали,
 сбросив груз с души и с ног сандалии.

* * *

Мазки перистых облаков,
 нежно подмешенные к синеве майского неба,
 завывают планку поиска подходящего слова настолько,
 что кружится голова.
 От высоты захватывает дыхание и кажется:
 удержи это все взглядом, и сам потонешь
 в рассекающей вечность перспективе.
 Ты садишься на иглу восторга, как наркоман,
 вводишь дозу тоски в свою душу
 и начинаешь летать.
 Шум улицы,
 как убегающая рябь лагуны
 не преодолевает пространство,
 а только заполняет его до горизонта слуха.
 Глаз Бога фотографирует день,
 ослепив вспышкой солнца колокольню старой церкви.

По улице бродят порядочные люди.
 Им нет дела до всего, что выше уровня их взгляда.
 И от этого они кажутся маленькими.
 Ты спускаешься на землю, и встаешь в очередь,
 чтобы получить зарплату,
 купить книгу,
 свежие булочки и носки.

А, когда вечер начнет проявлять фотографию Бога,
 Чтобы вложить негатив ночи в альбом Вселенной,
 Ты вдруг почувствуешь, как у тебя на душе станет светло и тихо.
 Оттого,
 что растворились и исчезли облака,
 оттого,
 что опустела улица,
 от кратковременности красоты
 и вечности души и тела.

ОСЛИНАЯ БАЛЛАДА

Солнце в затылок толкает на тень наступить.
 Что мне мираж, я ослеп от желания цели.
 Были другие, они от жары не потели,
 Дал дромадером Всевышний не каждому быть.

Место мое в караване, я знаю, в хвосте.
 Этот погонщик сказал бы, наверное: «в заде».
 Вон он опять свою нудную песню заладил.
 Дал же Аллах эти уши огромные мне.

Благо на этот раз выюк не огромный, как те,
 Что Моисей, из Египта смываясь, навьючил.
 Жить захотелось, поэтому я не канючил,
 И до Синайской горы, стиснув зубы, пыхтел.

Ну а потом запустили козла в огород,
 Шеф на горе торговался о будущем с Йахве.
 Брат его слаб оказался и дал чуток маху,
 Трудно рабу превратиться в свободный народ.

Там где теленку поклон, места нет для осла,
 и я за длинные уши был выгнан из стана.
 Шеф-то вернулся, и двинулся табор по плану,
 Ну а меня моя участь в Багдад занесла.

Для Магомета попасть в обетованный рай
 Мог только смелый джигит на коне и с Кораном.

Я оказался и здесь длинноухий вне стана.
Нанялся сам в караван и подался в Китай.

Сват мой, с которым я встретился раз в Бухаре,
Мне рассказал о делах прошлых лет в Палестине,
Как он с царём всех царей в Иа-ерусалиме
Вместе с двенадцатью вышел навстречу толпе.

Был ли ослу по хребту столь сомнительный трон?
Трудно сказать, ведь толпа остаётся толпою.
Дня не прошло, как кресты вознеслись над горою,
а безработный ослёнок побрёл в Вавилон.

Нет, я в Европу идти ни за что не хочу,
Там обижают меня, моим именем клича
Глупых людей, для осла это ох, неприлично.
Север, конечно же, тоже мне не по плечу.

Там у оленей рогам, а не уху торчать,
Ухо не рог, отморозить его не задача.
Нет, не мечтай, коль в пустыни родился ты, значит,
Где бы ты ни был, вернешься в пустыню опять.

Только порой я и-ачу с тоски на луну.
Ночью опять бестолковая всячина снится,
Будто у Зевса сломалась его колесница.
И предлагают пойти мне на службу к нему.

Я отмахнусь своим ухом от мысли шальной.
Не соблазняй меня Будда путем Че Гевары.
Я не Мандела, к тому же больной я и старый.
А караван — он всегда возвратится домой.

* * *

Последний стих пусть будет песней:
Без слов, без рифмы и без звука.
Когда на самом этом месте
сольются встреча и разлука.
Когда превыше всех законов,
когда превыше всей морали
жизнь развернёт свои знамёна
и разобьются все скрижали.
Освобождая дух и душу,
вернётся плоть к её началу.
И только памятью о лучшем
заплещут волны у причала.



* * *

Был зачат летним днём я в деревне сибирской глухой.
Моя мать выносила меня под упрёки свекрови.
Я родиться боялся, но страх этот, двигая мной,
не сумел утопить в море крика и пота и крови.

А в озёрах малиновых март отражался как раз.
И в проталине первый ручей набирал свою силу.
Кто-то жизнь мне вдохнул и содрал пелену с моих глаз,
и впервые материи горькую долю вкусил я.

И учился я жить у алтайских лесов, а потом
у Тянь-Шаня подслушивал песни, что горы мне пели.
И унёс их с собой, покидая родительский дом,
покидая страну, выбирая дорогу без цели.

И летал в небесах: думал — там должен жить тайный Бог.
Но на землю спускался, когда обнаруживал вдруг,
что дороги всегда измеряются с помощью ног,
а реальные вещи сдвигаются с помощью рук.

Семя жизни моей прорастало в сибирских лесах.
И носили его азиатские, горные тропы.
А теперь я живу на далёких, чужих берегах.
На окраине старой провинции Рима, в Европе.

Анатолий ШТАЙГЕР

/ Тамбург /



Родился в 1941 году под Одессой, вырос в Новосибирской области. Работал в леспромхозах, на стройках и на металлургических комбинатах. Окончил школу рабочей молодежи (1959), затем факультет журналистики Уральского госуниверситета им. А.М. Горького (1967). Работал в различных газетах, а также в ТАСС. С 1990 г. живет в Германии.

Несколько месяцев назад мне позвонили из Душанбе и попросили написать что-нибудь к юбилею таджикской республиканской газеты «Народная газета», в которой я некогда работал («Коммунист Таджикистана»). Начал вспоминать и навспоминалось... Написал два очерка — «Как молоды мы были!.. (Как я не доехал до Самарканда)» и «Задумал я побег». Как легко тогда странствовало без денег и рекомендаций, как легко поначалу (сейчас так кажется) жилось!

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!

(Как я не доехал до Самарканда)

1

Самолет летел из холодных в теплые края, и это с каждой минутой чувствовалось все сильнее. Еще и потому, что накануне меня крепко и долго неизвестно куда провожали, а воды принесли (в бумажном стаканчике) за три часа лету только один раз. Самолет был уральский, на Урале была уже во всем напряженка, и экипаж, понятно, был внутри очередной официальной кампании («экономия — друг экономики») и экономил на всем возможном: на конфетах, на воде, на еде и, кажется, на стюардессах — их не было видно. Но на пассажирах, вроде, еще не экономил — в самолете было людей, как в бочке сельдей.

Билет у меня был до Самарканда. В Душанбе была пересадка, до рейса на Самарканд (с еще одной пересадкой) оставалось еще время, и я вышел на привокзальную площадь — чистую,

светлую, теплую, окруженную цветущими фруктовыми деревьями с опьяняющим весенним ароматом. Позднее я узнаю названия этих чудных деревьев, направивших мою жизнь в неизвестное русло, — вишни, урючины, миндаль, яблони... После уральского снега это имело такой сильный эффект, что я сразу же почувствовал себя, как дома... Наверное, еще и потому, что родился я когда-то на юге, в теплой Одессе, хотя ни юга, ни Одессы лично не помнил, так как по окончании войны после трехмесячного пути на бричках через Карпаты в 1944 году (Одесса — Германия) был сослан из Мекленбурга в Сибирь, но кровь моя, наверное, помнила...

Еще больше меня поразила огромная желтая бочка на колесах с надписью «Пиво», стоявшая у летнего зала, и продавец рядом с ней — в белом халате и... в абсолютном одиночестве и отсутствии желающих утолить жажду. В Свердловске эту бочку взяли бы приступом еще ночью и оккупировали бы, пока не опустела.

Пиво для меня было кстати, и, заливая жар в душе, я стал с удовлетворением оглядываться и подумывать, не в сказке ли я нахожусь и не остаться ли мне здесь на время в этой сказке, благо, рюкзачок мой был за плечами, ну, а Самарканд... Самарканд может и немножко подождать... (Самарканд, к сожалению, ждет меня до сих пор, я перед ним виноват, в нем так и не побывал, но чтобы как-то заглушить свою вину за срыв намеченного или, как говорили на Урале, за сход с лыжни, я написал позже рассказ, на который даже получил благодарный отклик одной восторженной читательницы — за достоверное описание атмосферы чудесного города ее детства, в котором она так долго не бывала и вот, благодаря мне, побывала...)

Благо, я тогда кое-что прочитал про Среднюю Азию, находил ее таинственной и поэтичной, как и писателей древних и настоящих — от Рудаки, Хайяма и Фирдоуси до Айни и Турсун-Заде... Читал и роман Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» о строительстве плотины через Вахш в Вахшской долине, по которому был поставлен телевизионный фильм, и очерки Юлиуса Фучика о Памире. Через несколько дней я узнаю, что ответственный секретарь «Коммуниста Таджикистана» Арон Маркович был репрессирован за знакомство с Ясенским, который умер в сталинских лагерях, и с Фучиком («Репортаж с петлей на шее»), сумевшим убежать от Сталина, но не сумевшим от Гитлера, и в Праге казненного.

Позднее меня познакомят с проводником Ю. Фучика в горах Памира, и я напишу о нем. Позднее ответственный секретарь газеты Володя Молдавер, сменивший сильно болевого Арона Марковича (не помню, к сожалению, его фамилию), впоследствии умный, начитанный и мягкий Владимир Ефимович, ожидая материал в номер про потравы посевов (Срочное задание ЦК! В сельхозотделе было все срочным — первый секретарь ЦК КП Таджикистана Расулов был, вроде, знаток сельского хо-

зайства), будет меня пытаться, усмехаясь в свои пышные темные усы, вскоре побелевшие: «Ну, Толя, придумал ты газелью про свою сельхозартелю?»

Газели — лирические двустушья классической персидско-таджикской поэзии — писал, вроде, Хафиз, если память мне не изменяет, ну, а мне оставались потравы... Или Хайям газели писал? Нет, у Хайяма были рубаи...

Что я еще знал о Таджикистане и таджиках по приезду?

Слышал в геологоразведческой партии на Урале добрый анекдот про рабочего-таджика, который просит начальника уволить его. «Почему?» — спрашивает начальник. «Мой жена мне изменяет», — отвечает рабочий. Начальник, очень грамотный, поправляет: «Не мой жена, а моя жена»... Таджик и говорит: «Что твоя жена тебе изменяет, все давно знают, вот и мой стала...»

Мои колебания остаться — не остаться прекратились через минуту, когда я, ободренный живительным пенистым напитком, наткнулся взглядом на маленькую будочку с надписью «мясо» и свисающими в окошечке полосками различного цвета, действительно напоминавшими мясо. Не бижутерия ли, как многое в те времена?

Я подошел, присмотрелся — настоящее, да и цены неожиданно низкие... Еще вчера я был свидетелем ожесточенных дебатов у мясных отделов свердловских гастрономов. Несмотря на то, что у каждого был зажат в руке талончик на 1 кг и хватить, кажется, должно всем, очереди бушевали, выплескивались на улицы и заслоняли путь тем, кому мясо полагалось по должности. Один мужичок, маленький, юркий, с лицом, изъеденным гарью и пламенем доменных печей, сталевара или литейщика, с веселыми глазами, поднял шум, прорываясь вперед с причитаниями «товарищи, пропустите, очень надо, опаздываю, дайте скорее, а то опоздаю...» Его пропустили, продавщица, сердобольная, отвешивая ему килограмм, спросила: «В больницу, что ли, торопишься, милый? Кто болеет-то, жена? Ишь, как заботится... Вот все бы мужики так! Берите пример, мужики! Не за пивом ведь...» — «Да, нет, не в больницу я...» — мужичок тянул время, но, получив свой тощенький газетный сверток, засмеялся: «Да, да, болеет, вся страна болеет... А мне на ленинские чтения пора, а то премии лишат...» Кто-то засмеялся, кто-то рассердился, один призвал накостылять мужичку хорошенько, но того и след простыл.

Порадовавшись, что до Душанбе эти ленинские чтения, видимо, еще не долетели (напрасно радовался, вскоре узнаю, они уже тут как тут, но мясо пока все-таки было), я окончательно решил остаться и спросил продавца, далеко ли до центра и как идти. Редакции газет обычно находились в центре, и мне, новоиспеченному журналисту, только что окончившему Уральский госуниверситет, ух, как нужна была работа! Продавец охотно махнул рукой вдоль улицы, уходящей немножко вниз от здания аэропорта, сказав, улыбаясь, видимо, угадав мое финансовое положение: «Пять минут на троллейбусе, двадцать пешком».

Да, мне надо было экономить, и я пошел пешком и, действительно, через пятнадцать-двадцать минут оказался у перекрестка с большим желтым зданием на другой стороне и множеством газет за стеклянными витринами перед входом рядом с телефонными будками и тележками с газированной водой. Чуть справа опять засветилась, соблазняя, желтая бочка с надписью «пиво». Позднее мне объяснят, что чудесный цветущий, ставший мне сразу родным, город имеет всего только три недостатка: 1. слишком много жары, 2. аэропорт в черте города и 3. ЦК на перекрестке.

Была весна, жары еще не было... На руку было и что «аэропорт в черте города» — обошлось без лишних трат на троллейбус... Ну, а до ЦК мне пока дела не было, да и ему до меня. Только позднее, когда я стал работать, я стал немножко его побаиваться и всегда, как при землетрясении, до сих пор мне неизвестному, обливался, в зависимости от времени года, то холодным, то горячим потом, когда кто-нибудь, критически читая мои статьи, спрашивал: а что скажет ЦК?

На этот раз я пиво пить не стал, надо было искать работу, и я вошел в Дом печати.

2

В новом городе мне везло, как никогда в жизни. Пока я прочитал газеты в витринах — «Коммунист Таджикистана», «Комсомолец Таджикистана», «Вечерний Душанбе», посмотрел на «Совет Точикистони» и «Тожикистони Совети», наступило рабочее утро, и желтый дом начал всасывать в себя рабочий люд большими группами — как выяснилось, не только журналистов, но и работников типографии, цензуры, и я, завидуя каждому человеку, входившему в это здание — у них была работа, были, наверное, жилище, семья, дети... — решил испытать свое счастье и поднялся на второй этаж с женщиной-вахтером у входа... Она меня строго остановила, я стал объяснять, почему и зачем, и пока она размышляла, пропускать меня или не пропускать: «Александра Романовича я еще не видела...» на другом конце длинного коридора появилась чем-то мне знакомая фигура и, когда она приблизилась, вся удивленно улыбающаяся, я узнал своего бывшего однокурсника, еще больше потолстевшего — Аркашу Данилова... «Ты что тут делаешь?» — «Ищу работу...» — «В сельхозотдел нужен работник, пойдешь к Ермольеву...»

Но Ермольев был осторожен и дурачился: «Неее, Аркааша, иди тыгы лучше к... Румянцеву и просиии, ведь ты учился вместе с ним, а не яая...»

И Аркаша повел меня за руку в кабинет к редактору, который уже был на месте (хитрила вахтерша!), поставил возле большого полированного стола и, отступив сам в сторону к стене, показал на меня: «Вот он хочет у нас работать...» Редактор с добрым лицом мягко улыбнулся: «А что он еще хочет?» — «Он из уральского университета», — уточнил Аркаша. «Ага, — сказал редактор, —

еще что?» — «Мы с ним вместе учились... — продолжил Аркаша (он всегда был немногословный), — он пишет хорошо...» — «Да?» — редактор поднял брови. «Как и все из нашего университета», — наступая, Аркаша постарался засмеяться. Редактор улыбнулся: «Ну, если вы вместе учились и... хорошо оба пишете, как ты утверждаешь, то садитесь... потолкуем...»

«Толкование» не придало мне уверенности, что я буду принят... Фамилия, национальность, прописка... Чертов круг — прописаться можно только со справкой с работы, устроиться на работу только с пропиской... Редактор тянул: «Мы все-таки орган ЦК...» Немногословный, но упрямый Аркаша, кстати, член месткома, не сдавался. Он тыкнул в мою сторону: «Может писать и под псевдонимом...» — «Но нам нужен в сельхозотдел сельхозник, специалист, а не только хорошо пишущий, — не сдавался редактор, перелистывая мою трудовую книжку, — а он работал в городской газете». «А он вырос в деревне и родился... — Аркаша задумался на время и, найдя слово, засмеялся: — под коровой...» — «Но у нас же хлопок, а не коровы», — засмеялся и редактор... Аркаша ответил: «А коровы тоже есть... Пусть сначала со мной или Ермольевым поедит...» — «Хорошо, я подумаю, — сказал редактор, прощаясь. — Скажите Ермольеву, пусть зайдет...»

«Возьмет», — сказал Аркаша. «Он сегодня добрый. Он всех женщин с утра лично поздравил с наступающим 8 марта.»

Так я с 9 марта, сразу после международного женского праздника, стал Каримовым. Псевдонимом я взял весьма распространенную таджикскую фамилию и целый год подписывал ею свои заметки, пока кто-то на летучке не съехидничал, кажется, замотдела советского строительства Николай Иванович Ръжаков: «Почему это Штейгер стесняется подписываться своим настоящим именем, или пишет вполсилы левой ногой, или врет и хочет, чтобы его не узнали, или стесняется своего имени?.. Очерк «Оби-Кик — любовь моя», вроде, неплохой».

Часто неожиданная, но всегда остроумная заместитель редактора Татьяна Петровна Каратыгина посмотрела на редактора и сказала: «А что это за писатель, который не умеет соврать; сказал как-то Марк Твен. Тем более журналист...» Все засмеялись, улыбнулся и Румянцев, сказал: «Никто ему не запрещал подписываться своим именем, главное, чтоб не врал». И опять все засмеялись. Так я стал опять Штейгером, но в журналистском удостоверении в рубрике «Псевдоним» до сих пор стоит «Каримов».

Татьяна Петровна часто разряжала обстановку своим остроумием. Один из старых корректоров в типографии своем «Конституция» всегда предвещал прилагательным «Сталинская», даже если стояло «Ленинская Конституция», он зачеркивал Ленинская и ставил Сталинская. Мы были бдительны, но однажды заведующая отделом пропаганды возмутилась: «Он же сумасшедший... почему он работает в редакции?» На что Татьяна Петровна резонно возразила: «А где же ему тогда работать?»

Да, мы все были тогда немножко сумасшедшие. Или немножко идеалистами. За нищенскую зарплату (я получал тогда 120 рублей плюс 30–40 рублей гонорару) мы строили... коммунизм, живя, конечно же, в развитом социализме. У меня не было собственного жилья, я ночевал два раза в горах за кладбищем (не смотря на плюс сорок днем, ночью было ощутимо холодно, и я жег газеты и листья, чтобы не замерзнуть, и с пяти часов до начала рабочего дня катался в троллейбусе, отогреваясь), я снимал ки-битки за половину оклада, где зимой вода застывала в ведре, а волосы мои примерзали к подушке, ходил летом к Душанбинке в обеденный перерыв стирать мои единственные штаны и рубашку, которые, к счастью, быстро высыхали на солнышке, и я, заодно и искупавшись, обновленный шел в редакцию, у меня не было ничего, но я верил, что светлое будущее настанет... Идиот или идеалист? То и другое?

Но тогда, понятно, я так не думал. Интересно, что эта вера улетучивалась по мере того, как моя жизнь налаживалась. Получив квартиру, прописавшись, став больше получать денег (для жизни мало, для смерти много), я, как и многие вокруг меня, начал попевать песенку «Ни в черта, ни в бога не верит матрос...» Особенно после того, как услышал, что один секретарь обкома партии, женщина, кричала на журналистов областной газеты на летучке: «Не забывайте, что тюрьмы еще существуют!», а одного знакомого журналиста посадили на два года за анекдот о причинах землетрясения в Ташкенте — у Брежнева в Москве китель с медалями упал с вешалки...

Вот тебе и демократия, вот тебе и развитый социализм.

Скажу, что уволился из «Коммуниста» я так же странно, как был принят. Уехал в отпуск в Ленинабад и на второй день пошел в областную газету — нужны были деньги, написал пару статей и остался, отправив Румянцеву телеграмму по всей форме: «Редактору... от... прошу меня уволить по собственному желанию. Подпись».

Через месяц мне прислали трудовую книжку.

3

Время скачет странными очертаниями с картин психа Дали. Психа или гения? Тогда и Ван Гог псих? Или гений? Во всяком случае, мне казалось, что я нахожусь внутри картин импрессионистов — ярких, красочных, поэтических и неожиданных.

Мои восторги краем и людьми со временем не поутихли и даже усилились. Даже после одной серьезной ошибки, которая чуть не стоила мне работы, я захотел во что бы то ни стало остаться. Александр Романович Румянцев выглядел не только очень добрым человеком, но и был таковым, как и полагается настоящему интеллигенту старой закваски. (Видимо, поэтому он умер на работе от инфаркта — я давно заметил, что хороших людей инфаркт почему-то больше любит.)

В газетах шла какая-то официальщина, кажется, со съезда КПСС — доклады, так называемые, прения, а на самом деле беспардонный хвалёж в адрес партии и правительства во главе с мудрым и стойким ленинцем Леонидом Ильичем и, конечно, о достижениях... В каждой газете — русской, таджикской, узбекской, даже в молодежных — по две-три вкладки, сотрудники, переводчики, корректоры дневали и ночевали в редакциях, зачитывались до одурения... От ошибок и «очепяток» был никто не застрахован, и нередко после таких «исторических» событий летела на другой день чья-нибудь голова за пределы редакций, чаще всего «свежая»... И надо было такому случиться, что как раз в выступлении одного известного поэта, дважды (или трижды?) Героя Социалистического Труда, очень влиятельного, вышла страшная очепятка...

А, может, и сознательное действие одного из наборщиков. Не знаю, но допускаю...

И надо было такому случиться, что я, без года неделю назад принятый на работу, оказался одной из «свежих голов»... И вместо... «от всей души благодарим партию и правительство во главе с верным ленинцем...» и т.д. вышло «от всей дури благодарим...» и далее по тексту. Первый слог слова «души» «ду» стоял в конце строки, второй слог «ри» в начале следующей и поэтому, наверное, проскочил при переносе незамеченным. Аркаша Данилов был еще «свежий»..., но о какой свежести можно было говорить после 8-часового рабочего дня плюс 8-часовой ночной считки (не Шоолохова и не Омар Хайяма!) монотонного текста без единой свежей мысли? Кто-то, понятно, должен был полететь, и в первую очередь — я, как новичок, не выдержавший испытательного срока и лучше всех, наверное, умеющего летать...

Редактор должен был отреагировать... Давление сверху было велико, республика втихаря смеялась, и редактор должен был принять меры. Мой заведующий отделом — большой, шумный, добрый, темный, как мулат из кинофильма «Спартак», Александр Степанович Ермолев целый час не вылезал из кабинета редактора, защищая меня, но я все равно бы чирикнул, если бы Аркаша Данилов не взял вину на себя и не сказал, что это он читал ту злополучную полосу... Честно говоря, я не помнил, кто и что читал, и мне кажется, что благородный Аркаша просто-напросто взял вину на себя, чтобы сберечь меня... Он сам был на очень хорошем счету и мог опасаться всего угодно, только не увольнения.

Расчет Аркаши оказался верен, мы схлопотали по выговору, обещав искупить свою вину, ну, а Александр Романович Румянцев еще долго отдувался за нас...

«Отдувался» еще и потому, что известному и влиятельному поэту такой исход был не в нос, он хотел крови. Ему вообще не везло, этому поэту, со средствами массовой информации, несмотря на то, что его хвалили на каждом перекрестке с делом и без дела.

Незадолго до дури одна сотрудница республиканского радио взяла у него интервью и при подготовке к выпуску использовала материалы двенадцатилетней давности... При трансляции она каким-то нелепым образом перепутала одно интервью с другим, и в эфир ушла благодарность поэта не в адрес Брежнева, а Хрущева... Ее, как водится, уволили, а каково поэту?!

Ошибки, опечатки случались нередко и стоили многим корреспондентам, а иногда и редакторам, их должности... Рассказывали, что как-то к Румянцеву пришел один раис (председатель колхоза) и захотел пожать его руку за то, что «очень хороший газета делает». Редактор заволновался, колхоз всегда в газете критиковался, председатель редактора не любил и не скрывал этого, и редактор, обливаясь потом, судорожно искал причину неожиданного дружелюбия раиса... А раис продолжал, держа руку редактора двумя руками и не отпуская ее: «...Очень хороший газета делаешь, мой друг, рахмат (спасибо) тебе большой таджикский. Признаюсь, не любил я тебя и твой газетка, врал много, но после сегодня уважать стал... Честный ты человек, принципиальный, правду все-таки написал...» — «Не понимаю, не заслужил, — забормотал редактор в ответ, — почему вдруг?» — «А ты посмотри, посмотри, он на твоём столе лежит, свежий газета...»

Редактор посмотрел... и схватился за голову, как он мог раньше не заметить!

«Спасибо тебе, много врал твой газета, а за эту смелую правду я тебе все прощаю, рахмат калон, заезжай ко мне, большой гость будешь в кишлаке», — продолжал дружески улыбаться посетитель и так и вышел, улыбаясь, оставляя наедине с самим собою близкого к инфаркту редактора.

Первая полоса выглядела празднично, сверху над снимками красовалась жирная шапка «Идет большой хлопок!» и только присмотревшись, можно было догадаться, что что-то не в порядке, хотя не сразу и заметно. Шапка была набрана курсивом «Реклама» и отличие литер «д» и «б» в слове «идет» мог не каждый заметить, что и произошло с дежурными редакторами, корректорами, свежими головами... Но читатель был бдителен.

Немного отойдя, охлаждаясь и радуясь, вроде, благополучному избежанию инфаркта на этот раз, редактор потом тихо возмущался раисом: ведь по-русски правильно не научился говорить, а вот матерщину знает. Говорят, что остроумная Татьяна Петровна заметила вполголоса: но в матерщине он, вроде, тоже ошибку сделал или нет?..

Понятно, что в таких случаях особый интерес к газете проявляли известные органы, хотя на отсутствие интереса с их стороны ни одна газета и, конечно, ни один работник печати не могли пожаловаться — не вредительство ли? Впрочем, кто знает, может, у верстальщика случилось то мгновение просветления, о которых поется в «Семнадцати мгновениях весны», которыми мы тогда все

засматривались, или просто-напросто мгновение плохого настроения, как, возможно, и у линотиписта, набравшего от всей дури вместо от всей души.

Секретарь обкома, кричавшая на работников областной газеты, считала, что журналисты делают подобные ошибки сознательно.

4

Со временем у меня появилось много друзей таджиков — врачей, ученых, писателей, журналистов, механизаторов, бригадиров-хлопкоробов, зоотехников, поливальщиков... Но, может быть, меня встречали, кормили, любили, беседовали, помогали... только потому, что я корреспондент республиканской газеты? Из множества встреч и случаев в моей корреспондентской жизни приведу один, навсегда оставшийся в моей памяти и очень емко характеризующий простой народ. Уверен, не везде поступили бы так же. От этого воспоминания у меня кровь приливает к лицу, и мне немножко стыдно за мою... несообразительность.

Зима 1972-73 была жесткой. Мне надо было написать, как переносят чабаны вместе со своими отарами овец зимовку. «Езжай в Кулябский горком партии, и поезжай с кем-нибудь из горкома», — сказал заведомом Александр Степанович, и я поехал на автобусе, переваила перевалы Шар-Шар и Чормозак, проехал Дангару, а за Дангарой вдруг подумал, что горком мне покажет только то, что благополучно, а не то, что на самом деле, и я (молод был и... дурной!) вышел из автобуса в летних туфельках и легком пальтишке в деревушке из двух домиков и одним магазинчиком, где, я знал, чабаны покупают себе продукты... Вечерело, снег, холод, магазин был закрыт, ни одной души... Будет ли еще один автобус в Куляб или назад в Дангару или Душанбе? Так и замерзнуть можно. Хотя тайне верил, что кто-нибудь мне обязательно поможет, если в газетах утверждают, да и я сам утверждал и верил, что человек человеку — друг, товарищ и брат... Уже совсем стемнело, когда я, продрогший до костей, решился постучать в один из домиков, хотя света в окошках не было... В удачу не верил, но надеялся.

Открыла молодая красивая женщина, тепло одетая, видимо, в доме было холодно, но для меня с улицы — Ташкент. Я спросил, знает ли она, когда будет автобус, и она отступила в сторону и сказала на ломанном русском: «Заходите, сегодня не будет... сейчас придет муж с работы...» Усадила меня на курпачу, зажгла керосиновую лампу (в нашей газете была информация о том, что «лампочка Ильича дошла до самого отдаленного памирского кишлака...»), подбросила в печку, на которой стоял казанок и чайник, хворосту, налила мне чай... До чего он был кстати и вкусен, этот чай!

Пришел муж, уставший, в мазуте, поздоровался за руку, распрощался, сказал: «Придется вам здесь ночевать... сейчас будем

ужинать». Пока он умывался, женщина расстелила дастасрхан, положила в середину магазинный хлеб и, поговорив о чем-то с мужем на таджикском, поставила передо мной касу с думящимся шурпо с куском мяса. Когда хозяин сел и мы познакомились, я спросил: «А вы?» Он быстро ответил: «А я уже поел... с друзьями!»... И я поверил, и взял ложку, и начал есть шурпо (До чего же было вкусно!), и вдруг, пораженный, остановился — хозяин сказал неправду... Казанок был маленький и там была только одна порция шурпо, ужин для мужа, когда он придет с работы... Я отложил ложку и сказал: «Знаете, я тоже поел недавно... и, пожалуй, я пойду...» — «Нет-нет, оставайтесь, вот здесь мы вас уложим спать... Ну, а шурпо я доем, не пропадать же добру, как говорят урусы, то есть, русские... я служил в армии, знаю русский». И засмеялся. Попытался засмеяться и я.

По корреспондентской привычке я разговорил его и узнал, что после армии он окончил курсы механизаторов, что поженились они недавно, вопреки желаниям родителей, что вот они оказались здесь. Он возит продукты чабанам в горы.

Спал я беспробудно и проснулся, когда хозяйева уже были на ногах, и Алаверды успел узнать, когда пройдет автобус в Куляб... Поблагодарив и прощаясь, я сказал: «Гульчехра и Алаверды, будете в Душанбе, позвоните-заходите». И дал телефон и адрес — у меня уже была квартира на Втором Советском. Через полгода, то, что эти милые люди ночевали у меня. А пока я сделал то, что посоветовал Ермольев — поехал в Куляб, пошел в горком партии, и меня повезли на ближайшую зимовку овец, и я написал очерк «Мужество», а позднее о молодых людях, которые пошли против воли родителей, потому что любовь сильнее предрассудков.

Очерк о влюбленных был мне дорог, писал долго, больше десяти печатных страниц, и его после Молдавера читала Татьяна Петровна. Когда она вошла в сельхозотдел с моей рукописью — царевна-женщина по уму и стати! — у меня, кажется, остановилось сердце. «Анатолий, а что, если мы вот такой заголовок сделаем, подумайте?» — и бережно отдала мне рукопись. «Значит, понравилось! — обрадовался Ермольев, — иначе бы не пришла, а вызвала к себе...» Очерк «Только перейти дорогу...» был напечатан, его перепечатал «Комсомолец Таджикистана» и транслировали по радио на двух языках и, кажется, в Афганистане.

Где вы теперь, Гульчехра и Алаверды? Есть ли дети? Хорошо ли вам?

В «Коммунисте Таджикистана» я проработал три года.

После «КТ» я работал еще во многих коллективах Таджикистана (плюс 17 лет), затем и «в Германии туманной», в Гамбурге (плюс 10 лет), написал три романа на немецком языке, стал членом Союза писателей Германии, встречался с сотней интересных людей, побывал в Греции, Англии, Португалии, Испании, Турции

(жаль, не в Самарканде!), но память хранит эти три года работы в республиканской газете и жизни в Душанбе как самое лучшее в моей жизни. Наверное, еще и потому, что был молод... Да, как малы мы были, как искренне любили!

И ошибались тоже...

Как умели, так и жили.

ЗАДУМАЛ Я ПОБЕГ

1

Когда в Душанбе появился фильм про ракетчика Королева «Укрощение огня» с Лавровым в главной роли, Эмма Подобед, мой хороший друг и коллега по газете «Коммунист Таджикистана», сказала мне: «Сходи и узнай, чем должны заниматься настоящие мужчины!» Когда в редакции появился Пшеничный, элегантный, быстрый в движениях и действиях, она сказала: «Вот это настоящий мужчина!».

Я для Эммы не был настоящим мужчиной — она, как и моя жена, утверждала, что я плыву по течению, не зная куда, делаю все абы как, и к тому же — не любящий выпить. А вот Пшеничный... Тут Эмма захлебывалась и краснела.

Как-то я не вовремя вернулся из командировки, так как не взял заранее билет обратно, он вызвал к себе, выслушал и сказал только: «Надо думать впрок!»

Запомнил на всю жизнь.

Говорят, будучи редактором «Комсомольца Таджикистана», он дал редакционную машину заместителю ответственного секретаря, чтобы тот отвез к реке Душанбинка своего прямого начальника — ответственного секретаря, и купал так долго, пока не протрезвеет. Задание было выполнено, выпуск газеты спасен, ну, а ответсек на другой день получил выговор.

Однажды он и меня засек подвыпившим в редакции, вызвал на другой день и спросил: «Что случилось?» — «Давайте забудем, Борис Николаевич», — сказал я. Он почти повторил мою фразу: «Давайте забудем, Анатолий Иванович!» И разговор был закончен.

Урок пошел впрок.

Да, он был им — настоящим мужчиной, тут я был с Эммой согласен, хотя мнение мое о новом втором заместителе редактора и будущем редакторе, два года пополнявшего свой теоретический багаж в Академии общественных наук в Москве и отточившего там характер делового человека, сложилось поначалу противоречивое.

Меня назначили в тот месяц обзоревающим на летучке, и я добросовестно к ней подготовился, прочитав месячную подшивку два раза. Особенно рецензию на удивительный фильм по Булгакову «Бег» с Ульяновым и Баталовым в ролях. Сходил еще раз, прочитал рецензию до дыр. Написана она была на высоком про-

фессиональном уровне, добротню, умно, живым красочным языком (я с завистью чувствовал, что мне так не написать), но что-то в ней, в рецензии, тревожило, хотя не понимал — почему. Потом понял — мне не нравилась мысль о том, что Бугаков не совсем понял суть Октябрьской революции и Гражданской войны. Это меня возмутило.

Мы жили во времена большой лжи с двумя, а то и тремя стандартами. Читали между строк, на работе говорили одно, в кругу друзей и дома — другое, видели одно, писали другое. Развращение людей шло сверху. ЦК, КГБ, редакция, дом — один и тот же факт интерпретировался по-разному. В каждой из инстанций один и тот же человек говорил на другом языке, даже, когда мог общаться, как я, к примеру, только на одном — русском. Вспоминается анекдот: стоит круг людей различных национальностей с переводчиками и пытаются понять, что сказал чехословак — наше пиво самое лучшее в мире. Первый перевод: он утверждает, что чехословацкое пиво самое лучшее в мире. Следующий перевод переведенного — чешское пиво хорошее. Третий — чешское пиво не такое уж хорошее. Четвертый — чешское пиво плохое.

Один мой знакомый сказал: «Я люблю Россию безбрежную». Из магазинов исчезали товары и продукты, на заводах воровали, на хлопковых полях работали дети и женщины, а на так называемых «ленинских чтениях», посещение которых было почти принудительно, говорилось о развитии социализме, держась за Октябрьскую революцию и доказывая ее гуманную суть. Позднее будут обсуждать книги Брежнева — ну, хоть Нобелевскую премию давай! Когда ему вручали писательский билет, он пообещал написать еще, несмотря на то, что все знали, что писал не он, и многие сомневались, читал ли он сам якобы написанное им. Позднее появился анекдот: Леонид Ильич говорит на заседании Политбюро: «Вот, все хвалят мои книги... Товарищ Пельше, Вы читали мою «Малую Землю»? Правда, хорошая?» — «Да, Леонид Ильич, очень хорошая книга» — «А Вы, товарищ Суслов?» — «Даже два раза прочитал, Леонид Ильич, замечательно написано... И т.д. — Андропов, Черненко, Горбачев... Леонид Ильич и говорит: «Ну, если все хвалят, то придется, наверное, и мне прочитать...»

Умница ответсек «КТ» Владимир Молдавер вывесил памятку для работников редакции: «Прежде, чем сдать материал в секретариат, прочитай его хотя бы один раз!»

На летучке я сказал, как ловко иные критики обходятся с писателями. И Шолохову, и Маяковскому, и Зощенко, и многим другим (уже были запрещены Солженицын, Гладилин, Кузнецов, Некрасов, снят Твардовский) были предъявлены в свое время такие же обвинения. Но время показало и, возможно, покажет еще, что подобные обвинения абсурд. И я спросил, не потому ли иные советские писатели выставляются какими-то неучами и недоумка-

ми, что как раз иные критики чего-то недопонимают, врут или пишут по подказке? Для пушей важности привел и Бунина, и Есенина, и Достоевского...

Если бы я знал... После летучки я узнал, что рецензию написал Борис Николаевич под псевдонимом, а не кто-то со стороны, как я думал, и мне стало неудобно от моей резкости и резвости. Единственным утешением было то, что его на летучке не было. Сказали ему или не сказали — не знаю, и не имеет значения — он был честен и объективен, но через месяц он раскритиковал мой очерк, а перед этим как дежурный редактор снял с полосы мой материал, подписанный первым замредактором Татьяной Петровной Каратыгиной и ответсекком Владимиром Ефимовичем Молдавером. Не думал и не думаю, что это было следствием моего заступничества за Булгакова. Снятый очерк был слаб, я это понимал, и я его отдал на радио в русскую и таджикскую редакции, а с критикой второго, опубликованного, был тоже почти согласен, хотя приятного, конечно, было мало. И еще и потому, что на Доске лучших материалов нередко вывешивались мои очерки.

Увидев меня на другой день в субботу в пустой редакции (возможно, мы оба убегали в выходные от проблем дома), он спросил: «Обиделись на меня за вчерашнее?» — «Нет, не обиделся, я просто с вами, мягко выражаясь, не согласен». — «О... это интересно, — он коротко засмеялся, — а не мягко выражаясь?.. Заходите-ка ко мне — поговорим, я жду звонка». Я зашел к нему в его маленький кабинетик рядом с нашей огромной советско-сельхозной комнатой и сказал, что «не мягко выражаясь» он просто-напросто неправ и смотрит на жизнь слишком прямолинейно, полагая, что, если человек, к примеру, идет на работу, то должен думать только о работе (ведь именно это он утверждал на летучке, критикуя меня), а не о чем-то другом, возможно, он думает о дюжине вещах сразу, что отнюдь не мешает думать о главном. Как в шахматах, например, есть главное направление, а есть варианты...

Говорили мы долго, устали, не соглашаясь. «Принесите-ка лучше шахматы, — сказал он коротко смеясь, — доспорим на доске. Я видел, вы играете».

Мы поиграли с переменным успехом и играли потом почти каждую неделю, когда он дежурил по номеру или в субботу. У него было меньше практики, чем у меня, так как я ежедневно принимал участие в шахматном турнире в редакции, организованном по моей инициативе с привлечением мастеров спорта республики. Это был всплеск интереса к этому виду спорта во всей стране — он появился в связи чемпионатом мира по шахматам между Спасским и Фишером (и эксцентрическими эскападами претендента на звание чемпиона), и недружелюбными ежедневными комментариями центральной печати в адрес Фишера. Советские шахматисты вот уже 24 года держали шахматную корону мира, и вдруг какой-то американец...

Знающие люди говорили — победит Фишер, незнающие патриоты — Спасский, третьи молчали, особенно после того, как на первый сеанс игры Фишер не явился, заработав нуль, естественно, а во второй сдал слона таким ходом, который и мы бы не сделали. «Что-то здесь не в порядке, — уловив подвох, сказал Борис Николаевич. — Партии такие хрустальные, умные, и такая грубая ошибка... Мне кажется, Фишер победит, я смотрел несколько его партий».

Позднее станет известно, что Фишер поспорил на крупную сумму денег, что нарочно проиграет две партии вначале и все равно станет чемпионом. Нельзя сказать, что он любил деньги — он просто-напросто был бунтарь, каким и остался до сих пор — позднее пожертвует половину своего состояния какой-то религиозной секте, а через 30 лет, несмотря на запрет и угрозу тюрьмы (Америка вела как раз свою очередную войну, теперь в Югославии) опять встретится со Спасским в дружеском турнире в Хорватии и опять выигрывает...

Сообща мы разобрали почти все шахматные партии тогдашнего чемпионата. Пшеничный так увлекся, что принял участие и в нашем редакционном турнире, заняв четвертое место среди кандидатов и мастеров спорта и получив удостоверение первоурядника.

Шахматы были его отдушиной. В партиях, как и в жизни, он был слишком целеустремлен и отвергал побочные варианты, хотя и понимал, что они необходимы и неизбежны. Играя со мною, он противоречил себе — он читал полосу, делал какие-то заметки в блокноте, разговаривал по телефону, часто с называющейся непрерывно женой. Иногда в сердцах бросал трубку, проговорив коротко: «Я работаю!»

Как-то я ему намекнул на то, что целеустремленность — это, конечно, хорошо, но не всегда возможна, на что он коротко засмеялся: «Ах, значит, помните мою критику в ваш адрес и наш первый разговор. Почитайте-ка мою первую книжку рассказов — я был таким же, как вы... и в молодости писал и думал так же».

Я был польщен, прочитал принесенный им сборник его рассказов и понял — нет, так умно и хорошо мне не написать. Во мне не было (и не могло быть!) его целеустремленности, я был сильно раздраем противоречиями: общественными, семейными, личными. Я думаю, он — тоже, но только противоречиям не поддается и изгоняет их своим умом, талантом и целеустремленностью организатора и журналиста, и держит их своей крепкой волей под контролем. Ведь раньше, судя по книге, он был другой.

Эмма Подобед тоже приходила по субботам, писала, ждала, когда я выйду из кабинета замредактора, затем выспрашивала меня о Пшеничном — с удовольствием слушала и краснела.

Из «Коммуниста Таджикистана» меня выманил в «Ленинабадскую правду» редактор В. Морозов — бывший заведомом промышленности «КТ», обещая золотые горы, но, как водится в таких случаях, слова не сдержал, и я вскоре стал сожалеть об уходе. Особенно из-за того, что ежедневно видел, как хорошеет «Коммунист Таджикистана» по форме и содержанию при новом редакторе Пшеничном. Да и от Морозова хотел уйти. То в «Строительную газету», то в «Лесную промышленность», то в «Удмуртскую правду», но Морозов через обком препятствовал, а с обкомом ни одна газета не хотела связываться, даже всесоюзная. Я должен был уйти «чистеньким», но как, если Морозов со своими друзьями давали мне такую отвратительную характеристику, с которой и в разнорабочие не возьмут? Я его спрашивал: «Валентин Павлович, ну, зачем же вы меня держите, если я такой плохой?» Он: «Если будете настаивать, уйдете с волчьим билетом...» — «Крепостное право, вроде, закончилось лет сто назад...», — отвечал я, но не получал ответа.

Для него не закончилось. Он держал меня на крючке, он знал, что моя мать, сестра и братья живут в ФРГ и, где надо, пользовался своей информацией, добавляя, что я пьющий, и только коллектив возглавляемой им редакции газеты не дает мне спиться совсем...

Ну, прямо отец родной.

Я позвонил Пшеничному, попросился в собкоры, он сказал: «Давайте! Но отпустит ли Морозов? Ну, ничего, я улажу через ЦК». Большой души делового человека не интересовало, где мои близкие или дальние родственники, его интересовала работа.

Уладить Пшеничному не удалось. Директор «ТаджикТА» Н. Насредининов, умный, деловой, знающий толк в людях, с не меньшим влиянием, чем Пшеничный, искал корреспондента по Ленинабаду и оказался сильнее — я стал собкором Телеграфного агентства. Я и теперь сожалею, что расстался с ним, что не смог встретиться, когда он был в Гамбурге...

Морозов, как и Пшеничный, был личностью незаурядной, интересной, но слишком перепутанной. А что скажет обком и другие? Узнав, что у меня родственники за границей — не от меня узнал! — заставил меня отказаться от заведования сельхозотделом, забыв, зачем выманивал меня из «Коммуниста». Он трижды не давал мне письменную характеристику для посещения больной матери, изливаясь изрядно устно... Могу судить по нашим разговорам: «Бросят вам в стаканчик с винцом, которое вы так любите, таблетку, вы и развяжете язычок». — «Помилуйте, — отвечал я, — какие секреты я знаю и кому они нужны? Я знаю только, как у нас газету делают — линотип, матрицы, свинцовый набор... На Западе давно уже такого нет, одни компьютеры...» — «Вот-вот, — поддакивал он удовлетворенно, — об этом я и говорю...»

Секреты... Даже о том, что милиция использует рацию, нельзя было писать, о неурожае, — о, Господи! — о родственниках Ленина...

В общем, свинцовые мерзости, как говаривал Горький.

Морозов называл себя верным ленинцем, цитировал Ленина к месту и не к месту, а если не помнил, доставал источник с закладками из большого шкафа. Как-то, играя в шахматы (он был тоже большой любитель, играл хорошо, но очень осторожно, и я все утверждался в мысли, что по игре можно судить о человеке) и видя, что у него хорошее настроение, я сказал в шутку: «Вы, скорее всего ленинист, а не ленинец», на что он разразился целым докладом о большевистском прошлом своих дедов и бабушек, о своей праведной жизни и своем гуманном характере, несмотря на «диктатуру пролетариата». «Знаете, Анатолий Иванович, таких, как я, ленинцев еще надо поискать...»

Очень смелые слова Чингиза Айтматова во время встречи с Горбачевым, что в мире должны преобладать общечеловеческие ценности, он не принял.

Когда объединилась Германия, он сказал: «Ну, теперь нам, Анатолий Иванович, войны с Германией не избежать! Готовьтесь!» — «Надо им больно!» — ответил я рассерженно, на что он тоже возмутился: «Вы с таким пренебрежением говорите о нас, будто вы из тех...» Я сделал ход пешкой, не отвечая.

Этот верный ленинец не хотел меня отпускать в Ташкент на встречу с братом, куда тот приехал из Гамбурга, чтобы повидать меня (в закрытый тогда для иностранцев Ленинабад не пустили), и только замечание замредактора М.Георгиева: «Его брат проделал пять тысяч километров, а ему надо-то всего двести в родной стране...» — заставили его, скрепя сердце, согласиться.

Я ему сказал о брате, потому что догадывался, что он уже знает. В мою дверь позвонили в шесть часов утра, а когда я, проснувшись, выглянул — никого, только быстрые шаги вниз по лестнице. На половичке лежала телеграмма, датированная тремя днями раньше: «Я в Ташкенте, в тургостинице. Виля». Я долго не мог сообразить, кто такой этот Виля. Неужели брат из Гамбурга, мой родной Виля?.. Но разве такое возможно в самой демократической из стран, когда с тобой рядом верные ленинцы с большевистским прошлым?..

Виля мне сказал, что послал мне три телеграммы — из Гамбурга, из Москвы, из Ташкента. Ждет меня уже пять дней, через день уезжать.

3

С тех пор, как я однажды подумал уехать к матери и братьям насовсем, у меня появилось еще больше друзей. На их отсутствие я не мог и прежде пожаловаться, но теперь их было не меньше хорошей дюжины. Иногда меня останавливали незнакомые на улице и, хлопая по плечу, восклицали: «Анатолий! Дру! Сколько лет, сколько зим! Как ты? Все там же?» — «Где там же?» — спра-

шивал я, по-дружески улыбаясь. «Ну, там, где всегда...» — «Да, да, — отвечал я, — а ты там же?» Конкретней я не спрашивал — зачем гусей дразнить? «Все там же, там же, — отвечал мой новый друг. — Пойдем выпьем за встречу!» Я хотел получить немножко больше информации об источнике, и что ему надо конкретно, и говорил: «Я бы пошел, но, знаешь, мои финансы поют романсы». — «Ах, не беспокойся, — отвечал он, — у меня есть... Ради такой встречи — да не выпить?..» — «Ну, что ж, — думал я, — почему бы и нет?.. И повторится все, как встарь...»

Мы шли, выпивали, иногда напивались, но вместо того, чтобы развязать мой язык, они развязывали свой, порою не догадываясь, что я уже знаю больше о них, чем они обо мне.

Одна девица, преподаватель средней школы, высокая, худая, с круглым соблазнительным личиком, почти каждый день приходила в редакцию, то просила заглянуть в их школу имени Ленина (она там организовала интересный вечер), то проводить до остановки, уже темно, то даже до дому, рассказывая, что с мужем развелась (что оказалось неправдой, но чего не сделаешь, чтобы добиться правды?), что не имеет настоящих друзей, только одну подругу, да и та в ФРГ уехала, пишет письма, зовет, но как уедешь, не пускают, вот если бы была близкая родственница, уехала бы в отпуск и не вернулась...

Когда мы перешли на «ты», не уставала намекать: «Я бы на твоём месте встретила с матерью и не вернулась». Это было то, что ей надо было узнать. Я отвечал: «Если я уеду, то только законным, честным путем, ну, а проведать мать, сестру и братьев, да и посмотреть на страну, конечно, хотелось бы...» Это ее раздражало — она ждала другого ответа — надо писать отчет с подписью «Источник», который бы меня скомпрометировал, но на откровенный компромат не хватало фактов.

С детства, а особенно со студенческих времен (факультет журналистики!), я чувствовал, что вокруг меня идет жизнь, которая не совсем моя, и надо быть осторожным. Слишком много любопытствующих: откуда я? что я? где родители? что делают? и т. д. Прошло немало лет, пока я понял, что исчезновение из мажбюро моей рукописи со срочным материалом в номер не случайность — я писал материал дома на своей пишущей машинке. Источнику из редакции надо было узнать, не печатались ли на ней какие-нибудь листовки или прокламации или что другое. На праздничные дни в те времена пишущие машинки запирались в шкафах.

Один из «друзей», бывший редактор — я с ним работал в одной редакции около двадцати лет — написал мне в Гамбург: «Толя, пришли мне тысяч десять марок, я хочу дом купить — ну, что тебе стоит?». Забыл, дорогой, что 1989 году (я тогда работал в «Ленинабадской правде»), привел ко мне домой в ленинабадскую квартиру молодого любопытствующего корреспондента из столицы, который втихаря, не вынимая диктофон из

кармана, пытался записать наш горячий, после нескольких рюмок чая, спор о современных проблемах (нажимал на пуск, когда говорил я — видно, кассета была 30-минутной и кончалась), а потом, когда я дотронулся до его кармана и, почувствовав твердую грань диктофона, сказал: «Слушай, Витя, кончай записывать, ведь говорим об известных вещах...», мой друг встал и потянул любопытствующего командированного за руку, сказав: «Пошли, Витя, отсюда! В этом доме все грязно...» Витя встал, как ни в чем ни бывало, и пошел, обронив с угрозой: «Ну вот, у меня появился еще один враг!»

В этом случае, как и во многих других, «мои друзья» пили на мои деньги. Полагаю, что диктофон у Вити за ненадобностью отобрали — в те времена они были редкостью и стоили не по карману каждого. Несколько раньше из моей квартиры каким-то странным путем исчезли книги Солженицына, Аксенова, Гладиллина, Кузнецова, почти вся подшивка «Нового мира» — я их покупал и выписывал, когда еще не были запрещены. Особенно было жаль повесть В. Катаева о революционном времени «Уже написан Вертер» и «Окаянные дни» Бунина.

Купил здесь, в Гамбурге, снова.

Когда уже стало известно, что я уезжаю, мой друг, изрядно выпив, сказал во всеулышание: «Крысы первыми бегут с тонущего корабля!» Я ответил: «Значит, ты подтверждаешь, что корабль тонет?»... Он промолчал, наливая коньячок, добытый мною по благу с большим трудом.

Он убежал последний и все возмущался, что его не очень-то рады принять в другой стране — России.

...Будучи в Душанбе, я захотел попрощаться с Эммой Пододобед, позвонил. Она задерживалась. Я ждал ее в летнем ресторане «Памир», погрузившись в свои проблемы. Она обещала прийти к обеду, сразу, как закончит праздничное дежурство.

Ресторан был «журналистский» — как летний, так и зимний, который желтой двухэтажкой прилегал сбоку. По вечерам тут и там собирались сотрудники многочисленных идеологических изданий и трансляций на всех языках — радио, телевидения, газет, журналов, кино. Изредка присоединялись актеры из театра рядом. Когда холодно — в зимнем, а чаще — в летнем, под открытым небом, в окружении цветов и почти всегда зеленых деревьев и цветущих кустов.

Было пусто. Как всегда в праздники, журналисты работали, ну, а я?.. Что меня ждет на чужбине? Где дом?

Пошел мужичок, вроде, интеллигент, вроде, не очень, не понять сразу, но к журналистике явно не имел никакого отношения. Поставил стакан, сел напротив:

— Не-е, я не хожу больше на демонстрации — не хочу больше сидеть...

Посмотрел на меня смеющимися глазами.

Он хотел поговорить, я хотел помолчать, но что делать — не скажешь же, иди-ка ты лучше на демонстрацию или за соседний столик, ведь весь ресторан пустой, мы только вдвоем здесь и, вишь, официантки в углу за столом истомились от безделья.

Официантки сидели в кругу между двух окошечек — одном большом для разлива питья и маленьком для раздачи еды. Рядом, тоже ожидая гостей, налаживал свои приспособления пашльч-ник, размышляя, зажигать ли уголь или подождать, пока придет жаждущий и проголодавшийся люд.

Я промолчал, но он не унимался:

— А ты?

— Что я?

— Тоже сидел?

— Видно?

— Не-е, это я так... Лицо у тебя осторожное... Половина сидит, половина охраняет, но такие, как ты, не сидят, они охраняют или ходят на демонстрации, туда, где весь советский народ, все, как один, демонстрируют свою верность идеям Октября.

Я взял свой стакан и пересел поближе к выходу. На столик у входа опускались русалочки ветки ив, раскинувшихся за оградой, создавая тень, которая вскоре может очень понадобиться при плюс 40.

— Да, ты прав, — сказал он сзади, — становится жарко. Сегодня будет больше сорока, а ведь в нормальных краях нормальная весна. Выпьем?

Не пересаживаться же опять...

— За что?

— Есть анекдот. Сара спрашивает маленького Мойшу, почему он на вопрос вопросом отвечает, а Мойша отвечает: «А что?» Да, спрашивать всегда легче.

Я промолчал.

— Три раза сидел, а четвертый будет не под силу.

— Ты ж еще не старей, — сказал я и рассердился на себя. Так он все-таки добьется своего и разговорит меня.

Он тоже хотел рассердиться, но, видимо, передумал и, засмеявшись, стукнул своим полупустым стаканом о мой опустевший:

— Шутник...

Мне все равно приходилось ждать, и я поймал глазами одну из пяти официанток в дальнем углу и, хотя понимал, что этого делать не следует, приподнял стакан. Вино было отвратительное, официально «Памир», а по мнению знатоков «Бормотуха», но многие его любили, оно било по мозгам без предупреждения, ну, а другого давно уже не было, и знающие официантки призывали радоваться и тому, что есть — идет перестройка, скоро и это кончится.

— Три раза — это немало, — сказал я. — И все из-за демонстраций?

— Ну да. Первый раз, молодой был еще, послушный, идем-идем, выпить нечего, устал, а сзади какой-то чувак все наступает

мне на пятки и наступает, торопится мимо трибуны пройти и ура прокричать. Говорю ему, не наступай мне на сандалии, успеешь проуракать, а он не слушает, ну, я и говорю, если еще раз наступишь, огрею этим чучелом, что несу... Дали два года, чучело, которое я нес, оказалось Андроповым...

— Ну, а второй раз? — не выдержал я.

— Второй раз решил не ходить, подумал, снова посадят, остался дома. Выпил, хорошо стало, смотрю с балкона на проходящих внизу мимо, машу рукой, как те на трибуне делают... И вдруг кто-то снизу кричит: «Уберите этого идиота!»... Я и спрашиваю: «Какого? Слева или справа?» Слева на стене висел Ленин, а справа Брежнев...

— Мда, герой, — не выдержал я... — Ну, а третий раз?

— Ну, а третий раз я, поумнев, решил пойти снова на всенародный праздник. Дали мне знамя тащить, километра три пер, все ладом, тихо-мирно, никого не огрел ни чучелом, ни чем иным, устал, захотел отдохнуть — когда еще домой припрешься, автобусы не ходят... Скамеек нигде нет, ну, я и присел у основания какого-то памятника, кажется, Ленину — родоначальнику всенародных торжеств... Только присел, подходит милиционер: «Гражданин, здесь сидеть нельзя!» — «Почему, — спрашиваю, — ведь все для человека! Все во имя человека!» Милиционер не понял: «Гражданин, не валяйте дурака!» Я и говорю: «Я его не ставил и валять не собираюсь, мне бы немножко посидеть...» — «Сядешь, сядешь», — пообещал ясновидящий милиционер... Эй, девушка, принеси-ка еще!

Он выпил, закурил:

— Нет, а ты все-таки скажи, а почему ты на демонстрацию не пошел?

Я оглянулся. Времена, вроде, наступали другие, но кто его знает!.. Однако отвечать мне, к счастью, не пришлось — под ивами у входа в ресторан появилась та, кого я ждал.

Она не поздоровалась, глянула мельком на моего собеседника и сказала: «Пойдем отсюда!» И уже за воротами добавила:

— Он же провокатор. Разве не видишь?

— Вижу, конечно.

— Итак, ты уезжаешь?..

— А ты? У тебя же в Израиле друзья?

Она покраснела:

— Нет, я останусь...

В этот день я видел ее в последний раз. Дни ее были кем-то сочтены.

Теперешний редактор «Народной газеты» (бывший «Коммунист Таджикистана») В.Воробьев пишет: «Журналистка Эмма Подобед ноябрьским днем без вести пропала в Курган-Тюбе. Вскоре бесследно исчезнет и председатель облисполкома. Страшно подумать, но мне кажется, ключ к тайным исчезновениям людей следует искать на Вахшском азотнотуковом заводе, в его вместительных кислотных емкостях».

В один из дней так называемой Гражданской войны в Таджикистане Эмма Подобед, тогда собкор «Коммуниста Таджикистана» по Вахшской долине (Как не вспомнить роман Ясенского «Человек меняет кожу!»), пошла на уже убранное картофельное поле — надо было кормить приемного сына — и была расстреляна из автомата. Сына Кирилла выкинули из квартиры, и подросток почти полгода, грязный и голодный, бомжевал в Курган-Тюбе и окрестностях, пока его не подобрали журналисты республиканской газеты и через знакомых отправили самолетом в Москву к зятю Бориса Николаевича Пшеничного — В.Захватову в надежде, что, может быть, им заинтересуются родственники Эмилии Подобед — Бонч-Бруевичи... Да, те самые, наследники верного соратника и родственника Ленина, да, того самого верного ленинца. Родственники были возмущены — им этот бастард не нужен. Захватов помог подростку обосноваться, заботился о нем. Теперь Кирилл женат, живет в Москве.

Еще в мои времена воздух в Таджикистане наполнился грозой, на заборах стояло: «Русские, убирайтесь домой!», а на вокзалах и в аэропортах вдруг исчезли билеты для желающих уехать — в Россию, Израиль, Германию, куда глаза глядят. И хотя я был нерусский, но лицом похожий (без бороды и даже усов, и цвет кожи немножко светлее, чем вдруг востребовалось), мне тоже надо было смотреть в оба, особенно, когда стемнеет. Жаль. В 90-е годы прошлого века ни в одной стране мира не было убито так много журналистов (всех национальностей, включая таджикскую тоже), как в Таджикистане. По официальным сведениям Комитета по защите журналистов (Нью-Йорк) — 17 журналистов были убиты в Таджикистане с 1992 г. Среди них были и мои друзья, о которых мне предстоит еще рассказать.

Книга казненного в Праге Юлиуса Фучика, о котором я упоминал в своих заметках — «Репортаж с петлей на шее», заканчивается призывом: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» День его казни 8 сентября был объявлен позднее Днем международной солидарности журналистов.

Как водится, не счесть числа простых людей, особенно женщин, растоптанных полупьяной и нагашишенной толпой подростков, которых старшие привезли из кишлаков Гиссарской и Вахшской долин в Душанбе, позволив делать все, что они пожелают. Пьяные подростки в толпе повсюду не знают, что творят. В Ленинабаде, с давних времен более европейском — Шелковый путь — тогда было спокойнее, потом тоже начали угрожать, стрелять и топтать.

...К этим результатам мы не могли были не прийти, но я верю, вижу и чувствую — жизнь изменяется к лучшему.

Счастливы, кто может забыть то, что нельзя изменить.

14.04 — 30.10.2010 г.

Гамбург



Вальдемар ВЕБЕР

/ Аугсбург /

Из книги
«*Verwandlungen*»¹

В ДУХЕ ИВАНА ГОЛЛЯ²

*

Серп луны
пожинает колосья дня
В мучнисто-белую ночь
погружается красное солнце
А по утрам
на стеклянном небе
словно в витрине булочной
всплывает румяный хлеб
испечённый в пекарнях
за горизонтом

*

Неустанно трудиться
на ниве неба
сеять звезды возвращивать их
не дать вымереть
сему ремеслу
чтобы поле не одичало
чтобы любящие и после
могли кормиться с него

¹ «*Vertwandlungen*» (нем.) — Превращения.

² Иван Голль (1891–1950) — поэт, прозаик и драматург. Писал на немецком и французском.

*

Музыка веющая как ветер
меж временем и пространством
быки истлевают
кактусы засыхают
боги низвергаются
остаются амфоры и музыка моря

*

Я вылепил тебя как амфору
Могу делать с ней
что захочу
вливать вино любви
масло нежности
свежую воду надежды
или морю отдать
бросив на берегу

*

Ты кромка моря
я прилив
тебя созидающий
отлив
тебя пожирающий
у меня львиные повадки
и звездная кровь

*

Женщины подобны
почкам кофейного дерева
дремлющего месяцами
в ожидании дождя
всегда готовые к его визиту
чтобы вмиг расцвести

*

Жрица лета
каждый день ты срезаешь розы
заменяешь их в вазе
до того как они увянут
О как ты не любишь
все что не лето
все что не роза

*

Налившийся спелостью
свет июля
как пчелы к нему слетаются
наши ночи

*

Печальная вдова у ночного окна
от скуки пытается подсчитать
во сколько обходится керосин
этой праздной горящей всю ночь луне

*

Бесполезное занятие
обрезать крылья
подростающему ангелу
они вырастут вновь
ибо зачем Богу
бескрылые ангелы

РОЗЕ АУСЛЕНДЕР¹

Слишком высок звездный свод,
чтоб светить в пути.
Далеко возносится чувство мое,
но в ответ не приходит
не единого слова.
Холодно,
хочется в дом
с окнами чайного цвета,
поближе к людскому сердцу —
доступной звезде.

1970

СТИХИ О МОЙКЕ ОКОН²

Райнеру Кунце

Если в Галле на Зале,
на идиллической Зале,
на буколической Зале, —
в среднем ее течении, —
той самой, которую воспевали
все поэты без исключения,
окна моют на дню два раза,
видно, это не для парада...

¹ Роза Ауслэндер (1901–1988) — немецкая поэтесса, родилась на Буковине, умерла в Бонне.

² Райнер Кунце (род. 1933) — немецкий поэт, до 1977 года жил в ГДР.

До рассвета, как будто птицы,
 поднимаются света жрицы.
 Проступают сквозь гарь на стеклах
 их колени, ладони, локти...
 Дня младенческие движения.
 Час в запасе для пробуждения
 у детей, у мужчин, у калек.
 За окошками черный снег.
 И покуда над их головами
 женский лик в полутемной раме,
 как у ангелов всё яснее —
 утро вечера мудренее.

1973

НА ТЕМУ АЛЬМЫ ИОАННЫ КЁНИГ¹

Не мой удел изыскивать проклятья
 врагам своим, служа злобище дня.
 Все, что могу: открыть, как дверь, объятья,
 опорой быть тем, кто слабей меня.

Я не судья занесшим надо мною
 плеть ненависти. Бог рассудит их...
 Околицей времен за тишиною
 вослед бреду с котомкой грез земных.

Мгновеньями чужой любви влеком,
 как на пути просыпанным зерном,
 в дома вхожу с тугой сумой своею,

но долго за порог ступить не смею...
 О хлеб надежд и чайный вино!
 Лишь любящему выжить суждено.

1980

A LA HANS ARP²

Мне так бы однажды хотелось
 себе самому повстречаться

¹ Альма Иоганна Кёниг (1887–1942) — австрийская поэтесса.

² Ганс Арп (1886–1966) — немецкий скульптор и поэт.

и простите за смелость
 с самим с собой пообщаться
 У меня к себе накопилось
 столько вопросов
 но говорящий со мной
 это вечно кто-то иной
 а подлинный я
 далеко высоко
 в какой-то мифической дали
 Словом если меня не найдете
 в альманахе или журнале
 ищите на горной дороге
 где-нибудь между Мцхетою и Жинвали

КОРЗИНКА ДЛЯ БУМАГ¹

Рихарду Питрасу

Ах, эта корзинка
 у твоего стола,
 еженощно наполняемая
 отвергнутыми словами.
 Сколько поэтов-песенников
 могло бы тут пожить!

1988

НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ

На книжной ярмарке
 посреди
 массы книг,
 где твоей —
 ни одной,
 у тебя чувство,
 будто ты выделился из массы...

1989

¹ Рихард Питрас родился в 1946 г. немецкий поэт, живет в Берлине.

Владимир ШТЕЛЕ

/ Кассель /



КИСЛИКА

1

Мы живём в окружении, в глухой блокаде. Постройте в нашем посёлке второй химический комбинат. Да нет, постройте в нашем посёлке ещё три химических комбината всесоюзного значения и один плутониевый завод. Только без очистных сооружений, без уловителей, без катализаторов, электрических фильтров и прочей ерунды. Вот, тогда вы и узнаете, что такое сибирская природа! Мы окружены тайгой. Когда я залез на деревянный телеграфный столб, чтобы снять с проводов старую, сдохшую, а вернее, погибшую по своей глупости, сойку с чёрными пестринами, облепленную полупрозрачными бойкими вшами, я понял, что экологической угрозы и, даже, ядерной зимы нам бояться не надо. Я увидел, как кубокилометры салатно-синего кислорода выталкиваются из зелёного растительного моря, приподнимаются над рощами кедрача, отгалкиваются от круглых верхушек осин, заваливаются набок и медленно, деформируя свою кубообразную форму, накатываются на безлесое пространство, отданное под дома, стайки, углярки, помойки и огороды. Нет, этот чистейший лесной газ съест любую заразу, нейтрализует любой яд, защитит от нападений самых коварных бактерий. Поэтому, нам бояться нечего!

А что там затарахтело? А, дак это Коля — сын Степановых, который на лётчика выучился, на своём кукурузнике к нам рулит. Значит, уже загрузился, сейчас всей пацанве местной праздник сделает. Пролетит над посёлком, взрычит, развернётся, а потом откроется в самолётной попке дырка, а оттуда дуст белой струёй посыплется. И наступит солнечное затмение, пока не опадёт порошок и не покроет наши головы, загорелые плечи, а заодно и вон тех чёрных уток белой мукой. А утки, вот же ду-

ры, сразу бегом к мутному озерцу и давай нырять, да куцыми крыльями по воде хлопать, обмыться торопятся. Не понимают, что пестициды — это передовое слово химической науки, что химизация всей страны — это не пустая болтовня, а каждодневная напряжённая работа. Поэтому и кружит в начале каждого лета над нашими головами, перевыполняя план, трудолюбивый самолётчик. Утки тяжело повылазили из воды, стали задрами судорожно вертеть и воду отплёвывать, а потом сели на бережок, густо покрытый липким помётом, попрятали свои головки под крыльями и замерли, стали кайф ловить.

Коля помахал нам с неба, и скрылся его самолётчик за последним домиком улицы Инициативная. Там у него аэродром и заправка. Сейчас туда пацаны гурьбой побегут и будут канючить: «Коль, а Коль, ну серани ещё раз». Он пойдёт навстречу пожеланиям ребятни, Коля — хоть и лётчик, а парень отзывчивый, да и план выполнять надо. Загрузит Колька ещё полторы тонны порошка и посветлеет наш посёлок, станет белокаменным, белодеревяннным, а от этого на душе у народа празднично сделается. Но долго этот праздник не продлится. Как только в тайге потеряет энцефалитный клещ свою активность, так и перестанет Коля посыпать нас дустом.

А после Колиной посыпки можно было в одних трусах безбоязненно забираться в самые сырые, затаёженные распадки. Если какой, одуревший от голодной жизни, комар и садился на хорошо обработанную голую кожу худой коленки пацана, то он не успевал даже мысленно проститься с родными и близкими, а падал тяжело на мхи, лапки его завязывались узелками и на влаом комарином животе появлялась злокачественная опухоль. Остальное комариное сообщество, наблюдая такие жестокие сцены, тревожно гудело и принимало единогласное решение никогда, ни одной капли крови из жителей нашего посёлка больше не высасывать. Слово они своё держали крепко, передавая наказ из поколения в поколение.

Дуст с неба — это, конечно, хорошо. Но развеет его ветер, размочит дождь, и даже, если сразу после опыления забраться на крышу дома и веничком собрать благодатный порошок, то много не наберётся, для огородных дел этой щепотки не хватит. А огородные дела — длинные, овощ защиты требует и до периода активности и после периода активности энцефалитного клеща. Поэтому и появились мешки дуста в свободной продаже: тут, в тряпочных мешках, мука пшеничная, там, в мешках бумажных, — дуст акарицидный. Да и цена подходящая: кило — во семь копеек. Хотя, конечно, все понимали, что реальная цена такого современного, эффективного продукта гораздо выше. Этот дуст, ведь, Циолковский не в одиночку придумал, наверняка бригада способных академиков годами трудилась: один синтезирует, другой анализирует, а третий лабораторную посу-

ду спиртом протирает. И все в белых перчатках. А обращение-то какое: «Вы, Фёдор Яковлевич, эвтектонидную температуру тензодиффузии не учи». Фёдор Яковлевич подумает, прикоснётся длинным тонким пальцем к широкой пятнистой лысине и ответит: «Благодарю Вас, Алексей Михайлович, за замечание, но при эквиденсографии двухканальной индукции кумулятивная составляющая ортофосфита не доминирует». Таким людям только за их культурное обращение и за интересный разговор денег платить не жалко, пусть ничего и не придумывают. Это, ведь, не наши поселковские: как получка, так и пьянка, а как пьянка, так мордобой. Хотя, если опыление было выполнено действительно качественно, в соответствии с научными рекомендациями и нормативами, то наблюдалась в поселковом народе временная заторможенность. И даже гулянке с коллективным исполнением популярных советских песен не хватало привычного огня, задора, шумного конфликта, интересной разборки. А расходились после такой гулянки все, как виноватые, ведь и вспомнить нечего будет. Даже Архип Хромов свою Люську к Шайдукову не приревновал, не погнал её с матом, как полагается, вдоль улицы, туда, к аэродрому, где она среди мешков и пустых бочек прятаться приучилась. А зря не погнал, вон, задницу обтянула как будто после гулянки она на фестиваль студентов и молодёжи наладилась. Нет, всё же химия не на всё положительно влияет.

Чтобы добиться окончательной экологической чистоты и прикончить остатки наиболее стойких насекомых, закупили наши передовые огородницы дуст мешками. И тащили мужики эти мешки на своих горбах, а белые струйки, из плохо прошитых мешков, оставляли следы на деревянных ступеньках магазина, указывая, куда и сколько мешков ценного продукта доставлено. Наиболее резко поднялись урожаи капусты. Сибирская капуста — овощ важнейший, а вот мучилась она раньше сильно. Очень сильно её любили капустные белянки, слоники-зеленушки, пальцекрылы, розовые бражники, верблюдки и прочие мелкие бесполезные твари, которым была объявлена война. Посыпание капустных плантаций осуществлялось часто и обильно. Так, что лист капустный, скручиваясь и наслаиваясь, формируя крепкий кочан, зажимал между плотными слоями благодатный порошок, не желая с ним, защитником, расставаться даже тогда, когда одна единственная ножка-опора многокилограммового плода перерубалась лёгким топориком. Ещё белее становилась квашеная капуста от чудодейственного порошка. И хруст приобретала особенный, вот только немного горчить стааа, но это — не беда: в щах эта горечь почти полностью уходит, а если капусту салатом подать на стол, да подсолнечниковым маслом сбрызнуть, то и вовсе вкус как по-старому.

«А если это любовь?» — так вопрошающе-утвердительно называлось это кино. И, вот, почему так? Если какая интеллигентная столичная баба, которая и капуста-то квашенной не знает, как заготовить, от своего мужа к другому бегаёт, так *это* — возвышенная любовь, так на *это* и литература, и искусство кинематографии пристальное сочувственное внимание обращают, а если, например, наша Люська сначала в Витю Петухова, а теперь, вот, в Шайдукова влюбится, так *это* сразу блядство? Хотя, конечно, Шайдуков наглеть стал в последнее время. Своим положением пользуется. Он — старший сержант в нашем отделении милиции. Ему и наган полагается.

Вот с этим наганом он и подъезжает полвторого ночи на милицейском мотоцикле к Люськиному дому. Стучится громко, мужа не боится, так как он, Шайдуков, при исполнении. Ещё ему дверь не открыли, а он нетерпеливо орёт: «Людмила Архиповна, вставайте на проверку сигнализации» и кобуру похлопывает, вроде как проверяет — все ли патроны на месте. А кобура такая толстая, что и простому гражданскому человеку ясно, что патронов в нагане полным-полно. Приходится Люське вставать, а куда ей деваться, если органы вызывают? Вдруг магазинчик, где она продавщицей работает, обворуют, пока она спит беззаботно с законным супругом. Сядет, бедная, сзади Шайдукова на этот вонючий «Урал», обнимет казённый китель, а головку на левый погон доверчиво положит. Мотоцикл обманчиво спокойно от дома отъедет, а потом милиционер как газу поддаст. И помчатся они по кочкам ночной дороги, как будто из магазинчика уже все мешки дуста ворьё вынесло, а потом обляли эти воры бревенчатые стенки и журнал поступления товара вонючим керосином и подожгли. А Люську вверх-вниз бросает, только держись!

Проверка сигнализации в магазинчике продолжалась примерно один час, как и записано в инструкции. При этом свет в помещении не включался, чтобы ввести в заблуждение банду Фефелова, которая наверняка запланировала вооружённый налёт на магазинчик. Стоит потом Люся весь день-деньской сонная за прилавком, то сметаны не дольёт, то сахару не довешает, а никто сильно и не сердится, сочувствуют: баба ещё молодая, а работа какая ответственная и напряжённая. С этим магазином и ночью-то покоя нету. Нет, нет, не дай, Бог, такую работу!

Лист осиновый с обратной стороны туманно-зелёный, а с лицевой, — как будто лаком каким покрыт. Как будто бегали здесь бурундуки и белки с красивыми баночками венгерского бесцветного лака, который завозили в Люськин магазинчик три года назад. Да не просто бегали, а делом занимались — обмакивали кончики своих пушистых хвостиков в баночки, а потом старательно промазывали каждый осиновый лист, чтобы лучи

солнечные, отражаясь и прыгая вниз с одного листа на другой, достигали влажный грунт, прокалывали тёмно-зелёный, толстый плюш мха и проникали к самым маленьким корешкам разнополой, разнорослой колючей и кудрявой растительности. И если это случилось, если лучик, оторвавшись от планеты Солнце, преодолел все немыслимые расстояния, наполненные пустотой, и добрался вот до этого корешка, ткнулся в его кожу, что-то ему отдал и умер, значит, страшным цепным реакциям, всё сжигающим плазменным выплескам тоже хочется быть и ласковыми, и добрыми, и полезными. Чтобы Люся, отстояв тяжёлую смену, улыбнулась, выйдя на косое магазинное крылечко, и сказала: «А солнышко какое хорошее сегодня». И это одобрение непременно долетит в закодированном виде до далёкой бушующей планеты, оно поддержит пламенный энтузиазм фотосферы, а план по производству тепла и света будет и дальше перевыполняться сплочённым коллективом позитронов.

Сойдёт Люся с крылечка, оберегая свои белые босоножки, обходя выпуклые головки самодельных гвоздей с палец толщиной, а потом завернёт за угол и пойдёт по дороге, укатанной редкими машинами до асфальтовой прочности. А затем, возле подстанции, свернёт с дороги и по широкой тропке спустится с горушки, а там уже и дом завиднелся. Время приятное, тёплые волны поднимаются от нагретой тропки, прикасаются к полным коленкам Люси, обхватывают бёдра и снова опадают, и снова поднимаются, будто заигрывают с ней. Вот и польнь из своих метёлок семя уже вытряхивает, а ведь, кажется, только вчера эти метёлки были сочными и тяжёлыми. Семя польнное такое мелкое, что его и не видно, лишь в носу щекотно и в горле першит, как после глотка вермута. Чихнёт молодая баба звонко, а из кустов пташки парами повывают, зачирикают обиженно, снова в кусты упадут и давай дальше друг дружку любить.

Ой, а это куда же Дарья Ивановна с корзинкой направилась, на вечер глядя? А за кислкой. Ну и что, что вечер, успеем и вернуться. «Айда и ты Люся». И прибавит Люся шагу, чтобы быстро переодеться, а потом вспомнит, что у Шайдукова сегодня ночное дежурство, а значит, не избежать проверки сигнализации. Улыбнётся она Дарье Ивановне, мол, какая, ё-моё, ягода с этой работой чёртовой, сами знаете, совсем замоталась.

Наша кислিকা — ягода особенная, если одну горсть этой ягоды летом съесть, то организм интенсивно насыщается витаминами, на весь год потом их хватает. Нам зимой никаких лимонов-апельсинов и не надо. Только без сахара её поедать опасно. Витаминов в ней столько запасено, что если кисточку ягод разжевать и, несмотря на тошноту и горечь, не выплёвывать полезную кровавую массу, а пойти на риск и попытаться

её проглотить, то сначала пот прошибёт, потом глаза станут закатываться, а потом скулы так сведёт, что может случиться хронический одновременный вывих обеих челюстей. Как это случилось у Михаила Антоновича Шершавникова, когда он с телеги под КАМАЗ слетел. Так вот, чтобы этот одновременный вывих избежать, надо кистичку кислоты осторожно положить в рот, ни в коем случае не разжёвывать ягодки, а мягко двигая языком, равномерно покрыть каждую ягодку оральной влагой. Проще говоря, сначала кисточку надо облюбявить, а затем медленно, не клацая зубами, извлечь её из ротовой полости, опустить влажную кисточку в сахарницу и там её повалять хорошенько, выполняя маятниковые и круговые движения. Вес наипшшего сахара должен в пять раз превосходить вес ягоды. Вот, только теперь ягода готова для культурного употребления.

Там, за осинником, который опускающееся солнце сделало рыжим, в сырых низовинах кислота и растёт. Листики, как маленькие детские ладошки, да и сами кустики — слабые, невысокие, нервные какие-то: чуть низовик дунет, так сразу в пучок сбиваются и клонятся до самой земли. А это потому, что место им такое для жизни назначено: глухие лога, тёмные распадки. Так и с нами — один на солнечной подмосковной поляне родился, и радуется его дармовое тепло от рождения до старости, а другой — здесь, в сибирском логу. Хотя, конечно, спасибо партии, мы все равны и стартовые условия для всех одинаковые. Да и счастья на этих подмосковных полянах не больше, чем в наших логах, а иначе, чё они, эти удачливые баловни, всё что-то ещё лучшее выискивают, всё кого-то виноватят, дуются то на бабу свою, то на центральный комитет, то дорогу с выбоинами возле своей двухэтажной дачи ругают, но в интеллигентной форме, не так как у нас в посёлке матерятся, когда дожди начинаются, и набухают грязью болотной все улицы. Если пьяный какой в это время вечером по улице пойти рискнёт, то может уже и не вернуться — засосёт, если в грязь плюхнется, такая она у нас липучая. А если орать начнёт, то это бесполезно, вечером все телевизоры на полную громкость включены, все Пугачиху разглядывают да гадают, чем это она молодых красавцев приманивает.

Наши-то бабы пофигуристей её, вон, например, Галина Мироновна с какими боками пышными и бюстом, а говорит — личного счастья не нашла ещё, всё слабаки попадают. Сейчас она с дядей Васей хромым живёт. Последнее время она тайно любила Юрика, — копия Магомаев, высокий, гибкий, только волос у него рыжий, а правый глаз от рождения бельмом затянут. Он на пиораме работает, Галина Мироновна там — учёницей. Всю смену рядом с ним стоит и доски, а также нетоварные обрезки в ведомость аккуратно заносит, в кубометры пересчитывает. В тёплое время Юрик в одних плавках работает.

Покроет его мелкая белая древесная пыль, и становится он на греческую каменную статую похожим, которую птички с головы до ног своим белым помётом обделали, даже рыжих волос не видно. Только статуи везде по большим культурным городам без павок стоят, а тут, возле пилорамы, — это опасно. Можно травмироваться. Налюбуется так учётчица за смену, и потом белокаменная мускулистая фигура моториста пилорамы второго разряда снится Галине Мироновне всю ночь, а что он с ней выделявает в её снах — и сказать стыдно, прямо кино натуральное до шестнадцати лет. Проснётся, потная от счастья, а этого счастья и нет, иллюзия одна, как всё в нашей жизни, только дядя Вася хромой храпит, табаком воняет, слюни жёлтые на подушку выпускает. Прямо, такой безразличный, такой безразличный, что кулаком бы дала по его соплям, да скандала не хочется, лучше снова уснуть, — может вторая серия привидится. В своей любви она признаваться и не думала — это же стыдобыще, — такая разница в возрасте. Ну, нравится, да нравится, хороший парнишка, ничего не скажешь, физически развитый, когда раздетый. А как бабы подсчитали разницу в возрасте звёздных московских супругов, — стали появляться мысли. И не только у одной Галины Мироновны. После этих расчётов оказалось, что староват-то Юрка. А зачем нам эти звёздные мерки? Надо быть скромнее, мы же не в Москве живём.

Но, всё-таки, смогла Галина Мироновна свою робость женскую преодолеть, когда Юрику двадцать первый день рождения отмечали. Призналась по пьяному делу, ну, а когда человек в таком состоянии, то даже суд скидку даёт за проступок: не в себе был, вернее, не в себе была, простите за ошибку, каюсь, мол. Но об этом позже расскажу, а может и не расскажу вообще, — зачем женщину солидную позорить, она же не москвичка какая-нибудь, а наша, поселковская.

Да, жалко, что деду Шершавникову челюсти свернуло. Его регулярно приглашали на встречи с пионерами, пока не похерили любители либеральной экономики всё хорошее, что было в нашей жизни. Одни образованные любители стали управлять денежными потоками, а другие любители, которые попроще, стали плотными стенками на берегах этих потоков, не подпуская к ним колхозников и рабочих. Они немного погломонили и затихли. Хватит, другие гегемоны пришли! Надо по-справедливому: вы — были, а теперь мы — будем.

А дед делался жизненным опытом и рассказывал такие героические военные истории, что все пионеры весело ожидали начала очередной мировой войны, чтобы поучаствовать и пострелять по каким-нибудь подлым дуракам. Хотя, если разобраться, какой, к чёрту, у этого Шершавникова опыт, — все знают, что последние сорок лет он из посёлка ни одного раза не выезжал? А кому наш поселковый опыт может быть интересен?

Да никому! Однако, что-то значительное в жизни молодого Шершавникова, вероятно, всё же было. Он за день до планового выступления перед пионерами категорически прекращал все выпивки и, чтобы сохранить голос, отвечал в предельно краткой форме на злобные, необоснованные нападки своей бабки. Но все эти меры помогали плохо. Как бы пионеры напряжённо, затаив дух, пытаясь конспектировать, не вслушивались в речь героя, они ясно могли различить только два слова: комсостав и особист. Но речь произносилась крайне эмоционально, поэтому слушать было интересно. Голос Шершавникова звучал мощно, раскатисто, все звуковые эффекты яростной схватки пехотного батальона с привлечением дивизиона гаубиц и танкового подразделения производились без малейшего искажения. Только глухие выстрелы ротного ста двадцати миллиметрового миномёта не удавалось воспроизвести с полной достоверностью.

Хлопали Михаилу Антоновичу Шершавникову долго и искренне. Потом дед находился ещё, как минимум, одну неделю под впечатлением встречи, ходил по двору с поднятой головой, а если какая курица под ногами путалась, пытался её пнуть. Всю неделю этого душевного подъёма доносились со двора Шершавниковых в ответ на явно неуважительные, а часто просто оскорбительные реплики супруги, два слова: комсостав! особист! В отличие от пионеров, эти слова не производили ни малейшего впечатления на старую супругу Шершавникова. А попытки деда растолковать ей, дуре, важность этих слов и, главное, свою причастность к этим важным словам, так ни к чему и не привели. Наверное, вывих челюстей мешал, или бабка окончательно отупела и уж не могла воспринимать никакой новой информации.

2

— Будем дружить с докерами Востока.

— А почему не с филателистами Моравии?

— Нам по разрядке докеров Востока спустили.

— А как нам теперь с ними соревноваться по грузопереработке, если у нас дока нет и не предвидится?

— За соревнование я самолично отвечу, а ты, Корбмахер, не углубляй, лучше подготовь заявку на зубоорудное кресло. Получим по линии дружбы народов через докеров Востока.

Нет это потом, только через три года, разобрались, что Сашка Корбмахер и не зубник вовсе, а санитарный врач. Но немецкое кресло, которое пахло приятным высококачественным заморским фенолом, с приложением инструментов он получил, и жалоб на него от населения долгое время не было. А почему не было? А потому, что Сашка знал, что в наше время только узкие специалисты ценятся. И он достиг в своей работе

идеаторного автоматизма, так как предельно заузил себя и выполнял только одну зубоврачебную операцию, а именно — экстракцию зубов. Хотя иногда он наглед и осуществлял терапевтическое вмешательство в здоровье некоторых пациенток. При этом он сначала укладывал пациентку в зубоврачебное кресло, а потом спрашивал — что она слышала об опосредованной нервной связи между коронарным желудочком сердца и коренными зубами нижней челюсти. Затем он рассказывал некоторые врачебные тайны, перемежая свою речь шуточками. Да мы смеялись охотно, если зубы не совсем замучали. Когда пациентка совсем расслаблялась, он приказывал широко раскрыть рот, втыкал в свои большие уши гибкие концы стетоскопа и начинал расстёгивать пуговички на кофточке пациентки, которая замирала и не сопротивлялась. Может кто и поспоривался бы, если бы Сашка был без стетоскопа и без белого халата, да и то вряд ли. Врач прикладывал к левой груди пациентки стетоскоп, а на правую грудь клал свою ладонь и начинал изучающе перемещать и чёрный микрофон, и свою ладошку, приговаривая: «Рот открыть пошире, не дышать, кистью левой руки делайте сжимающие движения, только без большого усилия. Так, так, очень хорошо». Пациенток он хвалил почти всегда, поэтому в посёлке распространилось мнение, что зубник «очень душевный». Иногда его ладонь ложилась на живот больной или на бедро, и если это пугало пациентку, то он резко менял угол положения кресла так, что голова с раскрытым ртом опускалась вниз, а ноги взмывали вверх. Эта возможность управления положением тела нравилось Сашке особенно. Западная техника, — и врачу удобно и пациентам интересно, никакого чёртова колеса не нужно!

Дед Шершавников тоже прошёл курс лечения у Сашки. После стопроцентной экстракции стали Михаила Антоновича ещё чаще приглашать на пионерские встречи, так как после удаления остатков зубов, язык деда получил, наконец, полную свободу слова. О такой полной свободе мечтали многие интеллигентные личности, проживавшие преимущественно за пределами нашего посёлка. Оказалось, что полная свобода всегда связана с потерями. Но и приобретения от этой полной свободы тоже иногда есть. Например, глухой выстрел ротного 120-миллиметрового миномёта, а так же последующий полёт мины с подвыванием стали дедом воспроизводиться с такой грозной точностью, что старший лейтенант Воскобойников, из расположенного рядом со школой военкомата, командовал секретарше — «Ложись!» и, защищая её от возможного осколочного поражения, наваливался на неё всем своим храбрым телом, выполняя святой долг защитника родины.

Сашка Корммахер был наш парень. Он в этот коммунарский мединститут поступил по линии национальных мень-

шинств, вроде как любознательный потомок ненцев, которые уже столетия кочевали по левобережью речки Кочечум-Арга. А кто по этой линии учился, обязан был без разговоров после вручения диплома в свой национальный район вернуться. Вот Сашка и нарисовался после пяти лет обучения на крылечке домика своего отца Готфрида Кромбахера. Да и куда ему ехать? Где его ждут? Конечно, северо-восточное направление было для Сашки открыто. От нашего посёлка до мыса Дежнёва четыре тысячи километров: и это всё — твоё! Пожалуйста — вся Эвенкия, почти вся Якутия за исключением её курортных южных районов, Адданское нагорье, включая Верхоянский хребет. Простор и свобода, плюс неограниченные стратегические минеральные ресурсы! Покоряй пространства, если ты настоящий сибиряк и свою родину любишь!

Конечно, посмотреть что там, на Западе, делается тоже интересно. Но это отложим, это — потом, лет через пятнадцать-двадцать, когда и союз собственными руками порушим и партию нашу любимую придушим, а пионеров всех, поголовно, отправим в интернет для расширения кругозора. Они у нас в посёлке создадут потом, после этого интернета, подпольную организацию сутенёров. В материальном и моральном отношении это окажется значительно привлекательнее, чем пионерские сборы и комсомольские собрания. И сразу после создания в нашем посёлке подпольной организации сутенёров, как по команде, собрались в Кремле важные люди, сильно-сильно задумались и стали искать национальную идею. Но не нашли, хотя некоторые утверждали, что она, якобы, была, но ускользнула.

А пока Сашка сидит на крылечке, покуривая хорошую папироску, придерживая одной рукой похмельную, уже приятно посвежевшую голову, пока его папка, всё ещё не веря своим глазам, двадцать пятый раз по слогам, выпрямив спину, перечитывает: «На-сто-я-щий дип-лом вы-дан... В том, что он... Полный курс наз-ван-ного ин-сти-ту-та... Ре-ше-ни-ем го-су-дар-ственной эк-за-ме-на-ци-он-ной ко-мис-сии... Пред-се-да-тель... Рек-тор... Ре-ги-стра-ци-он-ный но-мер», в это самое время небольшая группа трудящихся далёкого, тесного города Москва начала бескомпромиссную борьбу за право выезда. Хотя и для жителей столицы северо-восточное направление было открыто всегда. А у Готфрида Кромбахера радость, радость такая! Сын! Сынище! Теперь Сашка не пропадёт, нет, не будет он лесодоставщиком работать! Вон, левое плечо у Готфрида вниз отдалено. И он, закрыв осторожно синюю книжечку диплома, уже ничего не видя через мутную слезу, шепчет: «Сажка, Сажка, сынок, liebes Kind».

Сашка в областном центре научился многому. Всю пищу: сухую, жидкую и полусухую, которая не содержит алкоголь, он называл закусоном. Местную поселковскую забегаловку, — сто-

ловку с десятком столов на алюминиевых шатких ножках, он называл загадочным словом «каффэ». В непосредственной близости от столиков находились, вечно кипящие, объёмистые кастрюли с рассольником. Учитывая высокую образованность Сашки, поселковые дамы относились к нему с подчёркнутой благосклонностью. От его предложения посидеть в «каффэ» не могла отказать ни одна из них. После того, как кавалер с дамой входил в столовку, густой запах рассольника смешивался с густым запахом модных духов «Коммунарские зори». Эта одуряющая и, возможно, взрывоопасная смесь заполняла «каффэ», проникала в милый носик дамы и в широкий нос Сашки и как-то воздействовала на их мозги. Через один час парочка выходила из «каффэ» с совершенно ненормальным выражением лиц.

Со временем Сашка завоевал авторитет и стал членом парткома. Сразу после этого он направил в область депутату Лебёдкину, который занимался вопросами культуры, наказ — установить в «каффэ» автоматический проигрыватель граммофонных пластинок. И этого добился Сашка! Вот что значат образование и активность! Теперь стали столы сдвигать ближе к будущим и планоющимся кастрюлям, чтобы в момент, когда кавалер выгибал танцующей даме спину, и она расслабленно откидывала голову, закрывала глаза и вытягивала ножку, рассольниковый плевок не попал ей в лицо. Если выброс из кастрюли был особенно мощным, а партнёрша глаза ещё не раскрывала, то настоящий кавалер резко разворачивал даму и принимал удар на себя.

А Галина Мироновна тогда переживала кризис среднего возраста. Говорят, это опасное время для женщины, так как её настигает разочарование. Всё не так! Всё не интересно, а то что интересно, — недоступно. И надо же так, — на этот кризис наслонились и заболевание кариесом, и жестокие слова Юрика в ответ на её признание в любви. Хотя Юрика можно простить, — он находился в четвертой степени опьянения. Возможно, он и не понял сути предложения Галины Мироновны, когда для сохранения равновесия обеими руками вцепился за горodyбу и пытался продолжить исполнение своих песенок-частушек, которые ему иногда удавались. Ну, а если всё понял и так обидел женщину, то прощения ему нет. Одну его песенку-частушку знали в посёлке почти все:

Налетели снова мошки,
Закрывайте ротики.
Я сыграю на гармошке,
Потанцуйте, тётеньки.

Тёти, тётеньки и тётки,
Тапки, туфли, ботинки,
Ой, горячие подмётки,
Розовые ротики.

Буду рвать меха гармошки,
Ах, подол коротенький.
Ну, ещё, ещё немножко, —
Стонут, тѣти, тѣтеньки.

Растяну гармонь до края,
Тапки, туфли, ботики,
Ну, конечно, подыграю,
Поиграю, тѣтеньки.

Топот, песни, но всё мало,
Под коленкой родинка.
Закружилась и упала
В чьи-то руки тѣтенька.

Вот, легла в футляр гармошка,
На полу два ботика,
Ну, ещё, ещё немножко, —
Стонет, стонет тѣтенька.

Вся в забаве этой грешной,
Влево, вправо ботики.
Отвали, моя черешня,
Хватит, хватит, тѣтенька.

Депрессия — дело опасное, её лечить надо. Вот и пришла учётица с обиженным, печальным и значительным лицом в зубопротезный кабинет. Одета она была очень нарядно и несколько легкомысленно. Полупрозрачная кофточка слегка притуманивала красоту зрелого бюста, на котором лежали крупные бусы, а покрашенные губы подрагивали. Глаза были наполнены слезами, но эти слёзы не капали, они стояли, как два больших тихих озера, готовые в любую минуту излиться, и если это произойдёт, то этот зубопротезный кабинетик будет потоплен. Вот к какой печали способны наши простые поселковые женщины! Любите их, ласкайте, не обижайте отказом купить новые домашние тапочки, не посылайте их подальше, как это сделал наш Юрка. Да дурак он, — что в красоте женской понимает! Поэтому даже в своих частушках грубит — «отвали, моя черешня...», кому такая, к чёрту, поэзия понравится?

А Сашка дураком не был, поэтому он, как увидел Галину Мироновну, как услышал её мольбу: «Доктор, помогите», так сразу, без подготовительных манёвров, уложил пациентку, воткнул в уши стетоскоп и стал её прослушивать. С сердцем у неё совсем плохо было, у Сашки даже ладони задрожали, когда он это бух-бух, бух-бух услышал. Стал по старой методике руками сердце успокаивать, а не получается, но потом разобрался что и как, короче, всё получилось. Спасибо ему. И депрессию удалось

победить, и кариес залечил, только сердце всё: бух да бух. Но это уже хроническое, а всё хроническое для организма опасности не представляет, — это все врачи знают.

Благодаря безупречной Сашкиной работе, не осталось в посёлке ни одного человека без чёрных провалов на лицевой стороне головы. Зато зубы не болели и, главное, болезнь века — коварный кариес — был на территории посёлка побеждён окончательно и навсегда!

Конечно, появилась зависть к успехам, кое-кто стал утверждать, что он и не зубник, что ему положено местные попойки контролировать, научно говоря, экологией заниматься. Да чего говорить, разве дадут человеку с такой фамилией нормально расти и культурно развиваться!? Нет, недаром малочисленная группа московских трудящихся борется за право свободного выезда.

Да пусть борятся. Нам-то что? Мы лучше за Колиным самолётником побежим: «Аэроплан, аэроплан, посади меня в карман!» Когда бежишь с расчётом и тебе удаётся попасть в эпицентр опадающего облака дуста, надо разинуть рот пошире и вдыхать, вдыхать это облако. От этого такой кайф через полчаса наваливается: все домики посёлка начинают перед глазами весело подпрыгивать, а серая подстанция превращается в огромный бульдозер-ЧТЗ с Шайдуковым в кабине, который прёт через тайгу, вырезая гладкую широкую просеку поперёк всей Эвенкии.

Детство, почему ты не длишься вечно? Почему так недолго висит это, дарующее счастье, облако дуста в воздухе? А вот и тётя Дуся, толстая и сопливая, платье задралось, чулки с изжёванными колечками самодельных резинок сползли, завалилась на маленькую, пыльную клумбу у райвоенкомата и плачет горько и пьяно: «Где мои семнадцать лет?» Ой, и не знаю, Дуся. Вставай, вставай, Дуся. Я, ведь, тоже уже не мальчик, облез мой шишкастый череп, а на самый простой вопрос ответа и не найду. Вставай, будем кайф ловить. Побежим вместе, с расчётом, может нам ещё удастся попасть в эпицентр белого облака. Только ты рот шире разевай и заглатывай, заглатывай куски этого облака, как сахарную вату, которую так редко продавала Люся в своём деревянном магазинчике.

Анжерка — Кассель, 1980–2005



Игорь ГЕРГЕНРЁДЕР

/ Берлин /

Родился в 1952 году в Бугуруслане Оренбургской области в семье немцев Поволжья. Окончил факультет журналистики Казанского университета, работал корреспондентом в газетах. В литературе дебютировал в 1985-м: «Испытание “Тарана”». Фантастическая новелла (Челябинск). Проза печаталась в альманахах, журналах и в коллективных сборниках. Автор пяти книг и более 50 публикаций в изданиях русского Зарубежья и России.

КТО НЕ СЛЫШАЛ О ЧЕЧЕВИЧНОЙ ПОХЛЁБКЕ? Непридуманная история

Когда над степью распахивалось, всё светлея, серое небо рассвета, из землянки по ступеням, вырубленным лопатой в грунте, поднимались женщины. Одни с вёдрами шли к цистерне за водой, другие насыпали в неглубокие ямы, выстланные брезентом, разрыхлённую глину, песок. Ещё несколько подходили к куче соломы, придавленной жердями, убирали жерди и, присев, принимались резать ножами пучки соломы.

Нынешнее утро здесь — первое для Регины Яковлевны Краут и её дочери Якобины. Накануне их привёз сюда грузовик, в чьём кузове они, вместе с другими немцами трудотряда, сидели, теснясь, подбрасываемые на ухабах. Регину Яковлевну, директора школы в городе Энгельс, с дочерью, первокурсницей пединститута, по Указу от 28 августа 1941 выселили в Восточный Казахстан, весной сорок второго мобилизовали в Трудармию, и вот они оказались в оренбургской степи, вблизи открытого недавно нефтяного месторождения. Там, где надлежало возникнуть посёлку нефтяников, устроили лагерь трудармейцев. До ближайшего кирпичного завода было ехать и ехать, и потому женщины изготавливали известный ещё тысячи лет назад строительный материал саман.

Рассвело. Окрашивая небо розовым, день неумолимо торопил. Лагерницы, подобрав подошвы, босыми ногами топтали в ямах увлажнённое месиво. Регина Яковлевна, крепкая, сорока с небольшим лет, всегда внушала школьникам, как надо любить физический труд, и на субботниках охотно показывала пример. Но делать то, что теперь, ей выпало впервые, как и Якобине, которая рядом с ней ритмично погружала ноги в рыжевато-бурую гущу. Регина Яковлевна на миг оторвала руку от подола, чтобы поправить очки, и невольно посадила на стекло пятно.

— Кто дневную норму не даст, пайку урежут, — услышала голос бригадирши.

Донёлся сигнал — ударили по подвешенному на столбе тазу. Бригадирша повела лагерниц к месту, где на столе под брезентовым навесом повар и его помощники нарезали пайковый хлеб, рядом выпускала дымок походная кухня. Вытянулась очередь: женщины подходили к столу, брали пайку и миску с баландой. Уже через пять минут после еды начинало сосать застарелое ощущение голода.

Солнце нижним краем отделилось от горизонта, степь растянулась под лучистым светом, заставляющим щуриться. Лагерницы опять топчутся в густом месиве в ямах. К ним приближаются двое мужчин. Регина Яковлевна узнала одного. Его фамилия Кунцман, в Энгельсе он до выселения работал в отделе народного образования. Второй мужчина — в военной форме землисто-жёлтого цвета, в выгоревшей на солнце фуражке с когда-то синей тульёй и малиновым околышем.

Кунцман со словом «здравствуйте» кивнул Регине Яковлевне и, указывая на неё рукой, сообщил человеку в форме:

— Гражданка Краут.

Тот встал, уперев руки в бока, уставив ей в глаза колкий властный взгляд.

— Инженер Пауль — ваш отец?

Она замерла, стоя в яме, поспешно ответила:

— Да, мой отец — Пауль Яков Альфредович.

Военный оглядывал других женщин.

— Которая тут — ваша дочь?

Регина Яковлевна в тревоге посмотрела на Якобину — та продолжала методично месить ногами раствор для самана. Она красива: рослая густобровая шатенка с умными глазами в длинных, почти чёрных ресницах. Девушка исхудала, платье обвисало на ней.

Военный, мужчина не первой молодости, подойдя к ней ближе, оценивающе осматривал её всю от забрызганных раствором икр до бровей. Она потупилась, выпустила из рук край подола, который, опав, скрыл колени, коснулся липкой гущи.

— А вот неряхой-то не надо быть, — сказал военный, подпустив подначку в назидательный тон.

Помолчав, повёл глазами по сторонам, произнёс дружелюбно:
— И эти у меня из пополнения.

Розалия (по-русски Розалия) Вернер, Анна Окст, другие де-вушки, привезённые вчера в кузове грузовика вместе с матерью и дочерью Краут, подверглись осмотру. Под взглядом человека власти они перестали топтаться в ямах, и он вдруг бросил, с не-доброй усмешкой повысив голос:

— Кто велел останавливаться?

Тут же вновь раздались со всех сторон густые чавкающие звуки. Военный опять подошёл к Регине Яковлевне, посмотрел на наручные часы «Звезда», внушавшие почтение к их владель-цу, бережно тронул пальцем циферблат:

— Через тридцать минут быть с дочерью у меня. — Он по-вернул голову к Кунцману, который держался подале, как на привязи: — Сопроводишь.

— Так точно! — ответил тот; его продолговатое с втянутыми щеками лицо было озабоченно напряжено.

Двое пошли по лагерю дальше, и Регина Яковлевна несмело спросила бригадиру:

— Извините, кто это? — она имела в виду военного.

Бригадира обтёрла руку о подол и, заправив под косынку тёмную с проседью прядь, чётко, со значением, проговорила:

— Оперуполномоченный энкэвэдэ Ерёмин Василий Матвее-вич. А другой — начальник нашей колонны.

Колоннами назывались подразделения, на которые делился трудотряд.

Мать и дочь, идя за Кунцманом, миновали цистерну, у ко-торой солдат охраны наполнял водой поставленное под кран ведро. Расход воды — её возили издалека — строго контролиро-вался, и не раз было объявлено: если кто-то неаккуратно завер-нёт кран и вода будет капать, это расценят как диверсию.

Поодаль от цистерны стояли бочки из-под солёной капусты и телеги, на которых привозили солому. Позади них Регина Яковлевна увидела землянку, Кунцман направлялся к ней; сойдя по ступеням к двери, постучал, донеслось «войдите!»

Начальник колонны ступил в землянку, подался в сторону, Регина Яковлевна и Якобина сделали по шагу вперёд, остано-вились. Сбоку в устроенное на уровне земли окно бил резкий сол-нечный свет. Вошедшие видели перед собой стол со свежестру-ганной столешницей и сидящего за ним оперуполномоченного. Сейчас он без фуражки, и заметно: виски у него сдавлены, ко-роткий чуб зачёсан набок. Позади Ерёмина у стены видна кро-вать с матрацем, покрытым шерстяным одеялом. Регине Яков-левне бросилось в глаза то, от чего пришлось отвыкнуть: взбитая подушка в белой наволочке.

Ерёмин кинул Кунцману:

— Отпускаю к делам, Эдгарыч!

Тот на пару секунд наклонил голову и, выйдя, аккуратно закрыл за собой дверь. Оперуполномоченный перевёл взгляд с Регины Яковлевны на Якобину, кивнул на пару табуреток:

— Берите, садитесь.

Мать и дочь опустились на них напротив стола. Ерёмин выдвинул его ящик, вынул из него стопку бумаг, положил перед собой и прикрыл ладонями. Остро вглядываясь в Регину Яковлевну, спросил вкрадчиво, с каким-то особенным интересом:

— Где ваш отец?

Она, наученная опытом последних лет, богатых арестами людей самого разного ранга, почувствовала: сотрудник НКВД хочет знать, на свободе ли руководитель из крупных инженер Пауль.

— Он умер, — сообщила с понурым смирением.

— Где? От чего?

— От менингоэнцефалита, — отдельно проговорила женщина. — Он приехал к месту нового назначения, ему стало плохо, отвезли в больницу, но спасти не смогли. Скоро два года будет.

Ерёмин перебрал бумаги:

— Ну да...

Регина Яковлевна поняла его мысль: «Поэтому у меня о нём ничего нет. Если бы арестовали, было бы».

— Я хорошо знал Якова Альфредыча, — сказал Ерёмин тоном человека, довольного воспоминанием. — Вы ж, наверно, знаете — он тут недалеко был главным на бурении, первую нефть добыли под его началом. А я работал в районной милиции, — уполномоченный выдержал паузу, веско добавил: — Приезжал к нему по делу.

Степенно продолжил:

— Народу у него трудилось много, краж и драк по пьянке хватало... Яков Альфредыч меня принимал с вниманием, — Ерёмин многозначительно кивнул в подкрепление своих слов. Его охватило оживление: — Обязательно сажал меня за стол! Снабжение у него центральное, персональное. Телячья колбаса! Краковская полукопчёная... — Василий Матвеевич развёл большой и указательный пальцы правой руки, с выражением блаженства провёл ими по уголкам рта.

Затем поведал с уважительностью в лице и в голосе:

— Яков Альфредыч мне говорит: думаете, краковская — из Польши? Ни в коем разе! Нарком пищевой промышленности товарищ Микоян подписал приказ: вырабатывать телячью, краковскую колбасы. Наши они! — помолчав, поглядывая на мать и дочь, Ерёмин присовокупил: — Ну, вы-то их поели. Присылаа, привозил...

Регина Яковлевна невольно ощутила себя виноватой, хотела ответить «да», но ничего не ответила. Уполномоченный, вдруг став отстранённо-деловитым и глядя в одну из бумаг, спросил:

— А ваш муж где?

— Он ушёл от нас! — сказала она, пожалуй, чересчур громко.

— Был осуждён за вредительство, отбывает своё... — как бы между прочим проговорил опер, поднял от бумаги насмешливый взгляд.

— К тому времени мы с ним уже почти три года не жили! — сказала, волнуясь, Регина Яковлевна, зачем-то сняла и вновь надела очки. — Мы развелись. — Ей хотелось привести ещё что-нибудь в свою пользу, но она не нашлась.

Василий Матвеевич обратился к Якобине, словно рассуждая с самим собой:

— Ну, что соль сыпать на раны, — лицо его стало доброжелательным, — тем более что теперь всем тяжёлое время выпало. Испытание. — И он перешёл на «ты» с непринуждённой свойскостью: — Не тебе горевать, вся жизнь перед тобой. Подкормиться — и такая станешь лошадка!

Девушка сидела на табурете не шелохнувшись, глядя на кисти рук, прижатые к коленям. От его сладких глаз никуда не деться. Он убрал бумаги в ящик стола, поднялся и, едва не задев девушку рукой, прошёл мимо, удалился из землянки. Поняв, слышался его голос — кому-то отдавал распоряжения. Возвратившись, опер, прежде чем занять место за столом, постоял, глядя на кровать.

Вошёл ординарец с двумя котелками, держа под мышкой завернутую в вафельное полотенце буханку хлеба. Регина Яковлевна, торопливо привстав, отодвинула табурет, хотя он не мешал солдату поставить котелки и положить хлеб на стол.

— Три! — распорядился уполномоченный, и ординарец подал, взяв их с прибитой к стене полки, три миски и три ложки.

Меж тем от котелков плыл такой нестерпимо-дразнящий аромат, что у матери и дочери задрожали ноздри. Отпустив ординарца, Ерёмин запустил руку в карман галифе, достал складной нож и, раскрыв, отрезал от буханки три куска. Затем налил в миску суп с тушёной, придвинул к себе, а две миски двинул пальцем к другому краю стола, поближе к лагерницам. Положив у мисок по куску хлеба, указал на второй котелок, произнёс благодушно, с ласковой ноткой:

— Кладите себе кашу по полной. — Ловя взгляд Якобины, улыбнулся — сама заботливость, — отметил смакующим тоном: — Рисовая каша — не баланда с мучной затиркой.

Девушка низко склонила голову, тихо сказала:

— Мне не надо. — Голос дрогнул, она вскинула глаза на опера: — Нет!

— А-ах, хороша-а! — произнёс Василий Матвеевич с тем же вкусом, с каким говорил о рисовой каше.

Регину Яковлевну от поведения дочери обдало страхом, она обратилась к уполномоченному моляще:

— Мы вам так благодарны...

Он сказал проникновенно-серьёзно:

— Я помню Якова Альфредыча. Хлебосол был.

И, откусив кусок хлеба, стал есть суп. Ел увлечённо, на пористом носу заблестели капельки пота. Мать смотрела то на опера, то на дочь, которая с силой прижимала ладони к коленям. Ерёмин оторвался от еды, сказал с хитроватой укоризной:

— Не мне же вам кашу класть... в чём дело?

Регину Яковлевну мучили и голод, и смятение: что ждёт дочь, если не удерживать руку, которая вот-вот потянется к котелку? и что случится, если руку удержать?

— Сейчас будет сигнал на обед, мы там поедим... — выдавила из себя с плачущей улыбкой.

Уполномоченный покончил с супом, произнёс сокрушённо, с проскользнувшей злой ноткой:

— Вот так люди сами себе вредят! И ещё и валят на кого-то. — С минуту сверлил взглядом недвижно сидящую Якобину, потом отчитал мать:

— Избаловали вы её! Допустили, что она в каких мыслях о себе! — Он ещё помолчал, придвинул к себе котелок с кашей: — Идите работайте! И скажите бригадирше, чтоб прислала ко мне девушку Окс.

— Окст! — машинально поправила Регина Яковлевна, поспешно встав с табурета.

Ерёмин пропустил сказанное мимо ушей. Якобина была уже на ногах, она и мать покинули землянку почти бегом.

Степь, курясь испарениями, зеленела под солнцем вызревающими пыреем, медуницей, шалфеем; в эту майскую пору всё более каляющие день ото дня лучи ещё не успели пожечь травы. Но вблизи землянок они были вытоптаны. Лагерницы, усевшись вокруг ям, руками загребали вязкую массу глины и песка с нарезанной соломой, наполняли ею формовочные ящики без дна, поставленные на деревянные щитки. Уплотнив ладонями «начинку», пригладив её, женщины относили ящики на щитках на пространство затверделой от солнца земли и, опустив, вытянув щиток из-под ящика, поднимали его, оставляя на площадке сырой кирпич. К нему добавлялся другой, ряд становился всё длиннее.

Мать и дочь, подойдя к работающим, сразу же взялись за дело. Регина Яковлевна, уже сидя перед ямой, сказала бригадирше:

— Гражданин уполномоченный вызывает к себе Анну Окст.

Подбористая бригадирша сильными руками вдавливала мессиво в прямоугольную форму. Повела глазами, ища девушку, громко повторила услышанное, добавила:

— Где цистерна, ты знаешь. Напротив — пустые бочки, телеги. За ними будет его землянка.

Анна Окст поспешила к ведру с водой, вымыла ноги, руки, ушла.

Вовсю шпарило солнце, у лагерниц, которые трудились тут не первый день, шеи были почти черны от загара. Якобина, за нею Розалия Вернер и Регина Яковлевна отнесли на площадку по кирпичу-сырцу. Раздался гулкий звук удара в таз, бригада направилась следом за бригадиршей обедать. Когда повар начал наливать в миски баланду, появилась Анна: ладно сложенная, милостивая, она сейчас поджимала губы и ни на кого не глядела настороженными глазами, зная — на неё глядят все.

Когда, покончив с обедом, лагерницы возвращались на вытоптаный клочок степи, где им предстояло изготовлять саман в нарастающем накале долгих дней, Регина Яковлевна тронула руку дочери: мучилась от того, что хотела сказать и не могла. Наконец у неё вырвался шёпот:

— Рисовая каша — такая калорийная... где ещё рис увидишь...

Девушка встала как вкопанная:

— Чего ты от меня хочешь, мама?

Проходившие мимо прислушивались. Якобина пошла быстрым шагом.

Поздно вечером после работы лагерницам выпадало немного свободного времени. Одна из выступающих из земли стен землянки не имела окон, и Регина Яковлевна позвала сюда дочь. Шагах в тридцати отсюда располагался нужник без двери: на неё не дали досок. От отхожего места наносило запашок нечистот. Солнце село, жёлтая полоса над горизонтом рассасывалась, уступая лёгкой полутьме, заполнявшей небосклон.

Регина Яковлевна тихо заплакала.

— Ты должна выжить... должна, должна... — повторяла, всхлипывая, обнимая дочь.

Та прошептала:

— Я выживу.

— Я не смогу смотреть, — выдохнула мать, — как Анна, другие девчонки питаются, благодаря... да! а к тебе прилипнет любая болезнь, и ты не встанешь. Этот человек благодарен твоему деду, ты в лучшем положении, чем остальные... — чувство вины перед дочерью не давало Регине Яковлевне говорить, а страх за неё заставлял: — Надо принять помощь, — выговорила она, в горле пересохло.

Якобина глубоко, ровно вздохнула.

— В Библии сказано о чечевичной похлёбке.

Мать не сразу поняла: растерянная, старалась разглядеть в сумраке выражение лица дочери. И вспомнила старинный сундук, оббитый воловьей кожей, в котором до выселения берегла Библию, другие книги на немецком языке. Они вместе с сундуком достались от деда — школьного учителя и регента церковного хора поволжской немецкой колонии Бальцер. За хранение Библии Регину Яковлевну бы не похвалили, а она ещё и рассуждала о ней с дочерью, когда та была подростком. Потом, правда, прекратила это, но Якобина уже и сама заглядывала в сундук.

Сейчас, когда обе, голодные и измученные, стояли впотьмах у землянки, где ждали духота и нары, Регина Яковлевна воззвала подавленно:

— Ты не в себе? — и едва не схватила себя за голову: — Из нас жизнь уходит, а ты — о ветхозаветном...

Дочь странно спокойно кивнула, пересказала по памяти некогда прочитанное в Библии:

— И сварил Иаков кушанье, а Исав пришёл с поля усталый. И сказал Иакову: «Дай мне поесть этого красного». Иаков сказал: «Продай мне своё первородство». Исав сказал: «Я умираю, что мне в этом первородстве?» И продал первородство своё Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы: и он ел и пил... — последние слова Якобина произнесла с ноткой презрения, заключив: — И правда пример.

— Но Исав на самом-то деле не умирал! — страстно прошептала Регина Яковлевна. — Он не был в лагере, его не довели до того, до чего довели нас! И там совсем о другом: о первородстве!

Дочь возразила:

— Не о другом.

— Доченька... — мать всхлипнула, — опомнись! Сейчас не до мудростей, надо видеть то, что есть, надо выживать... — она торопливо шептала о том, что пища — это пища для тела, для ума, для духа, и если думать не о ней, а о мудростях, немудрено предсказать, чем кончится...

Пора было в землянку.

Какие жёсткие нары. Какой спёртый воздух, хоть и открыты узкие, с решётками, окна. Как тяжело дыхание спящих, которыми полна землянка. Регина Яковлевна не могла забыть сном: её поездом ело — что будет с Якобиной? Мать сравнивала себя с дочерью. Выросшая в немецкой верующей семье, Регина Яковлевна до девятнадцати лет не знала поцелуя. Дочери восемнадцать; год назад, предвоенной весной, она ходила на танцы с однокурсником. Он был русский парень, в начале войны его направили в артиллерийское училище в Ростов-на-Дону. Когда, попрощавшись с ним, Якобина пришла домой, мать спросила:

— Ты хоть с ним поцеловалась?

Девушка, густо покраснев, кивнула. Пылкой влюблённости в ней не замечалось, мать понимала: кроме поцелуев, между дочерью и парнем ничего не было.

Его не смутил пресловутый указ о выселении немцев, курсант посылал письма и в Восточный Казахстан; продолжал писать, попав на фронт. Если он жив, то, наверное, пришлёт весть и сюда, в Оренбуржье.

За Региной Яковлевной в её девятнадцать тоже ухаживал военный: младший командир Красной Армии, он, в числе других, занимался формированием воинских подразделений в Саратове. Фронт Гражданской войны становился всё менее далёким, белые заняли Хвалынский в двухстах тридцати верстах. К тому времени Регина Яковлевна, жившая в Саратове с родителями, окончила женскую гимназию и была определена советской властью учительницей в школу. Молодой командир провожал девушку после занятий до её дома, а познакомился он с нею на устроенной красноармейцами массовке, куда ей велели привести её класс.

Краском взял и статью, и лицом, происходил он из простой семьи, однако, по его словам, окончил несколько классов реального училища, что, впрочем, вполне подтверждалось его обхождением и речью. Главное же — он пел! Обладая лирико-драматическим тенором, он пленил юную учительницу арией Германа из оперы «Пиковая дама». Летним вечером у Волги, спев девушке арию в первый раз, красный командир произнёс с упоением:

— Люблю я вас, наших немцев!

В окружении товарищей, которые в ту голодную пору несли с собой муку, солонину, он явился к родителям Регины Яковлевны и попросил её руки. Отец тогда не имел работы по специальности и за скромный паёк занимался проектом обводнения засушливых местностей. Узнав о чувстве дочери к молодому человеку, он принял и то, что брак будет заключён без венчания. Три дня в квартире праздновали свадьбу, на которой немногочисленная немецкая родня держалась стеснённо, но чинно в обществе большой группы красных командиров с их громкими голосами и порывистыми жестами.

А через две недели молодой муж, отправившись на службу, не вернулся. Вместо него прикатил вестовой на подводе, забрал его вещи. Недолгое время спустя стало известно о женитьбе удачного краскома на девушке, с которой Регина Яковлевна училась в гимназии в одном классе. Девушка была тоже из немецкой семьи, и Регине Яковлевне отчётливо представлялось: вечером на берегу Волги вчерашний муж, спев новой невесте арию Германа, произносит с упоением:

— Люблю я вас, наших немцев!

Потом его не стало в Саратове: перевели в другое место службы, куда, как он сказал при разнёсших это свидетелях, он не рискнул бы взять с собой даже нелюбимую женщину, — а что говорить о любимой?

На Регине Яковлевне женился Виктор Краут, уважавший её отца молодой инженер. Она любила его — пусть без того самозабвения, которое умел разжигать в ней красный командир с его пленительным лирико-драматическим тенором. Семейная жизнь омрачилась неудачными родами: ребёнок умер. Потом появилась на свет Якобина — здоровая, крепкая. Краут, тихий, несколько замкнутый человек, утомлялся на работе, которая требовала больше и больше времени, он возвращался домой совсем поздно. И вдруг ушёл к другой женщине.

Регина Яковлевна переносила удар, ожесточённо занимая себя школьной жизнью. Ей предложили должность директора школы в Энгельсе, куда она и переехала с дочерью. Кто бы мог сказать, что им в недалёком будущем придётся месить ногами глину, спать на этих нарах или, как теперь, пытаться уснуть.

В сознании мелькали сцены прошлого, и было не отвязаться от арии Германа:

Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи,
Пусть неудачник плачет,
Пусть неудачник плачет,
Кляня, кляня свою судьбу.

Она почти ничего не рассказывала дочери о первом муже. Лишь несколько фраз: сделал предложение, она не подумала, не разобралась в себе — согласилась. Такое было время... брак длился две недели...

Солнце подсушивало только что выставленные на площадке насквозь влажные кирпичи, прокаливало, доводя до окаменения, те, которые появились тут раньше. Десятки женщин в заношенных платьях сидели у ям так, чтобы лучи не били в глаза, руками накладывали рыжеватую-бурую гущу в формовочные ящики. Регина Яковлевна посматривала на дочь, а та нет-нет бросала взгляд в степную даль под небом без единого облачка.

Пришёл озабоченный, как обычно, Кунцман, окликнул Розалию Вернер, сказал: её вызывает уполномоченный. Девушка поднялась с земли: голенастая, тонкая, она чуть сутулилась. Бригадирша, не отрываясь от работы, напомнила ей:

— Руки, ноги обмой!

Та побежала к ведру с водой, исполнила, что велено, пошла вслед за Кунцманом. На другой день была вызвана следующая... Каждый раз, когда приближался Кунцман, у Регины Яковлевны ёкало сердце, а Якобина упрямо пристально глядела на свои работающие вымазанные глиной руки.

Он подходил, никого не окликая. Его продолговатое с втянутыми щеками лицо сделалось особенно сосредоточенным, прежде чем он приблизился к Регине Яковлевне и произнёс:

— Вас и вашу дочь вызывает гражданин уполномоченный.

Якобина медленно шла к ведру и так медленно, с выражением гадливости, обмывала руки и ноги, что мать поторопилась:

— Доченька, нас ждут.

Сама покончила с мытьём, демонстративно спеша. Кунцман переминался с ноги на ногу и с видом страдания смотрел в ту сторону, где располагалась землянка ожидающего уполномоченного. Когда подошли к ней, Кунцман, очевидно, следуя инструкции, произнёс с неестественной важностью:

— Идите и не забудьте постучать! — и с занятым видом поспешно удалился.

Регина Яковлевна сошла по ступенькам, согнутыми пальцами осторожно стукнула два раза в дверь, услышала «войдите!» Ерёмин, сидя за столом, ел из миски суп; на столе стояли три котелка, один, видимо, был уже пуст, а над двумя в лучах солнца, которое било в устроенное на уровне земли окно, курился парок. Мать и дочь невольно потянули в себя воздух, немыслимо было не соглотнуть. Напротив стола стояли два табурета. Василий Матвеевич улыбнулся с лукавой приветливостью:

— Располагайтесь.

Регина Яковлевна едва не сказала «спасибо» — сробела. Обе сели, а уполномоченный доел суп, положил руки на стол, обратился к Якобине:

— Положи матери каши-то.

Девушка, потупившись, словно не слышала. Ерёмин проговорил сожалеюще:

— Нехорошо-то как... — приподнялся из-за стола, добавил уступчиво-грустно: — Да уж ладно, — взял ложку и до краёв наполнил две миски горячей рисовой кашей из котелков.

Регина Яковлевна в безраздельном бессилии онемела. Не оторвать глаз от полных мисок на краю стола и от человека по другую его сторону: землисто-жёлтая гимнастёрка с малиновыми кубиками лейтенанта на петлицах, лицо ширококато в скулах, виски сдавлены, заметны поры на носу, короткий чуб зачёсан набок.

— У меня тут таких, как ты, хороших — аж четырнадцать, — сказал он Якобине, улыбувшись, а затем помрачнев. — Я к ним, они ко мне относимся, как надо. Одна ты тут — не наша.

Мать попыталась защитить дочь, сказать, что та была активная комсомолка. Начала:

— Она...

Уполномоченный строго прервал:

— Всё, что надо, раньше нужно было говорить — и не мне, а ей! — Снова впился в Якобину изучающим взглядом, произнёс введливо: — В других есть воспитание, а в тебе — нет. Ты ведёшь себя невоспитанно — с кем? — и сам ответил на свой вопрос, как бы удивляясь: — Со мной... А я тут — закон, — проговорил с выражением некой степенной скромности. Постучав указательным пальцем по столу, усмехнулся: — Перед законом гордишься?

Мать осмелилась вставить слово:

— Она стесняется...

Ерёмин бросил ей:

— А вы-то что не едите?

От злобности в его голосе и лице она обмерла, взяла ложку, стала есть кашу из миски. А он уже был ласково-ехидный, говоря Якобине:

— Закона не стесняются. Стыдиться надо, но только не закона.

Она подняла на него умные в длинных ресницах глаза: он увидел в них то, от чего отвёл взгляд и, словно расплачиваясь за эту слабость, повернул голову, с усмешкой глядя на кровать позади себя. Потом, упираясь локтями в стол, подался к девушке:

— Давай по-хорошему, а? — обеими руками подвинул к ней миску с кашей, пальцем подтолкнул ложку: — Бери, ешь.

Она, руками натягивая на стиснутых коленях платье, сказала ему в лицо:

— По закону мне не положена ваша каша!

От неожиданности он не сообразил, как ответить, начал тонном скандала:

— Ишь, как дома обкормили тебя! Другие девушки-то не видали краковскую колбасу, не знают, что это такое. Но не пошла она тебе впрок... — глаза его сузились, к нему вернулась едкая усмешечка: — Ладно... сама придёшь.

Регина Яковлевна бесшумно положила ложку в опустевшую миску и, не узнавая своего голоса, спросила не дыша:

— Мы можем идти работать?

Ерёмин изобразил улыбку, сказал, будто поздравил:

— Обязательно!

После захода солнца Регина Яковлевна говорила с дочерью у задней, без окон, стены землянки. Прошептав:

— А мой первый муж был лучше этого Ерёмина? — стала рассказывать о красном командире.

Якобина глядела в степную даль, которая медленно мутнела под темнеющим небом. После знойного дня было всё ещё душно, от нужника без двери, расположенного в тридцати шагах, пованивало.

Мать в своём рассказе дошла до арии Германа, произнесла:

— Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи...

Дочь сказала:

— Вот ты и сама обратилась к мудростям.

Регине Яковлевне резко не понравилась ирония.

— Над чем тут насмешничать? Я тебе о твоём положении говорю! Между ним и библейскими притчами разница, как... — она искала слова.

— Как между чечевичной похлёбкой и рисовой кашей, — сказала за неё девушка.

Мать тихо охнула. Удержалась от возгласа: «Чем твоя голова набита?» Подумала о времени — таком далёком и, как кажется теперь, безмятежном, — когда вместе с дочерью раскрывала книги из сундука, оббитого воловьей кожей. Некоторые из них были переведены на русский язык, в советских учебных заведениях с патетикой произносилось: «Буря и натиск». Так звалось литературное движение в Германии последней трети XVIII века. Произведения писателей «Бури и натиска» звали к борьбе с деспотизмом, подавлявшим свободу и при феодализме, и при капитализме, с которым покончили трудящиеся Страны Советов.

Отвечая своим мыслям, Регина Яковлевна прошептала:

— Если бы Гёте попал сюда, сказал бы он... — она умолкла, и дочь опять договорила за неё:

— Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой.

— Но сегодня, здесь, — это какая-то фальшивая театральщина! — простонала мать. — Это к твоему положению относится так же, как чечевица, первородство...

— Относится, но ты меня не слушаешь.

— Слушаю, слушаю...

— Мама, я — немка! — произнесла Якобина.

Регина Яковлевна испугалась того, что она ещё может сказать, прошептала:

— Успокойся! — поглядела по сторонам.

Вблизи никого не было. Мать и дочь ждали нары и ранний подъём.

День за днём лагерницы поднимались из землянки, шли с ведрами к цистерне за водой, нарезали солому, лили воду в ямы в перемешанные глину и песок и, приподнимая подолы, ритмично погружали ноги в месиво. Потом усаживались, ручками загребали смешанное с соломой тесто для самана. Вставшее солнце становилось всё злее, лучи опаляли травы раскинувшейся степи, нещаднее обжигали шеи, лица женщин, накаляли кирпич-сырец, ранее во множестве выставленный на площадке, подсушивали влажные изделия, которые добавлялись и добавлялись.

Подошедший походкой занятого человека Кунцман окликнул:

— Краут Якобина!

Регина Яковлевна, привставая, отняла руки от формовочного ящика. Кунцман устало — словно повторяя в который раз — сказал ей:

— Вас не вызывают. Только её.

И повернулся к Якобине. Она стояла перед ним: рослая густобровая шатенка с умными глазами в длинных, почти чёрных ресницах. Красивая, исхудалая, платье обвисало на ней. Держась сбоку, он проводил её к ведру с водой, затем впереди неё заспешил к землянке оперуполномоченного. У матери ушла сила из рук, они едва вдавливали глину в форму.

Девушка довольно скоро возвратилась — отвечала на взгляды мрачным вызывающим взглядом. Мать чуть было не рванулась к ней, и бригадирша, которая сама зорко посмотрела на Якобину, напомнила Регине Яковлевне:

— Работа стоит!

Когда после донёсшегося сигнала все пошли к кухне, Якобина на ходу шепнула матери:

— Не было ничего.

Та не знала, обрадоваться или нет, на сердце скребли кошки. Поистине было мукой — работая, ждать позднего вечера, когда можно будет расспрашивать дочь у задней стены землянки. Наконец обе остановились тут в лениво оседающих на степь сумерках, и девушка через силу сказала:

— Опять предлагал свою кашу, я отказалась. Он встал, подошёл, и я встала. Он положил мне руку на бедро — я её отбросила. Думаю: если обхватит, я его изо всех сил толкну.

Якобина замолчала, и мать не выдержала:

— О-ой, дочка!.. и что?

Девушка смотрела под ноги:

— Больше не полез. Только смотрел. Потом сказал: «Если так, то так!»

— Как, как он сказал? — переспросила Регина Яковлевна.

— Если так, то так! — повторила Якобина слова Ерёмкина, добавила: — Я спросила — можно идти? И он на дверь махнул рукой. Я ушла.

Обе молчали, стоя в густеющем сумраке. Мать прошептала:

— Он не успокоится, природа такими создала мужчин. Он тут хозяин, — и поглядела по сторонам.

Якобина показала рукой:

— Вон там я утром видела норку мышки. Солнце осветило норку и в ней — мордочку. Мышка умывалась под лучами. Я подумала: она в своём домике проснулась по своей воле — свободная. Её встретило солнце, она умоется и пойдёт за пропитанием... может, через минуту её схватит птица или зверёк — она об этом не думает, она рада жизни, у неё свой уютный домик.

Регина Яковлевна с томительной тяжестью на душе произнесла:

— Ты ухитрилась не повзрослеть.

Девушка, не отвечая, постояла минуту, пошла в землянку.

Дни были как один и тот же день, который наполнился солнечным светом и, неизмеримо жаркий, муторный, проползал, чтобы начаться снова. Как обычно, лагерницы ходили за водой. Цистерна, поодаль от неё — бочки из-под солёной капусты, телеги, на которых привозят солому. Якобина наполнила ведро водой и, когда отошла шагов на двадцать, позади раздалось:

— А ну-у!

Она обернулась — у цистерны стоял Ерёмин. Наплечные ремни поверх гимнастёрки, на одном боку — кобура, на другом — офицерский кожаный планшет. Рядом стоял ординарец.

— Сюда-а! — зычно крикнул оперуполномоченный.

К нему стали подбегать солдаты, прибежал Кунцман. Ерёмин указал рукой на кран — из него струилась вода, тонкая струйка посверкивала на солнце.

— Она кран не закрутила! — объявил уполномоченный, вытянул руку в сторону Якобины: — Подойди!

Девушка опустила ведро наземь, приблизилась.

— Я завернула кран, как положено! Вода не текла! — голос дрожал от тревоги и возмущения.

У цистерны собирался лагерный народ. Ерёмин движением руки приглашал поглядеть на текущую из крана струйку, затем закрыл его, показал на пустые бочки, телеги:

— Я сзади стоял и наблюдал за ней. Это она уже во второй раз. Вчера её вот он засёк, — опер кивнул на ординарца, — и мне доложил. У меня записано... — уполномоченный расстегнул планшет, достал тетрадку, раскрыл: — Точное время указано, стоит подпись свидетеля. Сейчас и это запишем, — вынул из планшета карандаш, деловито закинул ногу в сапоге на колесо цистерны, положил на колено планшет, на него — тетрадку, сделал запись, расписался и протянул карандаш ординарцу: — И ты распишись!

Тот, наклонившись, поставил подпись, в то время как Якобина отчаянно повторяла, мотая головой:

— Нет! нет! И вчера, и сегодня я завернула кран!

Опер шагнул к ней и громко, чтобы слышали другие, заявил:

— Ты — дочь вредителя! А яблок от яблони недалеко падает. — Расстегнул кобуру, положил на неё руку, с холодной яростью бросил девушке: — Иди за мной!

Направился к землянке, которая служила карцером. Якобину заперли в ней, у входа встал часовой с винтовкой.

Регина Яковлевна, подкошенная известием, подошла к бригадирше, взмолилась, чтобы та передала Ерёмину просьбу познакомиться с дочерью. Бригадирша молча ушла, а возвратившись, сказала:

— Нет, не разрешает!

После обеда, под наблюдением оперуполномоченного, Якобину вывели из карцера, приказали взобраться в кузов грузовика. Там же уселись два солдата с винтовками. Ерёмин вручил шофёру пакет, и грузовик покати по степи к железнодорожной станции, откуда в лагерь доставлялись грузы и где располагался оперативный пункт НКВД. На другой день машина вернулась с двумя солдатами, с горючим, солью, ржаной мукой.

Мишло несколько дней. Шофёр грузовика, возвратившегося после очередного рейса на станцию, держа в руке пакет, пошёл в землянку оперуполномоченного, через пять минут туда был вызван Кунцман. Вскоре он выбежал из землянки, чтобы созвать всех лагерников на собрание.

К людям, стоявшим толпой на голом пространстве в середине лагеря, уполномоченный подошёл с листками бумаги. Расставив ноги в хромовых сапогах, начал громко:

— Разоблачённый враг Краут, — он посмотрел в листок, прочитал: — Якобина Викторевна... — и продолжил: — делаю, чтобы вам всем меньше доставалось воды. Её и так не хватает, вы все хотите пить, а она пускала воду на землю. — Ерёмин окинул толпу цепким взглядом и объявил с торжественно-гневной нотой: — Дочь осуждённого вредителя диверсанта Краут по приговору Особого совещания расстреляна!

Толпа оцепенело молчала, у Регины Яковлевны голова упала на грудь. Опять зазвучал исполненный удовлетворения голос Ерёмина, он, как наизадание, читал по бумаге о том, что 17 октября 1941 года постановлением Государственного комитета обороны Особому совещанию НКВД было предоставлено право выносить приговоры вплоть до смертной казни по делам о контрреволюционных преступлениях против порядка управления СССР, предусмотренных статьями 58 и 59 Уголовного кодекса РСФСР. Решения Особого совещания были окончательны.

Окончив чтение, проглядев листки, оперуполномоченный распорядился продолжать работу. Регина Яковлевна в обмороке лежала на земле, и он велел Кунцману:

— Полкружки воды разрешаю взять — побрызгайте ей в лицо!

Женщину привели в себя, и она была возвращена в лагерную жизнь. Тут, подумает читатель, можно бы и поставить точку, но, оказывается, ставить её ещё рано.

13 декабря 1955 года вышел Указ «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». К тому времени немало людей, которые были

в описанном лагере, также и Регина Яковлевна Краут, оказались в Бугуруслане. Точнее: в посёлке Александровка при станции Бугуруслан, откуда до собственно города было три километра.

Чувствовалась хрущёвская так называемая «оттепель», после XX съезда стали говорить о «необоснованно репрессированных». Их родственники отправляли в Москву просьбы о пересмотре дел на предмет реабилитации. Мой отец Алексей Филиппович Гергенредер, учитель средней школы N 12, бывший трудармеец, помогал писать такие прошения. Он знал учительницу Регину Яковлевну Краут и, как многие, слышал о судьбе её дочери Якобины. Он предложил начать ходатайствовать о её реабилитации. Регина Яковлевна, одиноко жившая в коммунальной квартире, растрогалась, поблагодарила и отказалась. Моего отца она уважала, причину отказа следовало назвать. И Регина Яковлевна рассказала о своей жизни, о дочери, подробно передала всё то, что происходило в лагере...

И объяснила: почти все тогдашние девушки — Анна Окст, Розалия Вернер, другие побывавшие в землянке Ерёмина — живут в Бугуруслане, у них мужья, дети.хлопоты о реабилитации Якобины могут привести к вопросу о свидетельских показаниях и вообще приведут к той огласке, которая этим женщинам, устроившим свою жизнь, никак не нужна. Жизнь самой Регины Яковлевны наверняка осложнится. Одна из женщин занимает должность не из мелких в торговой сети, другая — старший бухгалтер мясокомбината, третья — секретарь директора леспромхоза.

Регина Яковлевна поведала моему отцу ещё кое о чём: Ерёмин ныне — вахтёр бугурусланского горисполкома. Видимо, хрущёвские времена сказались на карьере этого человека в органах. И вот что добавила учительница: ей не раз говорили, что некоторые из тех, кто девушками знали его в лагере, заходя по делу в горисполком, приветствуют Василия Матвеевича как старого доброго знакомого и даже позволяют поцеловать себя в щёчку.

Потом мой отец неоднократно слышал подтверждения, однажды ему рассказали о пикантной сцене. Некая дама — из тех самых тогдашних девушек — стала дружна с самым влиятельным в городе лицом, благодаря чему поменяла свою и мужа немецкую фамилию на русскую, соответственно была изменена в паспорте и запись о её национальности. После очередного служебного повышения дама вошла в горисполком, навстречу ей заспешил, просяив, вахтёр Ерёмин и воскликнул:

— Поздравляю! Во какая ты стала!

Ему протянули руку, которую он бережно взял обеими руками, и ему была подставлена щёчка для поцелуя.

Мой отец дома нередко вслух размышлял об этом. Мне было тринадцать, я участвовал в шахматном турнире, который проходил в городском доме пионеров, а отцу по делам понадобилось

в горисполком, располагавшийся рядом. Мы вместе поехали в город на автобусе. Отец сказал мне, что я зайду с ним в учреждение и подожду в вестибюле.

Вестибюль оканчивался входом в коридор, куда вели три ступени, перед ними сбоку стоял стул. От окна к нему направлялся мужчина в серой приталенной, похожей на мундир куртке без пояса, в галифе, в сапогах. Он поглядел на нас с отцом и сел на стул. Я запомнил широкую, ото лба, лысину. Это был бывший оперуполномоченный НКВД середины 60-х.

Отец, который чего только не повидал, говорил мне, повзрослевшему:

— Я знаю, какова женская доля в лагере, к девчонкам не может быть упрёка — их принудили. Но зачем теперь-то с ним любезничать?

Как-то раз он стал задумчиво напевать арию Германа:

Так бросьте же борьбу,
Ловите миг удачи...

Он вспоминал то, что рассказывала Регина Яковлевна. Люди, говорила она, сочувствуют ей, хотя прямо не упоминают о её страшном горе. Она, однако, знает: есть те, кто утверждает: Якобина в самом деле не закрывала до конца кран, пуская воду на землю.

Говоря это, рассказывал мой отец, Регина Яковлевна пытливо всматривалась ему в глаза. Он ответил, что Якобина не могла поступать так бессмысленно. Она себя отстояла, а если думала, что уполномоченный не оставит домогательств, то чем ей помог бы незакрытый кран? Для Ерёмкина воды всегда было бы столько, сколько ему нужно.

Регина Яковлевна согласилась, помолчала и прошептала о том, как дочь произнесла: «Мама, я — немка!» Загнанная в лагерь из-за того, что она немка, она произнесла свои слова после строк Гёте о свободе, за которую нужно идти на бой. Уже за одно это, сказала мать со слезами, её могли расстрелять. Мой отец не нашёл тут преувеличения.

В этой связи через много лет в Германии мне довелось услышать кое-что.

В 1994 году переехав в Германию, я познакомился с коренными немцами, которых объединял в компанию интерес к литературе, удовлетворявшийся на регулярных встречах в берлинском кафе. Их участники имели схожие взгляды: осуждались расизм во всех его проявлениях, авторитаризм, сталинизм. Коренные немцы привыкли к рассказам российских немцев об их страданиях в СССР при Сталине, и, когда я начал рассказывать о судьбе Якобины Краут, меня слушали без удив-

ления. Впрочем, замечалось сочувствие к девушке. Я дошёл до её фразы: «Мама, я — немка!» — и тут лица слушателей выглядели нечто одинаковое, на меня пахло отнюдь не теплом.

Я окончил рассказ объявлением уполномоченного НКВД о расстреле Якобины — тотчас же раздалось:

— Она произнесла «Я — немка!», когда господствовал Гитлер. Девушка была заражена идеологией нацизма.

Об идеологии нацизма, возразил я, она знала лишь то, что, в своей интерпретации, подавала советская пропаганда. Якобина была комсомолкой. И наедине с матерью она произнесла свои слова там, где за то, что она немка, её отправили в лагерь.

На это мне сказали:

— В то время народы Советского Союза приносили огромные жертвы в войне с нацизмом! А эта девушка с её гордой фразой нашла бы своё место в одном из фильмов, которые делались в Бабельсберге под руководством Геббельса.

Я стал объяснять, что не надо путать две разные действительности. Якобина соотносила свои слова не с нацистской идеологией, а с идеями драматургов и писателей «Бури и натиска», которые были немцами, соотносила со строкой Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой».

— Ах, вот как! — один из слушателей сопроводил возглас усмешкой, которую подхватила вся компания. — Со словами Гёте поднимались на борьбу за свободу люди разных рас и национальностей, и при этом никому из них не приходила мысль, что немцы должны гордиться тем, что они — немцы.

Сказавший это был уверен, что знает, какие мысли приходили борющимся за свободу.

Меня спросили, какие у меня основания утверждать, что Якобина действительно не выпускала воду из цистерны на землю. Я объяснял: разве же не очевидно, что из мести на неё возвёл обвинение вселильный уполномоченный НКВД?

— Но, — сказали мне, — был и свидетель: простой солдат.

— Простой солдат, ординарец, сделал то, чего от него хотел его начальник-энкавдешник, — ответил я.

Мне заявили:

— Как легко вы лишаете простого солдата чести и совести.

Словом, я — как принято говорить — не нашёл путь к душам слушателей. Они сошлись в том, что оставяла Якобина кран незакрытым или нет, она была — округлил общий вывод авторитетный участник дискуссии — «не на стороне советских людей». Посему не надо представлять её невинной жертвой, а уж тем паче — героиней.

Меня стало донимать: не скажи я об этой злосчастной фразе «Мама, я — немка!» — всё было бы иначе. И теперь, го-

товясь предложить в журнал эту историю, изменив фамилии её участников, я колебался: не сделать ли маленькое сокращение. Возможно, его всё-таки стоило сделать? Но я подумал, что если история с чечевичной похлёбкой не забудется никогда, если кто-то будет вспоминать варианты сюжета, скажем, с кашей, то историю с рисовой кашей, с фразой «Мама, я — немка!» и с тем, чем кончилось, может, уже позабыли.



Генрих РАН

/ Висбаден /

Родился в 1943 году на Украине. После войны семья была сослана в Костромскую область. В 1957 году переехал в Казахстан, в город Щучинск. Работал инженером-строителем. В 1999 окончил двухгодичную писательскую академию имени А. Андерсона в Гамбурге. В 2008 вышел в свет первый роман «Der Jukagire» («Юкагир»). В 2011 издан второй роман «Aufzug Süd-Nord» («Лифт Юг-Север»). Член Литературного общества немцев из России, а также член National Geographic Society (американское географическое общество с отделением в Гамбурге).

КРЕАТУРА

В этой безлюдной местности он находился в первый раз. Во все стороны она уходила в бесконечные дали. Там, где он стоял, земля слегка возвышалась. У подножия холма искрилась поверхность большого солёного озера, зелёно-красная вода которого образовывала маленькие беззвучные волны, что накатывались на ровный песчаный грунт мелководья и исчезали. Вода и плоский песчаный берег давили на сознание безжизненностью и тишиной. Не видно никакой водной растительности, чаек, а в воде, скорее всего, нет никаких рыб и прочей живности водного мира. Совершенно чистый песчаный берег и мелководье озера похожи на края круглой тарелки с водой. Плоские спуски мелких холмов вокруг озера покрыты жёлтой высохшей травой. Только изредка на жёлтом фоне виднелись тёмно-красные, с острыми краями железорудные окаменелости. Не видно ни одной дорожки или тропинки. В общем, он здесь, кажется, был единственным живым существом во всей видимой округе. Ему стало тревожно и даже страшно. Он уже не знал, откуда пришёл сюда и куда должен был идти. Наверное, он заблудился. Далёкий горизонт образовывал лиловый круг и невозможно было на чём-то остановить взгляд. Перед ним, насколько хватало глаз, лежала слегка волнистая желто-коричневая каменная полупустыня...

Подавленный ощущением, что здесь ничего живого, кроме него, нет, он должен был убеждать себя, что он сам действительно находится здесь и что это не сон... Он смотрел на себя и не узнавал. Удивляясь, он вытягивал руки и ноги, но видел только переднюю часть тела. Тогда он попробовал повернуть голову назад, но кроме плеч ничего не увидел. Это обеспокоило его. Ещё ужаснее было то, что он не мог видеть свою голову. Только расплывающимися контурами виднелись кончик носа и верхняя губа — и больше ничего.

Как, растерянно думал он, важнейшее из моего существа — голова, остаётся для меня невидимой. Из чего я вообще смотрю? Мне кажется — из ничего! Это ужасное открытие выстрелом пронизало его воспалённый мозг, так что он почти потерял сознание. Весь дрожа, он сел на камень и лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Ему страшно захотелось увидеть себя целиком, любым способом.

И тут мозг пронзила мысль, и он чуть не закричал: зеркало, только зеркало может мне помочь! Как он мог это забыть? Но где это зеркало? Он лихорадочно прощупал все карманы, но тщетно. Он его забыл! И тут он подумал, что вода может отразить его образ. Туда, скорее туда! Возбуждённый от нетерпения, он шагнул к воде и взглянул в её матовую зеркальную поверхность...

То, что он там увидел, должно было быть его изображением, но он не узнавал себя. Тёмная, чужая стать мерцала в мёртвой воде. Но как он мог бы себя узнать в этом изображении, если совершенно забыл, как выглядел раньше. Те немногие фото, которые с него снимали, он практически не помнил, а в зеркало тоже глядел очень редко. Растерянно он ощупывал рукой своё лицо и другие части тела, которые не видел. Но это помогало мало. Напротив, он всё более ощущал себя несуществующим, абстрактным существом...

Совершенно обессиленный и бесконечно уставший, он медленно отдалился от неподвижного зеркала воды мёртвого озера. Редкое ощущение безразличия овладело им, и он медленными шагами опустился к земле и, лёжа на спине, уставился в безоблачное небо...

Сколько времени он в полубеспамятом так лежал, ему не было известно. Очнувшись от какого-то металлического звука. Он приподнялся и огляделся вокруг. Казалось, что ничего не изменилось. Только редкие шорохи слышались с другой стороны близкого холма. Нерешительно он двинулся в сторону шорохов и тут же инстинктивно оттянулся назад...

Масса изуродованных блестящих деталей неизвестного механизма лежала на мёртвом грунте. Отсюда и шли эти звуки. Он осторожно придвинулся к скрипящим звукам, чтобы получше разглядеть эти странные детали.

Он взял в руки изуродованный кусок и, не ощутив никакого веса, тут же бросил его. Но кусок детали не упал на землю подобно камню, а полетел в воздух напоподобие птичьего пера. Он пой-

мал парящую в воздухе странную деталь и попытался её согнуть, но никакими усилиями это не удавалось. Деталь оказалась невероятно твёрдой, так что нож не оставлял на её поверхности ни малейшей царапины. Удивлённый, он отложил эту странную штуку в сторону. «Что же это такое?» — спрашивал он себя. С удивлением он взглянул на кучу таких странных вещей и подумал, что это всё сущее. Но тогда, рассудил он, если самого себя нельзя зримо воспринять, как тогда утверждать, что перед ним не может быть такого, чего нельзя увидеть...

Он ещё раз сконцентрировал свой взгляд на куче хаотически нагромождённых редких деталей, и тут почувствовал чуть заметное дуновение на своём лице. И тогда, хотя он ничего не увидел, для него потихоньку прояснилось, что он имеет дело с неизвестным живым существом, загадочной креатурой, которая не отделяется от окружающего пространства и поэтому не видна. Она просто существует везде, во всём окружающем мире, и в его абстрактном сознании тоже находится давно...

И как он узнавал это абстрактное существо? Только по тому ощущению, что оно действительно находилось в нём самом и во всём окружающем пространстве. Поэтому он не удивился, когда неожиданно эти серебристо сверкающие детали бесследно исчезли. Он воспринял это само собой разумеющимся, потому что креатура незаметно вдунула в него эту мысль: эти металлические обломки были только частями Всего Сущего и могли быть то невидимыми, то снова появиться...

В сумерках на горизонте вспыхнул свет. Он спонтанно двинулся в этом направлении. Постепенно он исчезал как видимый объект. Креатура приняла его в свою бесконечность...

ЧЕК-ЧЕК

Однажды он отправился на охоту особенно далеко и уже пересекал широкую, плоскую как стол, степь. Вдали у горизонта виднелось каменное плато, где он никогда не был. Лиловые гранитные плиты лежали вплотную друг к другу и образовали гигантскую каменную плоскость, которая тянулась до самого горизонта и уходила за него. Между каменных плит росли колючие ростки вереска, полевого тимьяна и отдельных жёлтых травинок. Станным образом неподвижные облака зеркально отображали земной ландшафт под ними. И эти облачные плиты висели низко над землёй и спрессовывали воздух всё плотнее и плотнее. Охотник наблюдал за всё сужающимся просветом между зеркальными изображениями и не обнаруживал здесь ничего живого. Казалось, здесь всё вымерло. И вдруг он услышал какие-то ритмично повторяющиеся шорохи. Вокруг посылались странные звуки: «чек, чек, чек, чек...». Однако ничего живого вокруг не обнаружи-

валось взглядом. Охотник обследовал каждый камень, каждый кустик. И вдруг из кустика выскочило крохотное существо. Чёрно-белой молнией зверёк дёрнулся зигзагом и исчез в норке. Потом он в другом месте выскакивал из норки и, не переставая, «чекал» свою странную и тревожную трель. Охотник погнался за ним, но зверёк был куда ловчее и хитрее. Тогда он пару раз выстрелил, но не попал. А мелькающий зверёк кричал всё громче и чаще, и с каждым выстрелом всё приближался к охотнику, а небо угрожающе опускалось всё ниже, и вскоре неудачливый охотник заметил, что воздушный слой над ним опасно сужается и грозит его раздавить... В голове стучало молотком. Две плоскости всё сближались и давили на его темя и ноги, и грозили раздавить его, а гранитные плиты вращались, как сцепленные зубчатые колёса. А вокруг и в нём самом всё «чекало» и «чекало»... Из последних сил и в последнюю минуту охотник вырвался из сжимающихся плоскостей каменных плит, которые уже за ним ударом схлопнулись. С ужасом он оглянулся назад. Там тихо и неотвратимо поднималась глухая лиловая стена...

Потрясённый охотник покинул это странное и страшное место, чтобы никогда не вернуться в землю, где живёт магический «чек-чек».

Перевод с немецкого Егора Гамма¹

¹ Писатель, переводчик. Родился в 1937 году в маленьком рабочем посёлке (Полудино, Петропавловская обл.) в Северном Казахстане, где отец отбывал поселение после Архангельского и затем Карагандинского лагерей ГУЛАГа. С 1990 года живёт в Германии. В 2000 году в Московском издательстве на русском языке опубликован его перевод романа «Момо» современного классика немецкой литературы Михаэля Энде. В издательстве «Алетейя» (С.-Петебург) вышли в свет его книги: «Туринская плащаница» (2007), «Отпускные заметки» (2008), «Об историчности и научности христианства» (1-й том, 2008) и «Письма другу» (2009).



Виктор ГЕЙНЦ

/ Гёттинген /

Поэт, драматург. Автор десяти книг, в том числе исторической трилогии «На волнах истории». Родился в Омской области в 1937 г. Учился в Новосибирске. Занимался исследованием немецких диалектов в Сибири. Работал зав. кафедрой ин. языков в пед. институте г. Петропавловска, литературным редактором еженедельника «Deutsche Allgemeine» (Алма-Ата). В 1992 г. эмигрировал в Германию. Живёт в Гёттингене.

ПОСЛЕДНЯЯ БУХАНКА

Приехав в село, я прежде всего зашёл, конечно, к родителям. Отцовские улыбки пахли детством. Чёрные бусинки паслёна напоминали о скудных радостях ранних лет.

С тех пор прошло немало времени. Голова отца покрыта инеем, лицо матери испещрено морщинками. Да и на моих висках уже прибавляется седина.

И вот я иду в школу. Захожу сюда каждый раз, когда бываю в селе. Хотя бы на минуту.

Старого здания школы уже нет. На её месте стоит новая трёхэтажка со светлыми большими окнами. Учителя тоже все новые и вряд ли меня узнают. Не говоря о школьниках: для них я чужой дядя. Да и я уже никого не знаю.

Что это за девчушка? Белокурая кудрявая головка с сияющими глазками... Она наверняка из семьи Швабауэров. В моём классе училась Ида Швабауэр, и я был в неё тайно влюблён. Этот цыплёнок похож на неё, как две капли воды. Прямо не верится.

А вон тот мальчик с рыжими непослушными вихрами, очевидно, из семьи Кайзеров. Эту фамилию трудно забыть. Петер Кайзер был вожаком в нашем классе.

А этот, наверное, Серёги Пархоменко сынишка. Те же чёртики в глазах.

Ну, а вон тот, без всякого сомнения, второй Амантай.

— Как тебя зовут, малыш?

— Амантай.

— А отца?

— Тоже Амантай.

Пацан показывает в сторону березнячка.

— Там, на краю села, живу.

— А братья, сёстры есть?

— Четыре брата и пять сестёр.

Я иду по длинному коридору и заглядываю в открытые двери. В одной из просторных комнат стоят кровати, покрытые свежими простынями, где дети могут отдохнуть после обеда. Легко сейчас родителям!

В столовой детишки как раз уничтожают булочки с молоком. Веснушчатый пострелёнок торопливо выпил молоко, бросил кусок недоеденной булки на столик и стремглав бежит к выходу. На ходу подмигивает мне дерзкими глазами, сморщив нос. Хлеб остался лежать на столе. Никому не нужный. Хлеб...

Подхожу к окну, выходящему на школьный двор. Мальчик мчится по двору, а перед моим взором возникает другая картина сорокалетней давности.

Холодный зимний день. Метель. По узкой заснеженной улице идёт мальчишка. На нём фуфайка не по росту, болтающаяся на узеньких плечах. В огромных подшитых валенках он, спотыкаясь, перебирается через сугробы, загородившие улицу. Этот мальчик — я.

В классе немного теплее, чем на дворе. Но я боюсь зайти в класс. Не потому, что не решил задачу по математике. Я знаю, что мне попадёт от Эллы Александровны, но это не самое страшное. В классе меня ждуг товарищи, которым я обещал принести большой кусок хлеба.

Мы, мальчишки, обязательно приходили в школу пораньше, чтобы съесть наш завтрак вместе. Сначала складываем принесённый хлеб на учительский стол. После этого всё делится по-братски. Поровну. По справедливости. По росту. Каждый приносил, сколько мог. Случалось, сегодня ты принёс хороший ломоть, а назавтра — ни крошки.

Моя порция была всегда одинаковая. Никакие уговоры и просьбы не помогали. «Ты не один, — говорила бабушка, — вон ещё два рта, они тоже есть хотят».

У некоторых учеников это вызывало недовольство. Мой ломоть был всегда очень мал. Ну, что я мог поделат, когда у бабушки была раз и навсегда установленная мера: три пальца в ширину, два пальца толщиной и на один вытянутый палец в длину.

Я бочком пролез в полуоткрытую дверь и хотел прошмыгнуть к своей парте, но Петер Кайзер, сидевший за столом учителя, ухмыляясь, подозвал меня. Я вытащил свой жалкий кусочек хлеба из портфеля и положил на стол. Мой ломоть был не только

меньше большинства других, но и значительно отличался тёмным цветом. Подмешанные к тесту кусочки картофеля предательски выглядывали из него. Кайзер снова ухмыльнулся и презрительно глянул на меня. Класс расхохотался. Один даже катался по парте, визжал и топал ногами. Это был малыш Ганс, как мы звали вездесущего Штайнбрехера.

Кайзер призвал к тишине. Его все побаивались. Даже Штайнбрехер. У вожака была прямо-таки военная выправка: спокойный и уверенный тон и волосы ёжиком, что всем нравилось. Чувствуя, что вот-вот зареву, я, пристыженный, поплёлся к своей парте.

В этот миг в дверях появился Серёга Пархоменко. Он молча оглядел всех и задвигал ушами. Делал он это артистически. Так он всех приветствовал. В классе снова заржали. Серёга был мастер смешить. Покажи он только палец, и все смеются. Он плюхнулся на первую парту, бросил портфель на стол, не торопясь открыл замок и, прищурившись, заглянул внутрь, таинственно шепча:

— Сумка, сумка, шо у тэбэ е? — и тут же отвечал. — А-а, пышка!

И двумя пальцами, словно боясь обжечься, он выуживал из сумки полпышки и под общий радостный шум клал её на стол.

Последним пришёл Амантай и добавил свой обычный табанан, казахскую лепёшку.

Можно было начинать делёж. Мне возвратили мой чёрный кусочек и, кроме того, выделили ломоть Амантаевой лепёшки.

С хлебом расправились быстро. Когда в класс вошла Элла Александровна, на столе не было ни крошки.

Учительница вызвала меня первым, как будто знала, что я не решил задачу. Конечно, я пытался решить её, но вчера мне было явно не до уроков. Вечером отделилась наша корова, и я бегал за дядей Муканом. Он пришёл быстро, хоть и прихрамывал, и довольно долго пробыл в хлеву. Затем он на руках внёс в избу маленького, всего в слизи, телёнка и положил в углу на подстилку, как раз около моей постели. Я и Роберт уселись на залатанный матрас и весь вечер с интересом наблюдали за неуклюжими движениями телёнка, который едва стоял на тоненьких ножках. Но бабушка вскоре потушила керосиновую лампу и приказала спать.

Элла Александровна ожидала у доски. Я встал и, не собираясь выходить, начал переминаться с ноги на ногу. Учительница терпеливо ждала.

— В чём дело, Вили? — спросила, наконец, она.

Я ещё немного помялся и ляпнул:

— Не хочу отвечать урок.

Элла Александровна такого ответа не ждала. По рядам прошёл шепоток, кто-то прыснул. Опять маленький Штайнбрехер. Петер Кайзер, сидевший за ним, дал ему затрещину. Малыш фыркнул, но промолчал.

Элла Александровна оставила меня в покое — на следующих уроках не вызывала, даже не обращала на меня внимания. Лишь в конце занятий оставила не несколько минут и спросила, почему я не выполнил уроки.

— Не смог решить задачу.

— Пришёл бы ко мне.

— А я болен был, — солгал я.

Она положила мне руку на лоб. Рука была тёплой. Мне стало хорошо. Так делала мама, когда была ещё дома. Элла Александровна задумчиво покачала головой и отпустила меня.

Вечером учительница зашла к нам домой. Я ожидал самого худшего, но она помогла мне сделать уроки и даже кое-что по хозяйству. Потом ушла, даже не пожаловавшись бабушке.

Ночью я долго не мог уснуть. И уснул, лишь окончательно решившись выполнить план, что наметил на завтра.

Утром я встал раньше обычного, за что бабушка похвалила меня. Похвалу я принял молча и равнодушно. Без слов забрал свою ежедневную порцию хлеба. А как только захлопнул за собою дверь, тихо проник в маленькую кладовку и ощупью нашёл квашню. Я точно знал, где она стоит, и мог обойтись без света. Я был уверен, что там ещё лежало несколько хлебов. Вряд ли бабушка заметит, если одна буханка исчезнет.

Я сунул руку под плотную мешковину, которой была накрыта квашня, и почти сразу нащупал гладкую корку круглой булки. Спрятал буханку под фуфайку и шмыгнул во двор.

На улице было морозно, но рука не чувствовала холода. Хлеб казался горячим. Пальцы ощущали крошечные горячие угли на корке хлеба — его сажали прямо на угли в печку. Однако мне некогда было обращать внимание на эти мелочи.

На полном ходу я, как танк, ворвался в класс и торжествующе шмякнул буханку на стол. Все от удивления раскрыли рты. Я был героем дня. Против моей буханки остальные приношения выглядели жалкими крохами. Меня осыпали похвалами, и я буквально купался в льстивых словах одноклассников.

Хлеб быстро разделили, и все задвигали челюстями, как кролики.

— Сегодня мы можем, наконец-то, набить животы, — подавал голос малыш Ганс.

— Смотри, чтоб не прохватило, — заметил кто-то.

Все рассмеялись. Я был на седьмом небе. День был полон света.

А дома собиралась гроза. Уже во дворе я услышал, как ругалась и стонала бабушка.

— Господи, да кто же это мог унести хлеб? Ума не приложу.

Я ещё не успел закрыть за собой дверь, как бабушка, будто кнутом, ударила меня вопросом.

— Может, ты знаешь, куда делась буханка из квашни?

Я покачал головой. Это её доконало. Она побледнела, опустилась на стул и заголосила:

— Боже правый! Чем я вас буду теперь кормить? Последняя буханочка пропала. Это же на два дня, пока соберу на новую выпечку. Ну, скажите мне, ради Бога, кто это сделал? Не Мукан же, он всегда приносит что-нибудь. Или Элла Александровна...

Едва произнесла она это имя, я вскочил со стула и закричал: «Нет! Нет!»

Бабушка удивлённо взглянула на меня.

— Что «нет»? — спросила она и внимательно посмотрела мне в глаза.

— Только не... Элла Александровна.

Я уже понял, что выдал себя, и был готов теперь ко всему. Бабушка встала и медленно пошла ко мне, и у меня зардели уши в ожидании неминуемой трёпки. Я закрыл их руками.

В эту секунду открылась дверь, и на пороге появился наш сосед Мукан. В руках он держал плоскую тарелку, на которой лежали три только что испечённых таба-нан. Он поздоровался и поставил тарелку на стол. Бабушка оставила меня и вопрошающе посмотрела на Мукана.

— Мальши есть хотят, — сказал он. — Я принёс... мало-мало тамак.

Затем он направил свой взгляд на меня, и взгляд его узких глаз был острее ножа. Мне стало ясно, что старик уже знает о моей проделке. Амантай выболтал. Об этом я не подумал. И вот я загнан в угол.

Но глаза Мукана против ожидания стали вдруг приветливыми. Он подошёл ко мне и, улыбаясь, положил руку на голову.

— Билле, Билле (так называл он меня), так делай нельзя, — сказал он, — цап-царап болмайды. Нехорошо. Жаман.

Бабушка, молчавшая до сих пор, собралась опять с силами и спросила:

— Скажи, ради Бога, Вили, кому ты отдал последнюю буханку?

— В класс отнёс... — промямлил я. — Я не знал, что это последняя...

Больше я говорить не мог: в горле застрял ком и на глазах выступили слёзы.

Перевод с нем. Р. Вайнбергера

Сергей МИЛЛЕР

/ Зезенхаузен /



Публицист, историк литературы. Родился в Северном Казахстане. Закончил пединститут и университет. Преподавал, занимался научно-исследовательской деятельностью по истории Северного Казахстана, Сибири, Урала. С 1990 года — научный сотрудник Национальной Академии Наук РК. С 1993 года живёт в Германии. Член Союза русских писателей Германии. Автор книг о русских писателях в Германии, вышедших в издательствах Германии и России.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..

И далее по пушкинским строкам: «Оно умрет, как шум печальный/Волны, плеснувшей в берег дальний...» Так и хочется процитировать и прокомментировать все стихотворение, к тому же оно не очень большое, но для нашей темы достаточно этих двух строк и даже двух слов — «берег дальний». Известно: стихотворение Пушкина посвящено очередной возлюбленной К. Собаньской. И на первый взгляд в нем речь идет о разлуке с любимой, так, во всяком случае, считают многие из тех, кто неплохо знаком с творчеством поэта. На самом же деле стихотворение «Что в имени тебе моем?» — прощание поэта с Россией. Написано оно в 1830 году накануне подачи прошения Бенкендорфу для отъезда в Европу. Сама по себе дата, естественно, ничего не доказывает, да и мало ли чего взбрело Пушкину в голову написать «накануне». Но смысл написанного, если забыть на время чтения, кому оно вклеено в альбом (или подарено, как угодно), как раз в этом: уезжая (а мысленно уже уехав из России), поэт возвращаться не собирался. На просьбу Собаньской написать на обороте листа свое имя, он вывел: Alexandre Pouchkine. Привыкал, видимо, к подобному звучанию собственного имени, да вот не пригodiлось оно такое, к радости потомков и сожалению поэта.

Впрочем, прощался Пушкин с Россией не раз — и тогда, когда еще надеялся получить официальное разрешение на выезд, и когда, уже ни на что не надеясь, собирался «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть Константинополь», а проще говоря, сбежать в Европу (то с контрабандистами, то в качестве слуги друга Вульфа). И сбежал бы, не будь таким суеверным. А что? Другим можно, почему ему нельзя к манящим дальним берегам? Воспитанный в духе европейского просвещения, на французской и немецкой литературе, Пушкин мечтал увидеть Европу, и это понятно, объяснимо. С лицейских лет он желал побывать и на родине предков в Африке, а на деле вышло: не пустили даже в «средневековый» Китай, не то, что в Германию, Францию или Англию.

Мечты — увы! — мечтами и остались, «чужие край» для поэта оказались недостижимыми. И после отказа Бенкендорфа в прошении (последняя официальная попытка) Пушкин ничего лучшего не придумал для себя, как жениться. Позже и в шутку и всерьез напишет Карлу Брюллову: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился».

«БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ» РОДСТВЕННИКОВ ПУШКИНА

Даже при беглом знакомстве с биографиями ближайших родственников Пушкина создается впечатление, что после смерти поэта все они словно устремились осуществлять его мечту, побывать за границей.

Горький пропойца, младший брат поэта Левушка, «поправляя» здоровье рейнскими винами, баварским пивом и парижским воздухом. И хоть пожил на свете, не перевалив за полусотню лет, все же мир, в отличие от гениального брата, посмотреть успел. Что увидел в Европе? Другой вопрос. В своих воспоминаниях об этом Лев Сергеевич немногословен.

Минеральные воды и доктора Германии не спасли от слепоты сестру поэта — Ольгу. Последние пятнадцать лет она прожила, вообще не видя «белого света». Рассказы сына Льва и ее собственное воображение составили впечатления о немецких курортных городах.

Наталья Гончарова-Пушкина, вторично выйдя замуж за генерала Ланского, немало времени провела за границей, о чем, естественно, и мечтать не могла при жизни первого мужа. Бад Эмс, Висбаден, Баден-Баден и Ницца, хоть и на немного, но продлили ее короткий век.

Двум сыновьям и двум дочерям поэта Европа была всегда открыта и доступна. Старшая дочь Мария Александровна

мечтала, как и отец, «посмотреть мир». Став фрейлиной императрицы Марии Александровны, в составе царской свиты она много путешествовала по городам и курортам Германии (и, пожалуй, во всей ее долгой жизни это было единственное счастливое время; величие отца не спасло ее от голодной смерти в Москве в 1919 году). Сын Пушкина — Александр Александрович, боевой генерал, «по законам военного времени» в бесконечно воюющей России, хоть и «супротив» воли, но посмотрел, как и чем живут люди в «чужих краях». Младшая дочь поэта Наталья Александровна большую часть жизни прожила в Германии...

Список можно продолжать... В немецких архивах (где мне доводилось работать), хоть и не часто, но встречаются фамилии: Пушкин, Гончаровы, Павлицhev, Ланской, Торби, Меренберг... Но «что нам в этих именах?». Родство с гениальным человеком? Не зарастающая «народная тропа» — к нему и тем, кто был когда-то рядом? Пожалуй. А иначе как объяснить ухоженность могил и свежие цветы на мраморных плитах — дочери, внуков и правнуков поэта, похороненных на немецкой земле?

НА СВЕТЕ СЧАСТЬЯ НЕТ, НО ЕСТЬ ПОКОЙ И ВОЛЯ...

Пушкин мог бы позавидовать своей младшей дочери, порадоваться за нее. Две вещи, которые никак не удавались ему при жизни — богатство и жизнь за границей — дочери, кажется, достались без особого труда и в полной мере. Большую часть жизни она прожила в Германии. И прожила — счастливо! Здесь обрела «покой и волю», здесь же завещала себя похоронить.

Отца-гения младшая дочь, названная в честь матери — Натальей, не помнила и не знала. В тот самый 1837 — роковой для их семьи и России — год, когда, раненный на дуэли, умирал поэт, ей исполнилось всего-то восемь месяцев и шесть дней.

После смерти Пушкина ее вместе с сестрой и братьями мать увезла в родовое имение своих родителей (Полотняный Завод Калужской губернии). Там росла и воспитывалась Натали-младшая — Наталья Александровна Пушкина (1836–1913). «Бесенок Таша» — так называла ее мать за веселый характер и постоянные детские шалости. Впрочем, девочка отличалась и хорошими манерами (когда это надо было), прекрасным знанием французского и русского языка.

С юности, как и мать, она блистала в свете, поражая современников своей необыкновенной привлекательностью. Сын известного романиста Загоскина рассказывал: «В жизнь

мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательно белозубой лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на мало правильные черты лица, напоминавшего африканский тип ее знаменитого отца, она могла назваться совершенно красавицей, и если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как Наталья Александровна была окружена на великосветских балах и как около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге».

В этой «толпе» поклонников юная красавица четырнадцати лет отроду полюбила графа Николая Орлова (сына шефа жандармов и главы III отделения, А.Ф. Орлова, и в мыслях не допускавшего женитьбы сына на дочери скандального поэта, к тому же убитого на дуэли). Поговаривали в столичных светских салонах, что любовь была пылкой и взаимной, равно как и неприязнь упомянутого департамента в лице шефа к семье поэта. Словом, к обоюдному удовлетворению родителей и их стараниями, разумеется, брак Пушкиной и Орлова не состоялся.

Тогда назло всем — и себе самой в первую очередь — шестнадцатилетняя Натали Пушкина в феврале 1853 года становится женой подполковника Михаила Дубельта. На этот раз уговоры матери и отчима Ланского, почти год не дававших согласия на этот брак, ни к чему не привели. Мать с сожалением и горечью писала перед свадьбой Вяземским: «Быстро перешла бесенок Таша из детства в зрелый возраст, но делать нечего — судьбу не обойдешь». Современники назвали этот брак — «брак по своенравию».

В итоге — все вышло как нельзя хуже. За игорным столом и в кабаках Миша Дубельт «быстренько пустил по ветру» приданое жены, обвиняя ее же в своих неудачах. Она долго терпела и молча сносила бесконечные сцены ревности, пьяные дебоши и скандалы мужа. За девять прожитых совместных лет Пушкина родила «любимому» троих детей с надеждой, что они помогут их семейному счастью, в которое она еще по юности своей и наивности верила — не помогли. Все старания Натали оказались напрасными. Семейная жизнь не складывалась и в конечном итоге закончилась тем, что супругам пришлось разъехаться. А в «те времена далекие, теперь почти былинные» развод в России — нонсенс. Флирт — норма. Дуэли запрещены, но возможны. Словом, Дубельт долго не давал развода. Преследовал жену, искал любовника, а однажды явился в имение ее тетки по матери, баронессы Александры Фризенгоф, где Натали скрывалась от него с детьми, и учинил скандал, «приведший в ужас всех родных».

Шесть лет длился бракоразводный процесс, пока решением суда супругов не развели в 1868 году. Дубельт получил право воспитывать одну из дочерей — Анну. Сын и дочь Пушкиной-Дубельт переехали на воспитание к бабушке Наталье Николаевне. Сама же Натали, не дожидаясь окончания бракоразводного процесса, 1 июля 1867 года, в Лондоне, обвенчалась с немецким принцем Николаусом Вильгельмом Нассау. Поговаривали столичные сплетники, что «неравнодушие» герцога и дочери поэта зародилось с первой их встречи в 1856 году, когда он приезжал в Россию как представитель Нассауского двора на коронационные празднества по случаю восшествия на престол Александра II. Ох уж эта молва людская, отправившая на тот свет не одного ревнивца. Ну кто, скажите, может про такое знать? Получается, клеветали в петербургских и московских салонах? Признаться — не очень. Миша Дубельт не верил сплетням, он точно знал про любовь жены к немецкому принцу, но, спасая честь — свою? семьи? погон? — не мог предложить обидчику (в отличие от тестя) ни шпагу, ни пистолет на дуэли. Но и с женой, со своим запоздалым раскаяньем, когда уж «всё прошло! — остыла в сердце кровь...», сделать тоже ничего не мог.

Итак, в обход всем законам российской империи брак официально замужней Натали Пушкиной с немецким принцем состоялся. Близость герцога Нассау к русскому двору во многом освободила «от неприятностей» Пушкину, но детей ей все же пришлось оставить в России на попечение бабушки. Сам Николаус Вильгельм Нассау, заключая брак с дочерью поэта, «неравной по крови», навсегда прощался с престолом. Им обоим было что терять, но обретая счастье, рожденное взаимными чувствами, они знали, на что идут и никогда потом не пожалели об этом.

В Висбадене, в родовом замке Нассау, где и поселились «молодые», Натали наконец обрела долгожданный покой и семейное счастье. У современников, выдавших ее в эти годы, и тени сомнения не возникало по поводу сделанного выбора. За всю свою почти сорокалетнюю жизнь на немецкой земле, ставшей для дочери поэта второй родиной, она ни разу — ни в письмах, ни в дневниках, ни в написанном ею романе — ни одним плохим словом не обмолвилась о муже или о земле, подарившей ей счастье. В Висбадене впервые за тридцать с небольшим лет она почувствовала себя дома. Как и подобает членам королевской семьи, вела светский образ жизни: давала балы и приемы, званые вечера и обеды, ее называли — «лучезарная принцесса». И хотя настоящей принцессой ей никогда не суждено было стать (даже фамилию мужа она не имела права носить), Натали всегда ценила по-настоящему то, что имела.

По заключении брака в Лондоне 17 июля 1867 года ей был пожалован титул графини Меренберг (по названию одного из разрушенных замков, расположенных недалеко от Висбадена). На немецкую землю дочь поэта въехала графиней Натали Меренберг и оставалась ею до конца дней, но при этом никогда не забывала — чья она дочь и откуда родом. Жизнь вдали от родных и близких отдаляла ее лишь географически. Натали всегда поддерживала с ними добрые отношения (во всяком случае, до 1878 года, пока вопреки воле всех родственников позволила Тургеневу опубликовать переписку родителей), не забывала русского языка, ценила все русское, читала и понимала значение поэзии отца для России. И когда на свет появляются дети от брака с герцогом — София, Александра, Георг — она обучает их русскому языку. Знание которого, кстати, станет доброй традицией потомков Пушкина по немецкой и английской линии, берущих свое начало от младшей дочери поэта.

В 1880 году графиню Меренберг официально пригласили в Москву на открытие памятника Пушкину. Здесь она познакомилась с Достоевским, которому одна из его заграничных корреспонденток незадолго до этого писала: «Так странно видеть детище нашего полубога замужем за немцем. Она до сих пор красива... Очень обходительна, а муж немец — добряк, чрезвычайно добродушный господин...». Французскому писателю Луи Леже Натали, «элегантная и величественная, напоминала свою мать, Наталью Гончарову, красота которой была гордостью и бедой поэта». И. С. Тургенев познакомился с дочерью поэта в Висбадене, когда ей было уже сорок, и поразился их сходством, написав брату, что она как две капли воды похожа характером на своего отца — такая же упрямая, взрывная, неутомная.

Графиня Натали Меренберг умерла в 1913 году, пережив своего мужа на восемь лет. Еще при ее жизни царствующий герцог Нассауский заявил, что не дозволит похоронить морганатическую жену в их родовом склепе. И тогда Наталья Александровна взяла обещание с зятя, чтобы после смерти ее сожгли и прах развеяли в склепе над гробом мужа. Первое — исполнили, второе... сегодня (даже из живущих потомков) никто не знает этого. Но как бы то ни было (развеяли прах или закопали капсулу рядом с гробом герцога), а имя дочери поэта на мраморном куполе родовой усыпальницы выведено наряду с другими именами — золотыми буквами. И сюда несут люди живые цветы, отдавая дань уважения Пушкину в лице его младшей дочери — графини Меренберг.

P.S. В 2003 году праправнучка поэта Элизабет Клотильда Фон Меренберг-Ринтелен, живущая в Висбадене, опубликовала роман на немецком языке «Вера Петровна». Эта рукопись, хранившаяся в семейном архиве Пушкиных долгие годы, как выяснилось, принадлежит не кому-нибудь, а младшей дочери поэта Наталье Александровне Пушкиной. В ней, от имени некоей Веры Петровны, она рассказала историю любви своих родителей и приоткрыла миру многие тайны своей необыкновенной семьи...



АНТОНИНА ШНАЙДЕР-СТРЕМЯКОВА

/ Берлин /

Родилась в с. Мариенталь АССР НП. Образование — историко-филологический факультет Барнаульского пед-института. Автор нескольких книг. Лауреат фестивалей «Литературная Вена — 2008», «Литературная Прага — 2010», дважды номинировалась на Бунинскую премию (лонг-лист 2008 г. и 2009 г.). Печаталась в русскоязычных изданиях Германии, Праги, Вены, Торонто, в Москве (ж. «Юность» и «Дом Ростовых»), Омске («Культура»), в журналах «Алтай», «Бийский Вестник», «Дарьял», в интернете («Русский переплёт», Die Geschichte der Wolgadeutschen», «Литературная губерния»).

РАЗМЫШЛЯЯ НАД ЯЗЫКОМ И СОДЕРЖАНИЕМ ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН»

Творчество Андрея Платонова нуждается в чутком, неспешном, вдумчивом чтении, и тем, кто ищет в литературе лишь её развлекающую составляющую, оно противопоказано.

«Сел посидеть», «почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни», «не желал тратить нервность своего тела», «сделал активно мыслящее лицо»...

Подобных выражений у Платонова бесчисленное множество, и сегодня они звучат как-то не по-русски. Некоторые авторитеты утверждают, что это «одесско-идишский сленг», — нам же кажется, что это язык безграмотной эпохи и того дьявольского шабаша, когда нелепые выражения и слова исторгались, словно из пасти Змия Горыныча; это язык Дуньки, что рвалась в Европу.

«Нелепость» стиля не исключает, однако, его грамотного синтаксиса. В нём нет избыточных сегодня в «литературе» парцелирующих предложений, в нём придаточные не становятся самостоятельными, что превращается нынче в норму.

Языком витиеватого пролетария, что неудержимо рвётся к светлому будущему, писатель рисует эпоху, современником которой ему суждено было стать. Нелепые с высоты сегодняшнего дня пародийно-пафосные плакаты: «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее», «Советский транспорт — это путь для паровоза истории» — выражали не только экспрессию времени, но и экскентричность его. Пародийная пафосность вызывала ироничное отторжение у людей образованных и грамотных, но ввергала в экстаз безграмотный и тёмный народ, что жаждал другой жизни.

«Самодельный язык» Платонова — язык «серого пролетариата», стремление которого к светлому завтра остановить было невозможно, и мыслитель Платонов следует за этим языком, показывая абсурдность авангарда, некую нелепость в его тупой преданности идее. Ничего не придумывая, он выхватывает из реальной жизни эпизоды, что характеризуют сущность эпохи.

В избе-читальне женщины изучают на полу азбуку. Чтобы облегчить усвоение материала, приводятся характерные для лексикологии тех лет слова: на «а» — «авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист», на «б» пошли в ход «большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо, бедняк, браво-браво-ленинцы!» По поводу твёрдого знака активист разъясняет: «Твёрдый знак нам полезней мягкого. Мягкий нужно отменить, а твёрдый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок».

Дух времени передаёт язык, а быт эпохи (разруху и запустение) характеризует незаметная, казалось бы, деталь: слова закрепляются на полу штукатуркой.

Платонов летописал идею фикс, манипулировавшую сознанием и превращавшую людей в роботов. Модные слова отражали идеологию, проникали во все сферы человеческой жизни — интимная жизнь исключением не была:

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы. Дай я к тебе за это приорганизируюсь!

И выражение, особенно вторая его часть, стало крылатым.

Словно экскурсовод, писатель углубляет наше познание колдована-государства, вводя всё новых героев, которые мало чем отличаются друг от друга. Мы узнаём, что живой скелет Козлов, мучающийся «сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями», «не переживёт социализма — какой-то функции в нем не хватает!», тем не менее этот скелет, к которому «воздух не проникал... до живота, а действовал лишь поверхностно» «тотчас же... захотел... писать опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений». Верно закрученная мысль передаёт сущность оболваненного народа. Призрак «вредителя», витавший в воздухе, мешал приближать радостное и светлое будущее, и доносительство было, по мнению этого полуживого народа, благим делом.

И хотя к «соревновательству» подключались зачастую из боязни «прослыть упущенцем», самоистязали себя всё-таки ради благородной цели — прекрасного будущего, и Платонов, мастер языка эпохи, отражает это: «истомленный Козлов ..рубил топором обнажившийся известняк; ...не помня времени и места, спуская остатки теплой силы в камень, который ...нагревался, а Козлов постепенно холодел». Не видя настоящего, не помня прошлого, похожий на зомби, он чувствовал «внутри себя горячую социальную радость», которую «хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс узнавал его и плакал над ним». От этих восторженных мыслей он даже «продрогивал» и «забывал о летнем времени».

Бригадир Чиклин «вонзает лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно задумчивое лицо». Воцрев, понимая, что «все равно весь свет не разроешь до дна», «тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату, он теперь допускал возможность того, что... будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме». От них отставал чахоточный, «с костяным носом» Козлов, и Чиклин, глядя на него, думает: «Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! — так могилы роют, а не дома» и разрешает отдохнуть, но «Козлов не уважал чужой жалости к себе» и продолжал рытьё котлована, этой огромной общей могилы, — возможно, даже под музыку Свиридова «Время, вперед».

Сместились представления о жалости, о нравственных ценностях, и Платонов, зеркально отражая время, несколько иронизирует. Возможно, это и кощунственно, ибо он повествует о полуживых людях, для которых «ночь замирает рассветом».

Урод Жачев уверен, что «в СССР немало сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света». Таковым он считает и председателя окрпрофсовета Пашкина, что «жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно было стореть», и еду Жачев у него не просит, а ТРЕБУЕТ, объясняя, что «пенсии ...хватает на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтоб она мне в бутылку сливок погуще налила!» И жена Пашкина исполняет все эти требования, ибо Жачев-доносчик опасен, и классовый враг ему может предстать «и в форме сна, и в форме воображения». Она даже даёт разумный совет мужу найти этому несчастному какую-нибудь должность повыше: «Каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение».

Фанатичные лозунги, призывавшие строить будущий общий дом и заражавшие вирусом всеобщего счастья, убивали в людях человеческое начало, ибо быть счастливым лично считалось предосудительным. «Активный среди мастеровых товарищ Сафонов» пугает Козлова, что положат его спать под лампой, чтоб ему было стыдно, потому что ночью «под одеялом он любит себя, а днем от пустоты тела жить не годится».

Крестьянин-бедняк озабочен не столько тем, что у него могут отобрать лапти, сколько тем, что могут поинтересоваться, почему он «с другими бедными не скопляется».

«Труба»-радио вещала беспрестанно, «как выюга», и «котлованец» Сафронов приходит к заковыристому, совсем в духе времени, выводу, что «мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..» Абсурдную для сегодняшнего дня фразу в тридцатые годы легко было принять за вредную, ибо в «рассоле социализма» люди киснуть не желали. Жили, словно рабочий скот, — ничего для себя, зато во имя идеи: «Вся артель уснула, как жила, в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства».

У Платоновского прораба Прушевского хитроумная по тем временам должность — «производитель работ общепролетарского дома». Но «производитель», которому хотелось строить для людей думающих, для таких, кто с душой, «смотрит на светящуюся электричеством ночную постройку завода и с грустью думает, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, не думающих людей». «Во время революции по всей России день и ночь, — рассуждает прораб, — брехали собаки, но теперь они умолкли». «Трудящиеся», бурлившие в революцию, теперь усмирились, потому что «милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда».

Молох будущего всеобщего светлого царства поглощал и порабощал, но жить всё же хотелось, и люди боялись быть выброшенными из этого кипящего котла, который либо переваривал мозги и перерождал в фанатов, либо убивал — третьего было не дано. Строительство, естественное для всех живущих, обретаёт для Вощева смысл лишь при виде погибшей от непосильного труда птицы, ибо в доме можно будет спрятаться от невзгод и бросать за окна крошки ещё живущим птицам.

Скупые описания природы в повести, как правило, олицетворены. В пору «обобществления» «пыль на безлюдной дороге» лежала «скучно», а «деревья бережно держали жару в листьях», ибо скоро должен был наступить холод в сердцах. «С тайным стыдом заворачивались листья», и этот «тайный стыд», признак совести, рождает в подсознании вопрос «почему».

Повесть написана языком простого народа, как если бы автору были чужды более изящные формы и обороты. Лгать и притворяться честный автор не может — для лексики той поры было характерно не «трудолюбие», как говорят сейчас, а «трудо-способность». Проходит «строй детей-пионеров с уставшей му-

зыкай впереди», и мы понимаем, что от излишней заорганизованности «устала» даже музыка. «Зверство превосходящего ума» в глазах — от зависти, а, если «помолчали от обозления», сработала воспитанность. Тело главного героя Вощева «побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза». Два взаимоисключающих выражения: «холод на веках» и «теплые глаза»... Вощев, хоть и представитель «серой массы», — всё-таки не «зомби», ибо желает во всём видеть смысл...

Забыв о себе, народ трудится впрок. «Под силой тяжести мертвого груза» отстукивают жизнь часы, и лишь цветочки на них могут как-то украсить, «утешить» безрадостное существование АРТЕЛЬНОГО люда. Артельный чайник — предвестник «поры питания для дневного труда». Всем даётся ломоть хлеба и кусок «вчерашней холодной говядины», для «артельной жизни» совсем неплохо, но люди, «вместо покоя жизни имели измождение». «Лица их были угрюмы и худы», оказывается, ещё и потому, что «хранили внутри себя истину». Обозначив её, автор, однако, не называет эту истину. Её называем мы, сегодняшние читатели Платонова, ибо знаем, что человек рождается не для «артельной жизни».

Радужное будущее должно было стать не менее радужным, просвещённым и светлым, чем ушедшая в небытие жизнь дворян-буржуев, но в повести оно не наступает. Теряя память, люди, напротив, всё более деградируют: в никуда уходят не только дорогие когда-то воспоминания — даже лица матерей.

Среди бедных духом и телом людей появляются, однако, такие, что «хотели работать над веществом существования», но стране они были не нужны, ибо «думание» становилось синонимом безделья. Зачем думать о смысле жизни, когда этот смысл продумала власть, звавшая к «артельной» жизни, когда даже обобществленный скот открывал по команде рты и «начинал медленно есть, организованно смирившись»? И Вощев, глядя на спокойно жующую живность, мучается, почему он не может быть таким же спокойным и почему ему надо во всём искать смысла, он даже «согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека».

Повесть Платонова с её беспристрастным изображением эпохи сродни «Путешествию из Петербурга в Москву», она познавательна, страшна и одновременно опасна, ибо платоновское путешествие — это путешествие по умопомрачению времени, когда «в руках стихийного единоличника» «рычагом капитализма» становился даже голодный во дворе козёл; это путешествие по претворению в жизнь обобществления, казавшегося некоей идеей справедливости.

Идея общего дома становилась смыслом жизни, вытесняя Бога. Воцел и бригадир Чиклин в «ватном, желто-тифозного цвета пиджаке, который был у него единственным со времен покорения буржуазии», идут в пустую церковь, где «чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух», и встречают попа, зарабатывавшего активисту деньги на трактор продажей церковных свеч, чтоб «в кружок безбожия приняли». Тех, кто осеняет себя крестом или «склоняет своё тело пред небесной силой», поп заносит в доклад для активиста. Эти реалии не были придуманы автором.

Путешествие по коллективизации у Платонова ничем не примечательно, если не считать, что от рук «буржуев» погибли лишь два их самых ярых противника — Козлов и Сафронов.

Сцена раскулачивания списана с жизни. «Постоянный вой держали» не только бабы, но даже «собаки и другие мелкие нервные животные». «Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.

— Не плачь, старуха, — говорил Крестинин. — Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!»

Представители пролетариата, Воцел и Чиклин («нынешние цари», по выражению одного из крестьян), идут по колхозной деревне. Вот лежит помирающий мужик, что, по словам жены, «всё чуял», и как только взяли лошадь «в организацию», так и слёг. Баба жива тем, что поплачет, потому как слёзы «режут темные глаза» и готовят их к «свету новой жизни», но мужик плакать не может. Во второй избе в гробу лежит умирающий, что сам поддывал масла в догорающую над головой лампаду.

Исполнителями грязных дел во все времена являлись люди недалёкие, нищие духом. Процесс раскулачивания исключением не был — урод Жачев наносит карающий удар за собственность: «Чуй, чья власть, коровий супруг!»

Крестьяне-кулаки перед обобществлением режут, как и у Шолохова, скот, только донской писатель превратил то событие в юмор, в то время как у воронежца аналогичные события даны сурово, скупо, но не менее впечатляюще: «Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжко, какдвигающиеся сараи; других же рвало непрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей». Перед отправкой в океан ликвидированным «посредством сплава на плоту кулака как класса» разрешили в последнюю минуту поплакать и проститься с односельчанами. И те бросаются друг к другу.

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

«Ликвидировали кулаков вдаль», но инвалиду-уроду Жачеву не сделалось от этого веселее, ибо он вдруг подумал, что и его, как ненужного элемента, могут в «далёкую тишину» ликвидировать, но тем не менее кричит отплывающим на плотях: «Эй, паразиты, прощай!» А «буржуи» с плотов напряжённо смотрят на Жачева, стараясь запомнить последнее лицо счастливого на родине человека.

Из радио-трубы раздалась после отплытия музыка, и все пустились в пляс, и «даже обобщественные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать». И когда радио перестало играть музыку, люди всё никак не могли остановиться — и вспоминается «Железный поток» Серафимовича.

В барачном доме «котлована» из радио несутся «жизненные звуки» без мысли, они передают «ликующее предчувствие», что приводит в «дребезжащее состояние радости». «Тревожные звуки» «давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни», но музыка прекращалась, и «жизнь оседала во всех прежней тяжестью». Это бытописание ошеломляет даже сегодня, а выражение «дребезжащее состояние радости» становится для нас тем же, что «заблудился в трёх соснах» — стреляющей поговоркой.

Невежество и зашоренность властей передавалась народу, который превращали в Иванов, не помнящих родства, ибо кладбища с их могилами уже не становились святынями. Ценности смещались, и люди начинали мыслить такими же нелепыми категориями, каковыми были лозунги и плакаты.

Профулномоченному недосуг «в суете сплавивания масс и организации подсобных радостей» «погладить ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело», ибо он не мог «останавливаться и иметь созерцающее сознание», ему надо было воздействовать на людей. «Беспокойно преданный трудящимся», он провёл всю артель поперек старого города, чтобы они увидели «значение труда, который начнется на выкошенном пустыре». Он показывал «то единое здание», «куда войдет... весь местный класс пролетариата», когда забудут про свои частные низенькие домишки, показывал «кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья».

Вытравить высмеянное Чеховым чинопочитание власть ещё не успела, а, возможно, не хотела, и потому отношения с начальниками без дистанции казались невозможными. Прораб Прушевский решил от тоски переночевать в артельном бараче. Утром Козлов, глядя на спящего начальника, советует: «Уходите

на свою квартиру, товарищ прораб... Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность».

Дети, вовлечённые в безжалостные идеи перевёрнутой морали, впитывали лексику и уродливую психологию взрослых. Малыш откусывает половину подаренного активистом леденца, а половину возвращает:

— У ней в середке вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!

Мать умирает на глазах девочки Насти, и она задаёт ей чудовищный на первый взгляд вопрос:

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?

Котунственный с позиций здоровой морали, вопрос был естественным для эпохи, и умирающая, забываясь о дочери, просит уйти с этого места куда-нибудь подальше, чтобы никто не знал, кто её мать, чтобы она забыла, откуда она. Сафронов радуется, что дети не помнят родителей, зато «чуют товарища Ленина и Будённого!» Настя убеждена, что «умирать должны одни буржуи, а бедные нет!» Впитывая дух котлованной жизни, она на вопрос, обижал ли её Жачев, отвечает в духе времени:

— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!

«Социализм» и «капитализм» — вот два главных слова, которые дети впитывают едва ли не с молоком матери. Уродливая психология взрослых, подсекая будущее, рождала уродливую психологию детей. Светлое пятно котлованной жизни, девочка Настя, для будущего которой все стараются, умирает. Этой смертью Платонов-художник подводит черту, лишая барачную жизнь надежды в её устремлении к будущему. «В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли, ибо этот «шум жизни» казался теперь ему противоестественным.

«Котлован» Платонова — это аллегория, в которой просматривалось рабоче-крестьянское государство, что возводило фундамент под новый дом социализма. Очевидец этого строительства, автор не видел ему конца. И хотя фундамент всё расширялся, к своему завершению он никак не продвигался. «Огромный дом» при жизни Платонова так и остался «котлованом», поэтому повесть заканчивается тем же, чем и началась, — рытьём, но уже могилы для маленькой девочки Насти, что должна была жить в этом красивом доме.

Повесть «Котлован» — это ещё и грустная энциклопедия индустриализации и коллективизации, энциклопедия жизни, морали и языка 20–30 годов XX столетия. Нетерпеливое восклицание: «Хочу спросить, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!» — автор смог разрешить лишь устам урода Жачева. Котлован-государство разрасталось, проникало вглубь планеты всей, но завлечь в эту «гигантоманию» весь мир было противоестественно, поэтому «вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям, ...чтобы встретить... постоянных тружеников, но редко кого приводит».

Настанет время, и «Котлован», этот аллегоричный Колосс, начнут разбирать построчно, растаскивая на пословицы и поговорки. И каждая эпоха возьмёт то, что подойдёт и на сердце ляжет.

16.04.2009

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 04.03.2013. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 19,9. Печать офсетная. Заказ 169.
Тираж 500 экз.

Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

